ФЕДОР ГЛАДКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ФЕДОР ГЛАДКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ВОСЬМИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

ФЕДОР ГЛАДКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

ЦЕМЕНТ
(роман)

РАССКАЗЫ
(1927—1929)

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

Примечания В. А. Красильникова

Оформление художника
Б. Шварца

ЦЕМЕНТ

Роман

I. ПУСТЫННЫЙ ЗАВОД

1

У порога гнезда

Так же, как три года назад, в этот утренний час раннего марта море за крышами казарм и аркадами завода кипело солнцем, а воздух между горами и морем был винный, в огненном блеске. И голубые трубы, и железобетонные корпуса завода, и рабочие домики Уютной Колонии, и ребра гор в медной окалине плавились в солнце и были льдисто-прозрачны.

Ничто не изменилось за эти три года. Дымные горы в отеках, оползнях, каменоломнях и скалах — такие же, как были и в детстве. Издали видны знакомые разработки по склонам, бремсберги в камнях и кустарниках, мосты и лифты в узких ущельях. И завод внизу — тот же: целый город из куполов, башен и цилиндрических крыш, и та же Уютная Колония по склону горы, над заводом, с чахлыми акациями и двориками в две квадратных сажени у каждого крыльца.

Если войти в пролом бетонной стены, отделяющей заводскую территорию от городского предместья (была калитка, а теперь пролом), во второй казарме — квартира Глеба.

Сейчас встретит его жена Даша с дочкой Нюркой, вскрикнет и замрет на груди, потрясенная радостью.

Даша не ждет его, и он не знает, что испытала она без него за эти три года. Нет в стране троп и дорог, не смоченных человеческой кровью: прошла ли здесь смерть только по улице, мимо рабочих конур, или в огне и вихре разметала и его гнездо?

За стеной, на пустыре, играли чумазые детишки, бродили пузатые козы со змеиными глазами и обгладывали кусты акаций.

А петухи изумленно вскидывали навстречу Глебу красные головы в сердитом окрике:

— Эт-то кто такой?

И сердцем слышал Глеб, что и горы в развалинах каменоломен, и трубы, и рабочий поселок гремят глубоким подземным грохотом...

С горы видно, как между каменными корпусами завода стекают вниз к морю, к пирсам, триумфальными арками, в виде гигантской буквы Н, бетонные устои канатной дороги. Струнами натянуты между ними стальные канаты с застывшими в полете вагонетками, и под ними — ржавая железная кисея предохранительной сетки. И там, на конце каботажа, над ажурной башней, — распластанные крылья электрического крана.

Хорошо! Опять — машины и труд. Новый труд — свободный труд, завоеванный борьбой — огнем и кровью. Хорошо!

Кричат вместе с детишками козы. Пахнет нашатырной прелью свиных закут. И всюду — бурьян и улочки, засоренные курами.

Почему — козы, свиньи и петухи? Раньше это строжайше запрещалось дирекцией.

Навстречу, по дорожке, шли гуськом из Уютной Колонии три бабы с барахлом под мышкой. Впереди — старуха, облика бабы-яги, а две позади — молодые: одна — пухлая, грудастая; у другой — глаза красные и веки красные, а на лицо козырьком натянут платок.

В старухе Глеб узнал жену слесаря Лошака; полногрудая — жинка слесаря Громады, а третья оказалась незнакомой.

Он козырнул им в радостном волнении.

— Здравия желаю, товарищи женщины!

А они поглядели опасливо и обошли его. И только жена Громады весело огрызнулась:

— Ну, ну, проваливай мимо! Не наздравствуешься с каждым...

— Да что вы, бабы? Не узнали меня, что ли?

Старуха Лошака остановилась и басом сказала не ему, а себе:

— Да это ж — Глеб! Господи! С того света свалился...

И пошла спокойно, угрюмо своей дорогой.

А Громадиха засмеялась и ничего не сказала. Только издали, от самой стены, оглянулась и затараторила:

— Торопись, Глеб Иваныч, — беги! Поиграй в жмурки с своей Дашей... Найдешь — опять поженитесь.

Глеб поглядел на женщин и не узнал в них прежних приветливых соседок. Здóрово, должно быть, потрепала жизнь заводских баб!

Та же оградка у дворика в две квадратных сажени, и тот же в улицу сортир будкой. Только покорежило ограду — и время и зимние норд-осты, — и сизая шелуха зашелудивила доски.

Вот сейчас с криком выбежит Даша. Как встретит она его, пришедшего из огня и смерти? Может быть, она считает его погибшим, а может быть, ждет его каждый день с того самого часа, когда он глухой ночью оставил ее одну с Нюркой в этой конуре?

Он бросил сумку на землю, а шинель на ограду. Постоял, вскинул руки вверх и в стороны, чтобы успокоиться, и вытер пот с лица рукавом гимнастерки.

И только что хотел подняться на крыльцо — дверь распахнулась.

Женщина в красной повязке, смуглая, густобровая, в мужской косоворотке, стояла в черном квадрате двери и смотрела на него с изумлением. И когда она встретила улыбку Глеба, в глазах у нее вспыхнула испуганная радость.

Знакомый вздрагивающий подбородок, и чуть припухшие девичьи щеки, и яблочком нос, и поворот

головы вбок при пристальном взгляде, и прежние упрямые брови — это она, Даша. А всё остальное (что — не назовешь сразу) — чужое, не виданное в ней раньше никогда.

— Дашок, жинка!.. Родная! Ну!..

И бросился к ней, задыхаясь от бурного волнения.

А Даша как стала в дверях, на верхней ступеньке крылечка, так и застыла, только растерянно отмахнулась от Глеба, как от привидения. И тихо пролепетала, густо краснея:

— Это — ты?.. Ой, Гле-еб!.. Милый!..

А в глазах, в черной глубине, вспыхивал неосознанный страх.

И как только обнял ее Глеб и впился в ее губы — сразу ослабела она и замерла до потери сознания.

— Ну вот... жива и здорова, голубка...

А она не могла от него оторваться и по-ребячьи лепетала:

— Ой, Гле-еб!.. Как же ты так... Я и не знала... Откуда же ты взялся?.. И так... неожиданно!

И смеялась, и прятала у него голову на груди. А он всё прижимал ее и чувствовал, как бьется ее сердце, как вся она дрожит в неудержимом трепете.

Они отрывались друг от друга, опьяненно вглядывались в лица, в глаза, смеялись и опять бурно обнимались.

Глеб вскинул ее на руки, как ребенка, и хотел унести в комнату, как бывало в первые дни женитьбы. Но Даша вырвалась и с лукавой усмешкой стала оправляться.

— Ух, как распалился!.. И я как сумасшедшая...

Причесывая гребенкой волосы и тяжело дыша, она пятилась от него к калитке. Но вдруг спохватилась и крикнула испуганно:

— Ой, опоздала!.. Бежать, бежать надо, Глеб!..

И уже серьезно, но еще взволнованно говорила:

— Зайди в завком и запишись на паек. Мне страшно некогда. Ах, Глеб... ах, товарищ!.. Даже не верится... совсем стал другой — новый... и родной и чужой.

— Что такое? Дашок!.. Ничего не пойму...

Даша уже стояла у калитки и улыбалась.

— Я обедаю в городе, в столовой нарпита, а хлеб получаю в парткоме. А ты зайди в завком, зарегистрируйся на хлебную карточку. Два дня я не буду — очень срочная командировка в деревню... Пока отдыхай с дороги. Сейчас выезжаю — ждет подвода. Никак не могу...

— Да подожди же, Дашок... Как же так?.. Не успел носа показать, а ты удираешь...

Он ринулся к ней и сгреб со всего размаху. А она с ласковой настойчивостью опять освободилась.

— Да скажи мне, Дашок, что это значит...

— А я — в женотделе, Глеб.

— Как в женотделе? А Нюрка?.. Где же дочка?

— Нюрка — в детдоме. Иди отдыхай. Мне ни минуты нельзя... Разговор у нас будет потом... Сам понимаешь: партдисциплина.

И побежала быстрыми шагами. Красная повязка упрямо дразнила его до самой стены, звала за собою и смеялась.

А потом, у пролома, Даша оглянулась, помахала ему рукою и сверкнула зубами.

Глеб подбежал к заборчику и крикнул:

— Дашок! А Нюрочка-то как же? Должно быть, большая... Я забегу к ней. В каком это доме?

— Нет, нет, не смей! Вместе сходим. А пока отдохни.

Глеб стоял на крылечке и, пораженный, смотрел на уходящую Дашу: никак не мог понять, что случилось.

Три года провел в громе гражданской войны. Эти три года горел он в вихре грозных событий... А как прожила эти годы Даша?..

Вот он пришел к своему гнезду, откуда бежал когда-то в безлюдную ночь. Вот опять тот завод, где он гарью и маслом пропитался еще маленьким шкетом. А гнездо — пусто, и Даша встретила не так, как он мечтал.

Он присел на ступеньку крыльца и сразу почувствовал, что очень устал. И не оттого устал, что прошел

четыре версты от вокзала, а устал от этих трех лет и от этой странной встречи с Дашей.

Почему эта необычная тишина? Почему стрекочет воздух и куриный шелест ползет по Уютной Колонии?

Не корпуса, а тающие льдины, и трубы голубеют стеклянными цилиндрами. На их вершинах уже нет копоти: сдули их горные ветры, а на одной из труб стрела громоотвода вырвана с корнем — бурей? человеческими руками?

Здесь никогда не пахло навозом, а вот теперь вместе с травой, ползущей с гор, гнилью зацвел пряный скотий постой.

Вон, в том корпусе под горой, — слесарный цех. Трехсаженные окна в эти часы ослепительно пылали когда-то солнцем в бесчисленных переплетах рам, а сейчас в разбитых стеклах — черная пустота.

И город за бухтой, на взгорье, — тоже иной: поседел, покрылся плесенью и пылью, сровнялся со склоном горы, — не город, а заброшенная каменоломня.

А вот оставленная Дашей открытая дверь в пустую комнату... Внизу, в долине, потухший, забытый завод...

Подошел к ограде петух, задрал голову и посмотрел на Глеба одним глазом, зло и нелюдимо.

— Эт-то кто такой?

2

Мóрок

Напротив, через улочку, в каменном домике с открытыми окнами скандалил пьяный бондарь Савчук. Истерически визжала Мотя, его жинка.

Глеб прислушался и оживился. Он поднялся и пошел к савчуковой квартире. В комнате было грязно и смрадно. На полу были разбросаны табуретки и одевка. Жестяной чайник дрябло лежал на боку. И всюду была рассыпана мука. Мотя лежала на мешке с картошкой и прижимала его к груди, а Савчук, в разорванной рубашке, лохматый, рычал и колотил Мотю и кулаками и босыми ногами.

Глеб подхватил его сзади под мышки и оттащил назад.

— Савчук! Осатанел ты, что ли! Черт бородатый!.. Ну-ка, отдышись маленько...

Савчук озирался, как чумной, и рвался из рук Глеба.

Мотя опиралась на руку, а другою тянула юбку на голые ноги и визгливо плакала.

Савчук смотрел на Глеба и не узнавал его.

— Это что еще за идолова душа? Ну-ка, проваливай, пока я не набил тебе холку...

Глеб засмеялся, как свой человек.

— Савчук, друг мой!.. Пришел к тебе в гости — принимай, брат.

В ошалелых глазах Савчука вспыхнуло сознание. Он шлепнул по полу грязной ногой и взмахнул руками.

— Хо, идолова душа!.. Глеб, брат ты мой, Чумалов!.. Какая тебя сатана выдрала с того света?.. Сукин ты сын!..

И облапил его со всего размаху. Он тыкался мокрой бородой в лицо Глеба и хрипло дышал смрадом сивухи. Потом отпрянул от него, толкнул ногой Мотю и засмеялся.

— Вставай, Мотька! Отложим до другого разу. Посижу я с ним, с идоловой душой, Глебом, поплачу. Вставай! Целуй друга-товарища Глеба, а остальное — до другого разу...

Мотя сидела на мешке и плакала.

Глеб подошел к ней и протянул ей руку.

— Ну, Мотя, молодчина. За права свои ты здорово дерешься. Здравствуй, дорогая!

Она злобно огрызнулась:

— Отваливай, пожалуйста! Много вас прохлаждается на чужой счет.

— Не уйду, Мотя! Угощай пышками, жаревом, чаем с сахаром — ты же мешочница...

Глеб смеялся, играл с Мотей — ловил ее руки, ласково подставлял себя под удары.

— Чего ты меня гонишь, Мотя? Я и так три года был на войне. Нет, чтобы обрадоваться... так, извольте-с, я же ей и враг... А вспомни, какая ты девка была

боевая!.. Хотел я на тебе жениться, да отшиб Савчук, окаянный бондарь...

Мотя опомнилась, испугалась, точно впервые заметила Глеба.

— Ой, что же это такое?.. Ведь это же ты — Глеб Иванович...

Савчук пьяно захохотал.

— Это же — не баба, Глеб, а жаба. Ежели ты — мой друг, застрели ее из своего пулемета... — И вдруг застонал в отчаянии: — Нет у меня жизни, Глеб, а она жизнь свою спрятала в мешок... Ограбили нас, Глеб!..

Мотя встала и измученно прислонилась к стене.

— Ведь у меня были дети, и я была богатая мать... Где они, Глеб Иванович?.. Зачем я такая живу?..

Она смотрела на Глеба мутными от слез глазами. И дрожащими руками одергивала юбку на коленях и теребила кофту на груди.

Да, не та стала Мотя. Когда-то была ласковая, приветливая, ясная. Помнил ее Глеб в крикливом выводке ребятишек, нежной хлопотухой, воркотуньей-наседкой.

Савчук сел на табуретку и ударил кулаком по столу.

— Дожили, браг, доехали, Глеб!.. Страшно мне, братуха: не смерги боюсь, смерти мне нет. Мòрока мне страшно и дикого места. Вот он — гляди... Не завод, а сорная яма, козье гнездо... Нет его... А ежели нет его — где же я, Глеб?..

Мотя смотрела на него застывшими глазами. И вдруг конфузливо улыбнулась.

— Оденься, буйвол!.. Возьми вон рубаху... Ведь босяк босяком.

Глеб засмеялся.

— Чудаки вы, ребята!

— Мотька, жинка!..

Савчук подошел к ней, поднял ее, как девочку, и поднес к Глебу.

— Вот тебе моя Мотька... целуйтесь, идоловы души!..

Из-за горы бездымные верхушки труб прозрачно хрусталились пустыми стаканами. И по ребрам гор-

ного массива, мохнатого от бурых зарослей, держи-дерева и туи, по ржавому бремсбергу мертвыми черепахами валялись ковши вагонеток.

— Завод... Что было и что есть, друг ты мой Глеб!.. Вспомни, как в бондарнях пели пилы. Какая была музыка!.. Красота!.. Эх, товарищ милый!.. Я же вылупился здесь из яйца...

Тосковал по былому заводу Савчук, оплакивал могилу минувшего труда, и глаза его заливались слезами. И в скорби своей он похож был на слепого, с той же слезной улыбкой и высоко поднятой головой.

Стояла рядом с ним Мотя, и была она такая же, как он, — слепая и слезная.

— Я — вся для дома... Я — вся для гнезда и детей. Зачем же ты рушишь последнее?..

— Мотька, чтоб я делал то же, что другие?.. Зажигалки? или кадушки клепал для мужиков?.. Пускай ты — бродячая собака... Лучше я сгибну, а не продам души своей черту...

И он опять ударил по столу кулаком и заскрипел зубами.

А Мотя стояла и бредила, как во сне:

— Было у нас богатое гнездо, Глеб Иваныч... Было... А где оно? Сгибли, сгорели наши ребятки... Ну куда я такая? На что я годна? Разве можно так жить? Вся изошлась я слезами... Не могу я, не могу, Савчук!.. Вот пойду по дорогам и подберу безродных дитят...

Взволновался Глеб и обнял Савчука.

— Ты — мой старый товарищ, Савчук. Еще ребятами пошли мы с тобою на работу. И не наша ли подруга была Мотя? Ты сидел здесь совой и кликал беду по ночам, а я дрался с врагами... Пришел вот — и гнезда своего нет, и завода нет... Мотя — хорошая баба... Будем собирать силы, Савчук... Мы биты, но мы научились и бить... Здорово научились, Савчук... Поверь!..

Савчук ошалело глядел на него и крутил головою.

Мотя прислонилась к Глебу, охватила рукою его шею.

— Глеб, родной!.. Савчук — хороший... Он, ей-бо,

очень хороший... Ах, Глеб, мне ничего не надо... Только бы опять моя грудь налилась молоком... Какая судьба, Глеб!..

— Мотька, не ласкайся к нему невестой: он еще не твой кавалер...

Глеб пожимал руку Моти и смеялся.

— Чудаки вы, ребята!

3

Машины

От Уютной Колонии к завкому можно было идти двумя дорогами: по шоссе, вдоль заводских корпусов, и по путаным тропам на предгорных сбросах, через кустарники, каменные отвалы и широкие площадки былых разработок.

Отсюда завод был виден во всей массе сложных нагромождений: вышки, арки, виадуки, железобетонные и каменные громады зданий, то воздушно-легких, как гигантские пузыри, то кубически-строгих в своей простоте и архитектурной тяжести. Они громоздились, спаянные друг с другом, или монолитно вырастали из горы на разной высоте. А в горных ущельях, по разрушенным бремсбергам, засоренным камнями, брошенными вагонетками и сизым от пыли кустарником, под скалами, над скалами, на отвалах брекчии, одиноко, вразброс, неожиданно высекались из голубого цементняка маленькие домики. Каменоломни радужными террасами ступенились вниз, в ущелья, и исчезали в буйных зарослях молодого леса. И море за заводом струилось миражами от мыса к мысу. От города, с той стороны залива, и от завода в бухту тетивою натягивались два мола с маяками на концах. И видно, как к заводу и пристаням необъятно струились полукружия зыби и раскладывались у берегов снежными бурунами.

Тот же вид, как три года назад. Но тогда и завод и горы потрясались от внутреннего огня. А от скрытого грохота машин и электрического воя заводские

храмины, трубы и пирсы были живые, насыщенные силой вулканного напряжения.

Глеб шел по тропе, смотрел вниз, на завод, слушал низинную застоявшуюся тишину, со сверчковым переливом ручейков, и чувствовал, что и он стал тяжелым, покрытым каменной пылью.

Тот ли это завод, где он помнит себя с детских лет, где привык ходить по тропам и дорогам с работы и на работу? И он ли это — Глеб Чумалов, рабочий слесарного цеха, синеблузник — идет сейчас по одичалой тропе с угрюмым вопросом и изумлением в глазах?

Раньше он был небритый (усы — колечками), и копоть и железная пыль не сходила с лица (от этого казался смуглым), а теперь — бритый, и скулы и нос сизы и шелушатся, обветренные полями. От него не пахнет уже гарью и маслом, и спина не сутулится от работы. Теперь он — только красноармеец в зеленом шлеме с алой звездой и с орденом Красного Знамени на груди.

Шел он, смотрел на завод, на горные разработки, на трубы, останавливался, думал и злился.

— До чего же довели, окаянные!.. Расстрелять мало мерзавцев... Не завод, а гроб...

Он спустился вниз, к заводу, на пустую площадку, черную от угля, с плесенью ползущей травы. Когда-то здесь громоздились высокие пирамиды антрацита, и кристаллы их цвели смоляными алмазами. Над площадкой обрывалась отвесная скала в желтых и бурых пластах. Она теперь осыпалась потоками щебня и съедала остатки человеческого труда. По краям полукругом тянулись ветвистые рельсы. Прямо, за парапетом, из провала взлетал ввысь на сто метров голубой обелиск трубы, а за нею пластался огромное здание электромеханического корпуса.

Завод казался потухшим миром. Норд-осты изгрызли льдистые стекла, горные потоки оголили железные ребра бетонов, и кучи старой отработанной пыли на карнизах опять превратились в камни.

Прошел мимо сторож Клёпка. Длинная на нем рубаха из мешка, до колен, без пояса. Он — в опорках

на босую ногу. И опорки у него будто из цемента, и в цементе — ноги.

— Эй, ты... огрызок!.. Чего бродишь тут окаянным покойником?.. Прокараулил, черт старый!..

Клёпка равнодушно предупредил по привычке:

— Посторонним лицам вход строго воспрещается!

— Эх ты, борода! Должно быть, и ключи-то все растерял на этой свалке...

— Ключи — без пользы: все замки слиняли... Гуляй вместе с ветром!.. Коза — в заводе... и крысы. А человека — нет... Пропал.

— Сам ты — старая крыса. Забились в норы, как раки, и шатаетесь бездельниками...

Клёпка нелюдимо поглядел на него и зажевал беззубыми челюстями.

— Шляпка с пипкой... Чертячий рог... Тут — некого бодать...

И пошел дальше, шаркая опорками.

С площадки в главный корпус завода шел высокий виадук на каменных устоях. В бетонных стенах пробиты были дыры для пулеметов. Завод был крепостью белогвардейцев. Из завода они сделали конюшни и бараки для военнопленных. И эти бараки были кошмарными застенками в дни интервенции.

Внутри — паутина в цементной пыли. Из далеких сумеречных перекрытий плывет плесенный смрад и старая отработанная пыль. Вот — исполинский массив трубы с вырванной заслонкой. Воздух водопадно ревет в обметанной пылью воронке, плещется косматым вихрем, толкает и всасывает в трубящее жерло. Раньше чугунная заслонка забивала эту жуткую глотку затычкой, и труба с гулом всасывала огненную окалину из цилиндров вращающихся печей. Когда-то они в блеске пламени ворочали свои раскаленные тела чудовищ, и под ними люди тормошились, как муравьи. Чугунными дугами и кактусами путались повсюду тучные трубопроводы.

— Ах, мерзавцы!.. До чего же довели... до чего же довели, негодяи!..

Длинными тоннелями Глеб вошел в машинное отделение. Тут — густой небесный свет и строгий храм

машин. Пол выложен цветными плитками, шахматной мозаикой. И черные, с позолотой и серебром, идолами стоят дизеля. Они твердо и четко стоят длинными рядами в кварталах, совсем готовые к работе: толкни — и они запляшут, заиграют зеркальным металлом. Казалось, что воздух струится горячими волнами навстречу Глебу. И маховики стоят и летят. Здесь, как и прежде, все нарядно, чисто, и в каждой детали машин дышит теплом любовная человеческая забота. По-прежнему блистает пол восковым изразцом, и пыль не дымится на окнах: стекла (их — множество) дрожат голубыми и янтарными изломами света. Здесь упрямо жил человек, и от человека жили и напрягались ожиданием машины.

И этот человек, в синей блузе, в кепке, выбежал из переулка между дизелями, вытирая паклей руки и играя белками и зубами. Весь он был цепкий, колючий, пристальный.

— Ха-ха, дружище!.. Ты? Ах, какой же ты — бравый командарм!.. Ну здорово... Вот обрадовал, дружище!..

Здесь он родился (отец был тоже механиком), вырос среди машин, и мир для него существовал только в машинном корпусе. И Брынза и Глеб вместе провели детство и вместе пошли в заводские корпуса.

— Ну и вояка!.. Дай-ка, дай-ка наглядеться... Напялил шлем, а выросли только нос и звезда...

Глеб обнялся со старым приятелем.

— Брынза!.. друг!.. Ты еще здесь?.. Ах, черт бы тебя подрал!.. У тебя тут такой поворот, словно на ходу все машины...

Брынза схватил Глеба за руку и потащил в глубь узкого прохода между дизелями.

— Смотри, дружище, какие сатанаилы... Они у меня как девчата — чистоплотные. А стоит крикнуть: Брынза, начинай!.. — и вся эта веселая механика завертится и забарабанит железный марш... Машины требуют такой же дисциплины, как твоя армия.

— Ну, а козы есть, Брынза? Не пилишь зажигалок?

Брынза засмеялся с веселой злобой.

— Хо, эти козлопасы знают меня... А зажигальщиков я выставляю взашей... Воряги, подлецы!.. Я держу вот на случай винт... Видишь? — Он махнул рукой с паклей на ружье в углу. — Как против бандитов... За латунью и медью охотятся...

Глеб ласково гладил блестящие части машин и поглядывал на Брынзу с пытливым удивлением и надеждой.

— До чего же у тебя, друг, живая организация — уходить неохота! И до чего же опаршивел завод... и до чего же люди опаршивели!.. На кой черт торчишь ты здесь, если завод — пустой сарай, а рабочие — бродяги и шкурники?..

Брынза помрачнел. И Глебу показалось, что он враждебно замкнулся. Но он взволнованно прошелся около дизеля и сказал строго:

— Завод должен быть пущен, Глеб. Завод не может умереть... Иначе — зачем делали революцию? Зачем тогда мы? К чему тогда этот твой орден?

И вдруг печально и тихо сказал, будто жалуясь:

— Ты не знаешь, как живут машины... не знаешь... Можно сойти с ума, если видишь это и чувствуешь...

Когда замолкли дизеля и люди ушли с завода массами к революции, к гражданской войне, голоду, страданиям, Брынза остался один в молчании механических корпусов. Он жил так же, как жили машины, и был так же одинок, как эти строгие блистающие механизмы. Он остался им верен до конца.

— Завод обязан пойти, Глеб. Если есть машины, друг, они не могут не работать: они, брат, работают даже тогда, когда стоят... Эх, если бы ты мог это знать!.. Чувствуешь ты или нет, но ты должен сделать все, чтобы зажечь первую спичку. А на меня ты всегда можешь положиться.

Глеб смотрел на глянцевые тела дизелей и на Брынзу, прислушивался к глухой тишине в стенах и пустотах и чувствовал, что он беспомощен, что нет у него слов для друга: он сам растерялся, сам испуган этим кладбищем. Он здесь чужой, и все чудится ему незнакомым и страшным, как после разгрома, который был давно. Что он может сказать теперь Брынзе?

У него, Глеба, даже теплого угла нет, даже жена оставила его в тот миг, когда забывается все, когда ничего не нужно, кроме дорогого человека... Разве она не могла ради него отложить поездку?..

4

Братва

В полуподвальном этаже заводоуправления, в узком сумеречном коридорчике, толпились рабочие. В грязном табачном дыму люди, тоже грязные от сивой пыли каменоломен и дорог, были однолики, будто вечерние тени.

Они матерились и орали о пайках, о столовой шрапнели, о керосине, о дачках, о зажигалках и козах.

Дверь в завком была открыта; там — тоже дымная грязь и толкотня. Глеба не узнали, когда он пробирался сквозь людскую толчею, только нелюдимо косились на его шлем со звездой и на орден Красного Знамени. Потом сразу же забывали о нем.

Перед дверями выделывал коленца парень в белом чепчике, в корсете поверх пиджака, с наусниками на бритых губах. Его тискала толпа, а он работал локтями и кричал по-бабьи и балаганно жеманился.

— Ах, наз-звольте приставиться... Пар ве брюк рипакс!..

И-ох ты, ябы-лочи-ко, д'куда котисься,
Д'как в завком попадешь — обормотисься...

На него глазели, подбадривали его и хохотали.

Задыхаясь от кашля, наскакивал на парня смуглый, чахоточный человек: это был слесарь Громада. Глеб удивился: как здо́рово скрутило человека за эти три года!

— Брось дискустировать, Митрей! Это довольно совестно с твоей стороны и позорно, и так и дале...

Но Митька оборвал его:

— Ах, товарищ завком, извините-с, простите-с, захлестните-с нервы в узелочек и приколите к пупочку булавочкой... Умер! Сдох! Тронут и потрясен!.. Корсет

положу на паркет, шлычку — на поличку, а губную подтяжку — в упряжку: коли вывезет — во всем парате выеду на демонстрацию... Тпру!..

И опять балаганно заломался и, работая локтями, пошел ряженым к выходу, а за ним поползли люди, захваченные зрелищем.

Глеб прошел в комнату и стал у стены позади рабочих. За столом сидел горбатый Лошак, по-прежнему черный, проржавленный слесарь. Он сидел грузно, равнодушно, как глухой.

Горласто кричала баба:

— Понасажали вас, брандахлыстов, на нашу шею, проклятых... Вишь, морды какие нахолили!.. Мой чертолом только козе бока чешет, а я ходи на брехню с вами, толстогузыми...

Рабочие толкали ее в спину и давились от хохота.

— Крути крепче, тетка Авдотья!.. Нажимай всем животом — зад выдюжит...

— Молчите, ёрники!.. Для чего их, завкомцев, поставили в головку?.. Это вам шагалки? Это — ходыри?

Широким взмахом она подбросила ногу и грохнула чеботом по столу. Юбка задралась и оголила ногу с синими жилками выше коленки.

Лошак сидел равнодушно, как глухой. А Громада вскочил и задохнулся от гнева.

— Гражданка!.. Товарищ!.. Ты же рабочая женщина... Завком выполняет задание... и так и дале... Ты ж должна понимать...

— Крой, тетка Авдотья!.. Отвечай за всех!..

— Молчите, бабьи гвоздари!.. Где мои боты, которые вы мне дали в паек?.. На сколь их хватило? В станицу прошлась... да трое разов в столовку за шрапнелью для кормежки свиней... а гляди, какие стали подметки...

Она стащила чебот с ноги и бросила его на стол. Башмак уткнулся разинутой пастью в грудь Лошаку.

Он спокойно взял чебот и с любопытством осмотрел его со всех сторон.

— А ну, баба, ставь дальше свое дело на попа. Послухаем.

Громада не вытерпел, вскочил и замахал рукою.

— Я не могу терпеть, товарищ Лошак... как гражданка несознательно соображает и так и дале... но это с ее стороны позорно и стыдно...

— Терпи, Громада!.. Хорошая баня с паром — на пользу... А вот сейчас мы с ней потолкуем. А ну, сирота-обида, гвоздуй: за какую твою работу получила ты таковые чеботы?

— Ты мне, горбатая шпана, не заливай... Работала — не работала, а получить и я горазда...

— Я спрашиваю тебя: за какую трудовую повинность хотишь получить киселя с молоком? Ну?.. Давай другой чебот! Это тебе дали по ошибке... Свиней твоих реквизируем за столовую шрапнель, каковую ты должна кушать сама, ежели голодное брюхо...

Авдотья надавила на рабочих и взбудоражила всю артель до последних рядов.

— Тю, будь ты проклята!.. Держись, братва, береги штукатурку!..

Лошак с тем же угрюмым спокойствием взял чебот и поднял над столом.

— На, бери, баба!.. Посади мужика за починку и носи. А для веселья приходи сюда другим разом.

Авдотья схватила башмак, села на пол и стала торопливо напяливать его на толстую ногу. Кругом хохотали.

Лошак крякнул, надавил на стол руками и встал. Долго смотрел на всех тяжелыми глазами и опять крякнул.

— Слухай, друзья: вникай, как советская власть ставит дело на попа... От мужика забрала хлеб на войну с буржуями, от буржуев — заводы, как вот, скажем, наш... А работы — нет. Забрала всякое барахло от буржуев и говорит: обделяйся, рабочая артель, чтоб ничего не пропадало. Куда хотишь, туда и девай... Так хочу высказать: пустим завод, тогда будет инако.

Потом опять сел так же тяжело и угрюмо.

Глеб пробрался к столу и козырнул завкомовцам.

— Здорово, товарищи! Прошу любить и жаловать... Прибыл вот к своему станку.

Громада ахнул, взмахнул руками и бросился к Глебу.

— Лошак, друг, разве не видишь?.. Глеб Чумалов... Наш Глеб!.. Убитый и живой... Гляди же, Лошак!..

Лошак взглянул на Глеба так же равнодушно, как и на всех рабочих, которые толпились в завкоме каждый день с утра до вечера.

— Вижу. Это нашему козырю — хлюст. Слесарный цех загнил, Глеб: там пилят зажигалки... проклятое место!

Из-за стола он с усилием вытащил длинную и тяжелую руку и медленно протянул ее Глебу.

Подхлынули рабочие разных цехов, смотрели на Глеба с изумлением и растерянностью, как на воскресшего мертвеца, переглядывались, бормотали и, путаясь руками, ловили его обе руки.

— Вот, товарищ Чумалов... Тебе — к прицелу, гляди... Взяли, дескать, в свои руки... Вон оно какое все!.. Прогнали всех хозяев... А гляди, ядри твою корень... Вдрызг!.. Кто клепку тащит, кто медь с машины дерет, кто ремень режет... Навластвовали!..

А Глеб всматривался в артель и радостно кивал шлемом.

— А-а... бондаря... кузнецы... электрики... слесаря... братва!

Громада протиснулся сквозь толпу со стулом в руках и услужливо поставил его около Глеба.

— Отдай назад, товарищи!.. Дай место товарищу Чумалову! Ведь это — наш боец Красной Армии... И как он есть рабочий нашего великолепного завода, то мы должны им при всяком месте козырять. Когда бы товарищ Чумалов фактически не пострадал... и через зеленых не подался в Красную Армию и так и дале, так, може, многие бы не сделали поступка на предмет вступления в ряды Рекапе... Вот, товарищи, кто такой для нас есть товарищ Чумалов...

Из артели рабочих опять вперебой запели голоса:

— Выжил, брат?.. Это — добро, что выжил... Погуляй, значит, здесь. Как-то, браток, погуляешь?.. Табак — наше дело.

А Громада уже размахивал навстречу им костлявыми руками, надрывался безгрудным голосом:

— Товарищи, как мы все, рабочий класс, бьем до овладения производством, но стыдно и позор, товарищи, как мы способны на панику... Мы победили на фронтах и всё ликвидировали, так неужто мы не имеем сил на хозяйственный труд?..

Глеб молчал, смотрел на тифозные лица рабочих, на дохлого Громаду (сам — маленький, а фамилия — большая, и слова говорит большие), на горбатого Лошака и опять больно почувствовал, что и здесь он не нашел той теплоты и душевной радости, о которой мечтал всю дорогу. Все они были как будто поражены его появлением, но от восклицания и улыбок веяло холодом и отчуждением. Люди как будто испепелились, застыли на всю жизнь. И даже в порывах Громады было что-то вымученное, надсадное до смешного, точно он старался кипятиться больше, чем нужно. Что-то общее было у всех этих людей и с Брынзой и с Дашей. Впрочем, может быть, это оттого, что его расстроила странная встреча с ней?

— Да, друзья... не завод у вас, а свалка. Что же вы делали здесь, братва?.. Мы как будто воевали, дрались, а какие дела вы совершали? Кроме коз и зажигалок, ничего умнее не выдумали?

Кто-то хрипло засмеялся сзади, в толпе.

— Ежели бы мы в заводе дурака валяли, будь ты неладно, мы все бы передохли, как мухи... Черт ли в нем, в этом заводе-то?

Этот смех и эти простые слова сразили Глеба: в них была та житейская правда, которая может раздавить любого мечтателя. Не потому ли горячий Громада казался в своем энтузиазме таким смешным и жалким среди этих голодных и грубых людей? Но злой смех и пренебрежение к своему заводу, и к себе, и к своему рабочему долгу взбесили Глеба. Сдерживая себя, он поглядел на рабочих, и лицо его налилось кровью.

— Ну и сдохли бы!.. Вы должны были сдохнуть, а завод держать начеку... Вы же — не громилы и не грабители своего добра...

— Х-хо, нам этак много заливали всякие заливалы, окромя тебя!..

Лошак равнодушно смахивал горстью муху, которая старалась сесть ему на лоб, и басил:

— Прибыл к заводу — это хорошо, Чумалов. Найдем и тебе работу. Будем ставить дело на попа.

Громада смотрел на Глеба горящими глазами и все порывался сказать какие-то большие, непосильные для него слова.

Глеб снял шлем с головы, положил его на стол и смущенно улыбнулся. Но глаза его еще были злы от волнения.

— Пришел вот домой, а жена и не приголубила. Теперь и свою бабу не узнаешь. Все пошло к черту. Зарегистрируй меня, Лошак, на карточку... в столовку и на хлеб...

Рабочие заворошились и повеселели.

— Вво-во!.. Заливай, заливало, а брюхо кушать хотит... Это — по-нашему... С этого бы и начинал... Пришел, брат, к нам — ползи под один колпак... А брюхо кушать хотит...

Громада горячо убеждал рабочих:

— Товарищи, ведь Чумалов есть наш общий рабочий, он — такой же свой... Ведь он страдал в боях и так и дале...

— А мы же о чем?.. Брюхо кушать хотит...

Глеб встал, спокойно оглядел всю эту пыльную толпу, и в этом его почти деревянном спокойствии дышало не то отчаяние, не то угроза.

— Товарищи! Что вы мне хотите доказать! Брюхо здесь ни при чем. Брюхо есть брюхо — черт с ним... Надо иметь башку на плечах... А вы свои башки растеряли и из рабочих сделались шкурниками. Меня не возьмешь голыми руками. Пожалуйста, горланьте, клеймите брюхом — мне не обидно: я еще вас не объел... Но мне стыдно от такого разложения у вас. Это — хуже предательства. Вы очумели, товарищи... Ну, вот пришел я... Куда пришел? К себе. Думаете, бездельничать буду, как вы? Нет-с. Драться, не щадя сил. Вы думали, я подох? Нет-с, воевал и буду воевать... Партия и армия приказали мне: иди на свой завод и бейся за социализм, как и на фронте...

Рабочие растерянно щурились и топтались на месте.

— Ставь дело на попа, Глеб. Так я высказываю... Верно! А мой горбыль выдюжит... Верно!..

Громада смеялся, бегал около стола и горел в лихорадке.

...За окном по бетонной дорожке, тяжело опираясь на палку, шел сутулый, по-барски важный старик с серебряной бородкой. Это — он, инженер Клейст... Как и тогда, в дни белогвардейщины, он опять появился на его пути. Хорошо бы сейчас выбежать из завкома и встретить его с глазу на глаз... Вероятно, он испугался бы до смерти...

II. КРАСНАЯ ПОВЯЗКА

1

Потухший очаг

Днем Глеб совсем не бывал дома: эта заброшенная комната, с пыльным окном (даже мухи не бились о стекла), с немытым полом, была чужой и душной. Давили стены, негде было повернуться. По вечерам стены сжимались плотнее и воздух густел до осязаемости.

Глеб бродил по заводу, поднимался на каменоломни, заросшие кустарником и бурьяном, и уставал до изнеможения.

Приходил домой ночью, но Даша не встречала его, как в прежние годы.

Тогда было уютно и ласково в комнатке. На окне дымилась кисейная занавеска, и цветы в плошках на подоконнике переливались огоньками.

Глянцем зеркалился крашеный пол, пухло белела кровать, и ласково манила пахучая скатерть. Кипел самовар, и звенела чайная посуда. Здесь когда-то жила его Даша — пела, вздыхала, смеялась, говорила о завтрашнем дне, играла с дочкой Нюркой.

И было больно оттого, что это было. И было тошно оттого, что гнездо заброшено и замызгано плесенью.

Как обычно, Даша пришла после полуночи.

Тускло горел копотный язычок пламени в керосиновой лампе, а матовая розетка льдистым цветком висела в воздухе на почерневшем проводе.

Глеб лежал на кровати. Сквозь ресницы следил за Дашей.

Нет, не та Даша, не прежняя, — та Даша умерла. Эта — иная, с загоревшим лицом, с упрямым подбородком. От красной повязки голова — большая и огнистая.

Она раздевалась у стола, жевала корочку пайкового хлеба и не смотрела на него. Лицо ее было утомленное и суровое.

После возвращения из командировки она прибежала домой, но его не застала: он обследовал бремсберги. А ночью она оживленно ухаживала за ним: вскипятила чайник, заварила морковного чаю, высыпала на блюдечко несколько снежных таблеток сахарина и, с лукавым блеском в глазах, подвинула ему ломтик масла — все это для него, мол, она достала в окружкоме. И когда они пили чай, словоохотливо рассказывала о своей работе в женотделе. Расспрашивала его, как он жил эти годы, на каких фронтах воевал.

А потом о Нюрке говорили: Нюрочка — молодчина, в детдоме она чувствует себя свободно. Без ребят ей уже не житье. Как-то Даша взяла ее на праздник домой, но она все время рвалась обратно. Правда, много, очень много недостатков: в детучреждениях еще питание неважное — трудно с молоком, нет сахара, а о мясе детишки не имеют понятия. Да и персонал ненадежный: надо за каждым глядеть и глядеть... Но все наладится, все утрясется. А что же будет делать он, Глебушка?

Он не слушал ее, отвечал невпопад: следил за нею, старался понять ее, почувствовать всю, пробудить в ней прежнюю молчаливую покорность. Он обнимал ее, брал на руки, распалялся. Она тоже обнимала его, но целовала настороженно, с испуганной тревогой в гла-

зах, и они от этого делались большими и строгими. Когда он бросался к ней, взбешенный страстью, она рассудительно и сердито приказывала:

— А ну, подожди!.. Стой-ка! Одну минутку!..

И эти холодные слова отшибали его, как пощечины. А она оскорбленно упрекала его:

— Ты во мне, Глеб, и человека не видишь. Почему ты не чувствуешь во мне товарища? Я, Глеб, узнала кое-что хорошее и новое. Я уж не только баба... Пойми это... Я человека в себе после тебя нашла и оценить сумела... Трудно было... дорого стоило... а вот гордость эту мою никто не сломит... даже ты, Глебушка...

Он свирепел и грубо обрывал ее:

— Мне сейчас баба нужнее, чем человек... Есть у меня Дашка или нет?.. Имею я право на жену или я стал дураком? На кой черт мне твои рассуждения!..

Она отталкивала его и, сдвигая брови, упрямо говорила:

— Какая же это любовь, Глеб, ежели ты не понимаешь меня? Я так не могу... Так просто, как прежде, я не хочу жить... И подчиняться просто, по-бабьи, не в моем характере...

И уходила от него, чужая и неприступная.

С каждым днем она все больше отдалялась от него, замыкалась, и он видел, что она страдала. И он страдал от обиды и злобы на нее. Он решил, что кто-то стоит у него на дороге, что Даша, должно быть, нашла кого-то другого за эти годы: она не хочет делить свою любовь между ним и тем неизвестным ему соперником. Чем же иным можно объяснить ее неподатливость? Не может быть, чтобы за три года она не тосковала по мужчине, а при встрече с ним, Глебом, не отдалась бы ему самозабвенно... Глупо рассуждать ночью о каком-то человеке, когда он бешено обнимает ее. Ведь и он видит, что она волнуется, едва владеет собою, и под рукою у него бурно бьется ее сердце.

И вот сейчас она еще дальше от него, чем в первые дни. До каких же пор, черт возьми, будет продолжаться эта канитель?

— Скажи мне, Даша, как это понимать?.. Вот я был в армии, не имел ни отдыха, ни срока, чтобы по-

думать о себе. А пришел домой — и стало тошно. Не сплю по ночам — жду тебя. Живу я здесь неделю, а дома ночевала ты только три раза. Ведь мы же не виделись с тобою три года.

Она вздохнула и ласково усмехнулась.

— Да, три года, Глеб.

— Ни черта не понимаю, хоть убей... А помнишь ту ночь, как мы с тобой расставались? Помнишь, как ты за мной ухаживала на чердаке? И как плакала, когда расставались! Эти твои слезы не забывались ни на один день. Что случилось, Даша?

— Ах, Глеб, как много перемен!..

— Ну, вот... я об этом и говорю...

— Видишь ли, Глебушка... когда-то я была дурочкой. Прямо вспоминать стыдно...

— Так. Выходит, Дашок, что я напрасно сюда ехал... Прежнее — к черту?

Даша пристально посмотрела на него, потом задумчиво отвернулась к ночному окну.

— Чего ты хочешь, Глеб? О чем ты думал эти годы? Ты бросил меня одну на произвол судьбы, и я сама боролась за свою жизнь. Я научилась чувствовать тепло даже зимою в нетопленной комнате (топливный у нас кризис). И обедать привыкла в столовой нарпита. — И пошутила с улыбкой: — Видишь, и я — свободная советская гражданка.

Глеб сел на кровать, и в глазах его, видевших смерть и кровь, вспыхнул испуг.

— А Нюрка? Может быть, ты и дочку выбросила свиньям, как свободная женщина?

— Ну, уж это совсем глупо, Глеб!..

Она сняла повязку и бросила ее на стол. Стриженые волосы рассыпались, и каштановые косицы упали на глаза. Стала она похожа на мальчишку. А смотрела она на Глеба как-то сверху вниз, с умной снисходительностью, и улыбалась.

Во тьме, за окнами, в ущелье, одиноко вздыхала ночная пичуга: хлип-хлип... и под полом шуршали землею и щебнем голодные крысы.

— Ну, хорошо, Даша. А если я завтра пойду в детдом и приведу Нюрку домой? Что ты на это скажешь?

— Пожалуйста, Глеб. Ты — отец. Ухаживать я за ней не могу — некогда. А если хочешь быть нянькой — сиди с ней. Буду очень рада.

— Но ведь ты же — мать. С каких это пор ты превратилась в кукушку? Бросила ребенка черт его знает куда, а сама носишься высунув язык...

— Я — партийка, Глеб. Не забывай этого.

Глеб встал с кровати и отошел к двери. И опять почувствовал, что ему тесно: душили стены, и пол зыбился и трещал под сапогами.

Даша взяла с кровати подушку и одеялку, вынула из комода простыню и постелила на полу постель. Потом быстро приготовила кровать и Глебу.

Нужно было решить: любила ли она его, как прежде, или эта любовь умерла, и вместе с любовью ушла в прошлое и сама Даша?

Кого она за эти годы грела и ласкала своим телом? Разве может здоровая и сильная женщина оставаться пустоцветом?

— Да, гражданка, было дело... Расставались — плакали, встретились — слова сказать не о чем...

— Почему же, Глебушка? Я очень хочу говорить... И много у меня хороших слов. А ты сводишь все к одному...

Но он не слушал ее и ворчал:

— Три года я думал: вот, мол, ждет меня жена. Ждет и — все такое... А приехал — стал вдовцом. Будто женатый я был только во сне. Конечно, был муж, да только — не я.

Даша повернулась к нему в изумлении, и глаза ее блеснули гневом.

— А разве там у тебя не было баб без меня? Признайся. Ведь я еще не знаю: здоровый ли ты, или пришел с гнилою кровью.

Сказала это она сквозь зубы, небрежно, но убежденно. Она видела его насквозь, и он смутился.

— Ну, на фронте всяко случается. Нельзя же ставить на одну линию мужчину и женщину. Что допустимо мужику — бабе недопустимо.

Даша разделась, но не легла — прислонилась к стене, не стыдилась. Знающим взглядом она скольз-

нула по фигуре Глеба и опять ответила небрежно, сквозь зубы:

— Милое дело: у бабы — иное положение. У нее, вишь ты, лихая судьба — быть рабой и не знать своей воли: быть не в корню, а в пристяжке. По какой это ты азбуке коммунизма учился, товарищ Глеб?

Он не узнавал ее: какая-то невиданная сила дышала в ней. Ее прямота и дерзость сбивали его с толку. Разве она раньше смела говорить с ним таким независимым тоном? Она жила тогда его умом и отдавалась ему вся без остатка. Откуда у нее такая смелость и самоуверенность?

Он подошел к ней и тяжело посмотрел в ее лицо.

— Так, значит, это — правда? Да?

За окном была душная тишина в звездах, сверчках и ночных колокольчиках.

Там, за заводом, у пирсов, — море в фосфорическом дыме. Оно поет и вздыхает прибоем.

— О твоих бабах на фронте я тебя не спрашиваю, Глеб. Какое тебе дело до моих зазноб?

— Так имей же в виду, Дашка: я добьюсь... я сумею докопаться до твоих тайных дел... Запомни!

Она отошла от стены и сверкнула глазами.

— Поосторожнее, Глеб. Я умею играть бровями не хуже тебя.

Откуда у нее эта небоязливая речь? Где она научилась так гордо вскидывать голову и отражать глазами занесенный удар?

Не на войне, не с мешком на горбу, не в бабьих заботах: проснулся и окреп ее характер от артельного духа, от огненных лет, от суровых испытаний и непосильной женской свободы.

Чувствовал он, что теряет почву под ногами, что становится смешным в ее глазах. Взбешенный своим бессилием, он схватил ее руки и сдавил их так, что затрещали косточки. Но она и виду не показала, что ей больно.

— Брось руки, Глеб! Слышишь? Уходи прочь!

Но он сгреб ее в охапку и бросил на кровать. Завязалась борьба. Она извивалась, рвалась из его рук, и голое ее тело бесстыдно корчилось от натуги. Вдруг ловким ударом ног она сбросила его на пол и быстро вскочила с кровати. Бледная, она одернула рубашку и, задыхаясь, с презрением сказала:

— Я не позволю так с собой обращаться, Глеб. Ты еще не знаешь меня с этой стороны? Узнай — не лишне. Вот так большевик!.. Вояка, а мозгов не завоевал...

Он сидел на полу и, укрощенный, скрипел зубами.

— Туши огонь, Глеб, ложись. Пусть схлынет дурь. Сейчас ты неспособен думать. Все равно ни к чему не придем.

— Я ничего не понимаю, Даша... У меня огонь в душе...

— Ложись и успокойся, Глеб. Я задыхаюсь от усталости. Завтра опять командировка в деревню. Кругом — бандиты, нападения...

Она подошла к столу и потушила лампу. Он слышал, как она легла, зашуршала одеялом и замолкла. И ему было мучительно и от обиды и от стыда. Хотелось броситься к ней, бить ее, терзать и плакать, — плакать и умолять о ласке. Так молчали они долго и не шевелились. Он ждал, надеялся, что она встанет, подойдет и нежно, без слов прижмется к нему. Но она лежала без движения, даже дыхания ее не было слышно.

— Даша, родная!.. Не мучай меня... Почему ты такая неласковая?..

Она взяла его руку и приложила к груди.

— Милый, возьми себя в руки... успокойся... Давай немножко поймем друг друга... Подожди, родной... Мне тоже нелегко. Но есть такое, о чем надо подумать. Я только о тебе и тосковала эти три года...

В окне звенело небо звездами, и где-то — должно быть, в горах — раскатистым эхом рокотал далекий гром. Это пел лес в ущельях от ночного норд-оста.

2

Детдом

Утром сквозь сон почувствовал Глеб, что в комнате играет солнце. От окна к двери и от двери к окну гулял воздух, насыщенный весной. Даша стояла у стола и закручивала на голове огненную повязку. Она поглядывала на него и улыбалась.

— Я уже, Глебушка, успела набросать доклад о детских яслях. Выработала смету, а взять негде... Такие мы голоштанные!.. Надо бы маленько ущемить буржуазию. Да! ведь ты еще не видал Нюрки. Хочешь, пойдем вместе в детдом? Он здесь рядом!

— А ну-ка, Дашок, пойди сюда!..

Даша подошла с лукавым вопросом в утренних глазах.

— Ну? А дальше что?

— Дай руку. Вот. — Оба помолчали, улыбаясь и прислушиваясь друг к другу. — Черт тебя поймет: будто и прежняя, а все-таки — новая... А может быть, и я сам — не слесарь? Хорошо... будем учиться. Теперь и солнце работает не тем боком.

— Да, Глеб, может быть, и солнце стало другим. Все изменилось — это правда. И ты стал иным: не то моложе, не то старее — не знаю... А у меня все внутри перевернулось... Ты вот на меня злишься, а ведь сам виноват: ты и не поинтересовался, как я жила и в каком огне горела. Если бы ты хоть немножко меня узнал и почувствовал, не так бы грубо со мной обращался. Эх ты, детина!..

И она засмеялась и выбежала из комнаты на крылечко.

— Ну, ну, сряжайся! Я жду тебя...

Вплоть до детского дома Даша шла впереди, по дорожке, которая виляла в кустах туй и кизила. Она пряталась в них и опять вспыхивала красной повязкой.

Детский дом имени Крупской громоздился в ущелье, в охапках садовых деревьев. Стены были сложены из дикого камня грубой, крепкой кладки, с по-

токами цемента. Окна — большие, как двери, — были открыты, и из темных пустот вырывался птичий разноголосый гам. Массивная лестница шла на второй этаж изломами, с цементными вазами на тумбах. На веранде спелыми дыньками зрели на солнце головенки ребят, а лица их издали казались мертвенно исхудалыми. Кто они — мальчики? девочки? — не поймешь: все в серых длинных рубахах. И няни — тоже серые, в белых косынках — млели на солнце.

А вправо, за корпусами и над корпусами, небесной синью кипело в ослепительных искрах море.

Черным жучком-плавунцом бежал от пирса и каботажей портовой катер, и между ним и каботажами натягивались нити треугольника. И город, и горные дали были четки и близки.

...Вот оно — и горы, и море, и завод, и город, и дали, уходящие за горизонты, — вся Россия — мы... Все эти громады — и горы, и завод, и дали — поют в недрах своих о великом труде... Разве руки наши не дрожат от предчувствия упорной работы? Разве сердце не рвется от напора крови?.. Это — рабочая Россия, это — мы, это — новая планета, о которой мечтало в веках человечество...

Даша стояла у лестницы и пристально улыбалась ему навстречу.

— Какой воздух хороший, Глеб, — будто море!.. Весна! Нюрка живет на втором этаже.

И опять пошла на несколько ступеней впереди. И шла, как домой, и была она здесь своя, как дома.

С веранды увидел Глеб детишек, которые рыскали в кустарниках, в чаще чахлых деревьев. Кучками барахтались в земле — рылись жадно, торопливо, по-воровски, с оглядкой. Копают, копают — и рвут друг у друга добычу. А вон там, у забора, детишки копошатся в навозе.

Глеб кивнул на ребятишек и, пораженный, уставился на Дашу.

— Ведь они передохнут у вас с голоду, Дашок... Расстрелять вас надо за вашу работу...

Даша удивленно подняла брови, взглянула вниз, и подбородок у нее дрогнул от улыбки.

— Ах, это? земляные работы?.. Это не так страшно: бывает хуже. Если бы не было глаза — все передохли бы как мухи. Пооткрывали дома, а кормить ребят нечем. Персонал, дай волю, перегрыз бы горло детям. Впрочем, есть кое-кто хорошие... нашей выучки...

— И Нюрка — тоже? И она так же копается в земле и в навозе, как эти голодные чушки?

— А чем же Нюрка лучше других? Бывала и с Нюркой беда. Если бы не наши женщины — детей бы съели вши и зараза.

Когда они шли с горы, дети были на веранде, а когда поднялись на веранду — и дети и няни пропали. Должно быть, побежали передать весть о гостях.

В зале много было солнца, и воздух был густой и горячий. Топчаны стояли в два ряда, в белых и розовых одеялках в прорехах и заплатах. Дети одеты были в серые балахончики. На стенах висели мазюльки — клубные работы детей.

Няни почтительно останавливались.

— Здравствуйте, товарищ Чумалова! Заведующая сейчас придет.

Даша чувствовала себя здесь хозяйкой.

— Нюрка, я — здесь!.. Нюрка!..

Девочка в балахончике (маленькая — меньше всех) уже с визгом и смехом бежала навстречу. Дети тоже визжали и неслись за нею.

— Тетя Даша пришла!.. Тетя Даша пришла!..

...Нюрка! Вот она, чертенок, какая — совсем не узнать: чужая, но что-то узнается родное.

Она с разлету вросла в мать и утонула в ее юбке.

— Мама! Мама моя!.. Мама!..

Даша тоже смеялась. Она подхватила ее на руки, закружилась с ней и зацеловала ее.

— Нюрочка моя!.. Девочка моя!..

...Опять — прежняя Даша, — та, которая была дома, когда с Нюркой встречала его вечером. И нежность, и ласка — прежние, со слезою глаза, и певучий голос с нервной дрожью...

— А вот — твой папа, Нюрочка... вот он... Помнишь своего папу?..

Нюрка нелюдимо уставилась на Глеба синими глазенками и насупилась.

Он засмеялся, протянул руку и почувствовал, как горло у него сдавила судорога.

— Ну, поцелуй меня, Нюрочка. Какая ты стала большая!.. Как мама, большая...

А она отшатнулась назад и опять впилась в мать пристальным взглядом.

— Это — папа, Нюрочка.

— Нет, это — не папа. Это — красноармеец.

— Но я же — папа, и я же — красноармеец.

— Нет, это — не папа.

Глаза Даши налились слезами, но она улыбалась.

— Ну, пускай, для первого разу я — не папа. А ты все же — моя дочка. Будем товарищами. Я принесу тебе в другой раз сахару. Из горы выкопаю, а принесу. Но мама чем лучше меня? Ты — тут, а она — там.

— Мама — тут. И днем — тут, и не днем — тут. А папы нет. Я не знаю, где папа... папа бьется с буржуями...

— Овва, вот откатала знаменито!.. Ну, дай же я тебя поцелую...

Дети с любопытством пялились на Глеба, смеялись и жадно ждали, когда обратит на них внимание тетя Даша. Девочки, стриженые под мальчат, вперебой тянулись к ней ручонками с кудрявыми пучками фиалок, и каждая непременно хотела первой вложить цветочки в ее руку.

— Тетя Даша!.. Тетя Даша!..

Где-то далеко в комнатах барабанили на пианино, и детский хор разноголосо кричал изо всех сил:

Вставайте, дети обновленья,
Всех стран свободные юнцы...

Даша смеялась, трепала ребят по головенкам, и видно было, что они привыкли к этой ласке и ждали ее так же, как обычной порции еды.

— Ну, детишки, что вы кушали, что вы пили, у кого — брюхо полное, у кого — пустырь?.. Говорите!..

А они кричали ей в ответ и царапали головенки и животы. Чумазый дитенок шмыгал носом, глотал сопельки и, выпучив глазенки, кряхтел и чесал грудь. Глеб подошел к нему и поднял рубашку. Мальчишка заорал и в испуге убежал за топчаны, в угол. Из-за топчанов видна была одна голова и выпученные глаза.

— А-та-та-та!.. Вот лютый герой, шкет, — разом кроет на баррикады!..

Все весело смеялись. А солнце играло в открытых окнах — больших, как двери.

С Нюркой за руку Даша пошла впереди. Глебу было больно: и здесь он — чужой. Даша, с Нюркой на руках, звенела среди ребят колокольчиком. А он и здесь, и дома был одинок и бездетен.

Да, надо и тут завоевывать жизнь...

Прошли по всем этажам: были в столовой, где — посуда и дети, и в кухне были, где — пар и запах шрапнели и тоже дети; заглянули и в клуб, где — пусто, а стены — в плесени и мазюльках. Это здесь сбитые в кучу около стриженой девицы, с бурым родимым пятном во всю щеку, дети разноголосо пели:

Вставайте, дети обновленья...
Вы — мира светлого творцы...

Домаха и Лизавета — соседки — тоже здесь хозяйничали. И в них Глеб увидел что-то новое, не виданное никогда. Домаха была на кухне и помогала стряпать. Распаренная, с засученными рукавами, она хлопотала, как у себя в комнате. Встретила она Дашу поцелуями.

— Ну вот, пришла наша атаманша. Ты пробери там этот паршивый наробраз: надо дело делать, а не сморкаться в платочки. А продком — особо, лбом об стенку: где это видано, чтобы детей кормить червями и мышиным дерьмом?.. Что, опять благоверный навязался? Гони его в шею!.. Мой не пришел — и ладно: черт с ним! Не пужай своим колпаком!.. А в продком я сама пойду и ботинкой буду бить им хари...

Даша похлопала ее по широким лопаткам и засмеялась.

— Ну, загорланила, гусыня... Лихая же ты баба. Домаха, уф!..

— Морды всем надо колошматить... Все они, черти, глядят только в свою утробу. Я им всем там штаны спущу.

Глеб смеялся.

Лизавету нашли в кладовой, у завхоза. И завхоз и Лизавета были обе высокие, гордые; обе — опрятно одетые, похожие на сестер милосердия. Только завхоз была черная, с армянскими усиками, а Лизавета — белобрысая, полнотелая (голод, разруха, а вся — налитая). Отвешивали продукты, проверяли, записывали.

И с Дашей встретилась Лизавета гордо, а улыбнулась одной вспышкой в глазах.

— Пройди, Даша, к кастелянше. После стирки белье превратилось в тряпки. Дети —без смены. Они ходят в горы за топкой, а падалку всю подобрали рабочие — не на чем разварить шрапнель. Кого бить по башкам?

Даша записывала слова Домахи и Лизаветы с серьезной морщинкой на лбу.

— Ты, товарищ Лизавета, обследуешь все дома и доложишь в женотделе. Рыть землю надо — верно. И бить надо — тоже правда.

А Лизавета только один раз толкнула взглядом Глеба, а потом больше его не замечала.

И опять всюду ходили женщины в белых косынках и без косынок, и все почтительно и льстиво улыбались Даше. А на Глеба подозрительно косились. Кто он? Может быть, один из надоедливых ревизоров, к которому надо присмотреться и узнать слабые его стороны?

Глеб ловил ручку Нюрки и просил:

— Нюрочка, ну дай же ручку!.. Маме ручку дала, а почему мне нет?..

Но она опасливо прятала руки. И когда он нечаянно поцеловал ее и вскинул на руки, она вдруг стала покорной и впервые пристально и вдумчиво поглядела ему в лицо.

— Ваша Нюрочка — славная девочка...

Это сказала заведующая, юркая мышка, пестренькая, в искорках, ускользающая, с золотыми зубами.

Даша смотрела мимо нее, и лицо ее опять стало сурово и жестко.

— Что — Нюрочка... Здесь все — одинаковые. Все должны быть славные...

— Да, конечно, конечно!.. Мы делаем все для пролетарских детей... Теперь пролетарские дети должны быть центром нашего внимания. Советская власть так много заботится...

У Глеба заскрежетало в челюстях.

«Брешет. Надо обследовать, какой здесь элемент».

А потом полились жалобы, жалобы, жалобы...

И на жалобы Даша тоже отвечала строго и неприветливо (такого голоса раньше не слышал Глеб):

— Не плачьте, пожалуйста, товарищ завдомом!.. Вы покажите дело, а не плачьте. Плакать — это еще не суть важное...

— Ну конечно, конечно же, товарищ Чумалова!.. С вами так хорошо и весело работать!..

Даша ходила по всем закоулкам, нюхала, задавала вопросы. Не утерпела — толкнулась и в комнаты персонала.

— Вот это та-ак... Почему же стулья, кресла, диваны в этих чуланах? Тут и цветочки, и картины, и статуи... и всякое такое... Я же говорила: нельзя отнимать у детей... Это — безобразие!.. Разве им плохо подчас поваляться на диванах и на коврах? Так нельзя!..

— Видите ли, товарищ Чумалова... вы правы, конечно... Но воспитательская практика... Это — вредно: развивается лень... всякая пыль и зараза...

В глазах заведующей дрожали иголки, а Даша, не глядя на нее, говорила тем же голосом, с красными пятнами на щеках:

— А наплевать мне на вашу практику! Наши дети жили по-свински... А сейчас — побольше им света, воздуха... и мягкую мебель и картины... Все надо дать им, что можем... Обставить, украсить клуб... Им надо есть, играть, любоваться природой. Нам — ничего, а им — все: зарежь, удуши себя, а дай!.. А чтобы не ленился персонал, надо загнать его в драные чуланы...

Вы мне, пожалуйста, не заливайте глаза, товарищ завдомом: я понимаю, кроме вашей практики, и коечто другое...

Юркая пестренькая мышка сверкала золотыми зубами и смеялась в восторге (а в глазах играли острые иголки).

— Ну кто же в этом сомневается, товарищ Чумалова?.. Вы — редкая женщина по чуткости и внимательности. При вашем руководстве все хорошо, все будет прекрасно...

И когда уходили, опять Даша ласкалась к Нюрке, и опять к ней липли детишки с разноголосым криком.

Нюрка опять долго, вдумчиво смотрела на Глеба.

— Домой хочешь, Нюрочка? Там будешь играть, как раньше... И папа и мама...

— Мама — тут... Вот она... А папы — нет... Моя постелька вон там. Мы сейчас кушали молоко и будем ходить под музыку.

И впервые робко и мягко обняла Глеба, а в глазенках (мамкины глазенки) тлелась искорка нерешенного вопроса.

От детдома до шоссе Даша молчала. Лицо ее светилось неостывшей лаской. На шоссе она с сожалением сказала:

— Ну, я пошла в окружком... Работы много — приду поздно... Нам, женотделу, суток не хватает. Не детей обрабатывать... нет! Надо обрабатывать наших проклятых баб... Если бы не глаз и руки — все бы разграбили до последней крошки... Сами!.. По-рабски! Уф!.. Везде — враги... Ой, как много врагов!.. Тем, золотозубым, уж так положено... а свои... свои, Глеб!.. По-рабски!.. Ну, так как же ты думаешь насчет ущемления буржуев?

А Глебу было невыносимо: чужая, новая, незнакомая женщина...

Угрюмо, почти враждебно, он пробормотал:

— Подумаем... Это просто не решается... Как посмотрит бюро губкома...

Даша улыбалась исподлобья, и у нее чуть-чуть вздрагивал подбородок. Она испытующе спрашивала его о чем-то глазами, а он мрачно смотрел в сторону.

III. ОКРУЖКОМ

1

Товарищ Жук, который кроет

Дворец труда громоздился кирпичной казармой в два этажа на набережной, у длинной ажурной эстакады, убегающей черными сваями в бухту. Бетонная стена ломаной лентой улетала в обе стороны от фасада и отрезала набережную от железнодорожной территории. В проломы и разрывы стены видно было, как вытягивались и ветвились железные жилы ржавых и накатанных рельс. Сарайно пластались лабазы вплоть до вокзала, и далеко, на упорах предгорья, древними башнями глядели омшелые вышки элеватора. А он громоздился под горами, как гигантский храм.

По мостовой, вдоль стены, грохотали телеги, и серые массивы пристаней с циклопическими кольцами для причала океанских кораблей, с звенящим блеском рельсовых путей в мусоре вагонного лома, пустынными мысами и молами резали бухту на каменные кварталы. А вдали, в дыму весенней мглы, гавань играла радужными пленками, и вспыхивали чайками рыбачьи белопарусники. Переваливались дельфины с бычьими спинами, и прыскала серебром на солнце кефаль.

...Тоскующие пристани, голодное море... В каких водах и странах блуждают плененные корабли?..

У Дворца труда перед порталом с высокой пирамидой ступеней был когда-то цветник и росли каштаны. Но теперь цветов уже нет, ограда разрушена и каштаны срублены на топку.

Высоко над крышей, на красных взмахах флага, зажигались и гасли белые ромашки: РСФСР.

Глеб вошел в коридор. Прямо, в зале заседаний, видны были знамена и транспаранты. Накрест тянулся другой коридор — темный и пыльный. Направо помещался окружком, налево — совпроф.

От табачной мути воздух был грязный. И стены были грязные, в пятнах, с расковырянной штукатуркой. Всюду бродили с голодными лицами рабочие, злые и покорные, а между ними шныряли какие-то хлопотливые люди.

Далеко и близко в комнатах рокотали голоса и смех, трещали машинки, щелкали винтовочные затворы — должно быть, в отряде особого назначения.

Глеб пошел по коридору направо.

У стеклянных дверей окружкома стояли два человека. На матовых квадратах стекол их головы вырезались четкими силуэтами. Один — лысый, с турецким носом. Верхняя губа — коротенькая, рот — полуоткрыт в улыбке. Другой — курносый, с маленьким лбом и толстым подбородком.

— Стыд и срам, товарищи дорогие!.. Стыд и срам и позор!..

Это обличительно говорил курносый.

— Чиновничество заело... бюрократизм...

— Вы ошибаетесь, товарищ Жук. Не это важно... совсем не это... Врагов много, товарищ Жук. Нужен беспощадный террор, иначе республика будет между жизнью и смертью. Вот о чем нужно думать. Я вас понимаю, товарищ Жук, но у советской власти должен быть крепкий, выверенный аппарат... пусть бюрократический аппарат... но он должен работать наверняка.

— И ты — туда же... Все — туда же... А куда же рабочий класс? Эх, товарищ дорогой, Сережа!.. Нутро болит...

— Теперь только одно, товарищ Жук: работа среди масс. Работа, работа и работа... Массы должны немедленно насытить весь рабочий аппарат республики вплоть до самой верхушки. Крылатая фраза товарища Ленина о кухарке должна быть твердым бытовым фактом. В этом — все... И вы ошибаетесь...

— Эх ты, Сережа!.. Преданный, называется, коммунист, а слепой. Сердца надо побольше рабочему классу, а насчет врагов — черт с ними: крутили и будем крутить.

Глеб узнал в этом курносом обличителе своего давнишнего приятеля, токаря Жука с завода «Судосталь». Он, оказывается, и сейчас кричит и жалуется, как три года назад...

Глеб подошел к нему и ударил его по плечу.

— Здорово, друг!.. Кричишь? Обличаешь?.. По-старому?.. Когда перестанешь обличать? Командовать надо, а ты скулишь, курносый.

Жук выпучил глаза от изумления. Он со свистом вдохнул и выдохнул воздух.

— Товарищ дорогой!.. Глеб!.. Шатия!.. Вояка!.. Мать ты моя родная!..

Он кинулся обнимать Глеба.

— Да как же это ты, а?.. Друг!.. Да мы сейчас с тобой всех покроем... Всех на место поставим... Какая тебя планида, а? Сережа, вот тебе — мой самый верный друг... из страды и крови...

Глеб и Сергей потрогались руками, сплелись пальцами осторожно, по-чужому. И в пальцах Сергея почувствовал Глеб мягкость и девичью робость.

У Сергея вились рыжие кудри вокруг лысины, в глазах сияла улыбка. И не поймешь: не то эта улыбка была насмешливой, не то застенчивой.

— Я уже знаю вас, товарищ Чумалов. Видел в прошлый раз, когда вы были на регистрации. О вас ставился вопрос в комитете. Вы пришли кстати. Пройдите к секретарю, товарищ Чумалов. Там заседание, но секретарь распорядился немедленно вызвать вас телефонограммой. Пройдите... Жидкий — фамилия...

— Ну, уж ты сам проводи его, Сережа: тебе с руки. И я пойду с вами — погляжу, как они возьмут его голыми руками...

— Я занят, товарищ Жук. Сейчас — совещание в агитпропе, потом заседание коллегии ОНО, потом — выступление...

— Эх, Сережа!.. Образованный ты человек, а хуже монаха: в великом послушании и смирении...

Прямо у окна, за столом, с карандашом в руке, в синей косоворотке сидела товарищ Мехова, завженотделом. Из-под красной повязки кудрявились волосы

и играли на солнце. Верхняя губа — с пушком, как у мальчишки, и брови переливались и пылились искорками. Она задержала на Глебе большие глаза в длинных ресницах, и брови ее вздрогнули от улыбки.

Сбоку, у стола, стояла Даша и говорила бойко и звонко. На Глеба она бросила только короткий взгляд. Около нее и по стенам толпились женщины. Они слушали доклад Даши.

Жук засмеялся, схватил за рукав Глеба.

— Опасный перегон, друг Глеб, — бабий фронт: заклюют, зацарапают... Берегись!..

Сергей улыбался конфузливо.

Даша вскинула голову, замолчала и сложила руки на груди. Ждала, когда уйдут мужчины.

Товарищ Мехова отмахнулась от них и, улыбаясь, сердито приказала:

— Проходите, товарищи, — не мешайте. Продолжай, Даша.

А потом сразу же перебила ее:

— Товарищ Чумалов, на обратном пути зайдите ко мне. Я хочу поговорить с вами...

Глеб приложил руку к шлему и бойко ответил:

— Есть!

Даша докладывала о сети детских яслей по городу.

2

Конкретное предложение

Как только Глеб отворил дверь в комнату Жидкого, на него хлынули духота и табачный чад.

Солнце играло здесь в зеленых волнах дыма. Вспыхивали искорки пыли.

Жидкий был чисто выбрит и сидел в кожаной куртке внакидку. Напротив него, откинувшись на спинку стула, курил трубку предчека Чибис, тоже бритый. У Жидкого на щеках — вертикальные складки, а нос — азиатский, с широкими ноздрями.

На подоконнике, опираясь ногами о косяк, сидел юноша с кофейным лицом, очень худой, в черной

рубахе — предсовпроф Лухава. Он молчал и слушал, упираясь подбородком о колени.

Глеб приложил ладонь к шлему, но Жидкий не обратил на него внимания: мало ли ходят к нему членов партии — здороваться некогда.

— Ну, есть лесосеки. Ну, есть райлес. Ну, заготовки. А дальше?

И отстукивал точки карандашом.

— Что же дальше?.. Ведь все дело в том, чтобы доставить дрова. Они — за перевалом, они — по побережью. Дровяная повинность проваливается. Надо найти верный и быстрый способ доставить топливо до зимы. К черту кустарничество и паллиативы: надо брать быка за рога в широком масштабе. Тут должно быть огромное напряжение, сюда должны быть брошены все силы. Райлес не выполнил возложенной на него задачи: там засела всякая сволочь — шкурники и стервятники, которых надо расстрелять. Рабочие на лесосеках скоро поднимут бунт, потому что издыхают с голоду. Дайте дрова, иначе мы детей рабочих будем складывать в штабели. Тупик, ребята. Через неделю — заседание экосо: мы должны быть готовы. Говори, Лухава!

Чибис ни на кого не смотрел, и нельзя было узнать, думает ли он, или отдыхает скучая.

Лухава прижимал руками колени к груди и смотрел на Жидкого с самоуверенной насмешкой.

— Нет и не может быть тупиков, Жидкий, есть только задачи. Ты в панике, дружок.

Ноздри Жидкого раздувались, и от этого казалось, что он смеется.

— Надо использовать механическую силу завода...

Сергей протянул руку и попросил слова:

— Я хотел кстати... насчет предложения Лухавы...

Складки на щеках Жидкого заиграли от улыбки, и Глеб увидел в этой улыбке снисходительную и ласковую насмешку.

— У Сережи конкретное предложение, товарищи. Формулируй!..

— Я хотел в связи с предложением товарища Лухавы указать на товарища Чумалова. Обсуждение

этого вопроса может выиграть во времени, если товарищ Чумалов выскажет по этому поводу свое мнение, как рабочий завода... А сейчас мне нужно...

Жидкий оборвал его на полуслове взмахом руки.

— Стоп, стоп!.. Сережа, как всегда, чувствительно декламирует и наливает румянцем свою лысину...

— Мне сейчас нужно на совещание агитпропа, потом — в коллегию ОНО, потом...

Чибис усмехнулся и сказал лениво, с пристальным взглядом в Сергея:

— Интеллигент... это «потом» в его устах звучит, как молитва. А по ночам он не спит от проклятых вопросов... Интеллигенты — всегда чувствуют себя пришибленными и виноватыми.

Сергей густо покраснел и растерялся.

— Но ведь вы — тоже интеллигент, товарищ Чибис.

— Да. Я — тоже интеллигент.

Жидкий пригласил Глеба к столу.

— Ну-ка, товарищ Чумалов... шагай сюда ближе. Придется стоять — стульев нет.

Глеб подошел к столу и стал по-военному.

— Демобилизован как квалифицированный рабочий. Нахожусь в распоряжении окружкома.

Не отрывая глаз от лица Глеба, Жидкий подал ему руку.

— Ты, товарищ Чумалов, назначен секретарем вашей заводской ячейки. Она дезорганизована. Мешочники и спекулянты. Все помешались на козах и зажигалках. Идет открытое разграбление завода. Ты, вероятно, уже в курсе дела. Укрепи ее на военную ногу.

— Постараемся. Но всякая дисциплина, товарищ Жидкий, требует своей базы.

— Это верно. Вот и создай эту базу.

Лухава опять заклевал подбородком колени, жевал папироску углом рта и смотрел на Глеба вприщурку. В глазах его горели угольки и вызывающий острый вопрос. В ответ на слова Глеба он небрежно бросил Жидкому:

— Направь этого товарища в организационно-инструкторский. Мы не можем прерывать заседание посторонними пустяками.

Глеб встретился глазами с Лухавой, но ничего не сказал.

Чибис взглянул на него сквозь ресницы.

— Ты — квалифицированный рабочий... военком... Зачем ты бросил армию, когда завод остыл на года?

Глеб усмехнулся и внимательно оглядел Чибиса.

— Куда к черту — остыл! Хуже. Гнусное место — свалка, скотный двор. Будем говорить прямо, товарищи. Вы хотите взять за горло рабочих и разогнать коз. А где производство? Вы требуете крепкой организации? А где у вас для этого предпосылки? Дайте лозунг о пуске завода, и все пойдет как по маслу. А без этого рабочие будут не рабочие, а свинопасы.

Лухава пренебрежительно фыркнул.

— Героям Красного Знамени, кроме храбрости, нужно еще научиться реальному пониманию вещей.

Чибис сидел, опираясь на спинку стула, холодный и замкнутый, и сквозь пыльный налет на лице нельзя было узнать, следит ли он за беседой, или отдыхает скучая.

На щеках у Жидкого вздрагивали складки от улыбки.

— Итак, будем продолжать обсуждение вопроса о топливе.

От слов Лухавы, таких же вызывающих, как и его усмешка, Глеб едва владел собою от раздражения. Жидкий напустился на Глеба:

— Товарищ Чумалов, у нас нет ни полена дров. Мы дохнем от голода. Дети в детских домах вымирают. Рабочие дезорганизованы. Какой тут к черту завод? Что ты городишь ерунду! Не об этом идет вопрос. Что ты можешь сказать о доставке топлива с лесосек? Можно ли использовать для этой цели завод?

— Без топлива, без машин и электричества тут ничего не сделаешь — это ясно.

— Ты говори, как подойти к этому практически.

Глеб помолчал, посмотрел в окно рассеянным взглядом.

— Я думаю, что можно только так: нужно соорудить бремсберг на перевал. Провести организацию воскресников по профсоюзам. Это займет недели две.

Раз заработают вагонетки, дров можно навалить сколько угодно.

Жук цеплялся за Глеба и скалил зубы от радости.

— Сидите вы тут, кубышки... солите, мусолите... А он — вот как... утробой... по-рабочему...

Его не слушали, и весь он, привычный, ежедневный, исчезал в буднях, как мелочь. Он всегда был на глазах, но его не видели, и его крики не доходили до слуха.

Жидкий чертил карандашом прямые и кривые линии на бумаге и рассекал их на части. И оттого, что лицо его стало спокойным и скучающим, он вдруг постарел и осунулся.

— Ты, кажется, об этом хотел говорить, Лухава?

Лухава спрыгнул с окна, прошел мимо Глеба и опять возвратился к окну.

— Я был близок к мысли товарища Чумалова. Он формулировал ее лучше меня. Принять его предложение без прений и поручить ему сделать доклад в экосо.

Жидкий встал и бросил на стол карандаш. Карандаш прыгнул к Глебу и упал ему под ноги.

— Утопия, товарищ Чумалов. Брось болтать о заводе: завод — каменный гроб. Не завод, а — дрова. Завода нет, а — пустая каменоломня. Для нас завод или прошлое, или будущее. Будем говорить только о настоящем — о доставке дров.

— Я не знаю, что, по-вашему, утопия, товарищ Жидкий. Если вы не скажете первого слова — завод, его скажут рабочие. Что вы толкуете: завод — будущее или прошлое!.. А на заводе вы были? Знаете, чем дышат рабочие? Почему они грабят завод? Почему дожди и ветры грызут бетон и железо? Почему идет разрушение и громоздится свалка? Рабочий не хочет заниматься антимониями. Плевать ему на барахло, которое валяется без цели и надобности. Вы тут внушаете ему, что завод — не завод, а брошенная каменоломня. Как же ему поступать после этого? И хорошо делает, что обдирает машины: все равно попадает к черту в зубы... Вы его сами толкаете на это. Во имя чего он будет охранять завод? Какой вы идеей его взволновали, чтобы он был не шкурник, а сознательный пролетарий?

Жидкий с живым интересом слушал Глеба и насмешливо раздувал ноздри.

— Завод ты делаешь своим идолом, товарищ Чумалов. Какого черта — завод, когда у нас бандитизм, голод и советские учреждения кишат предателями и заговорщиками? Кому теперь нужен ваш цемент и всякие цехи? На постройку братских могил? Вы агитируете за овладение производством, а мужик прет на город татарской ордой.

— Товарищ Жидкий, я понимаю это не хуже вас. Нельзя подходить к работе без всякой конкретной цели и строить ее па голых людях. Эти методы вашего крохоборства — к чертовой матери: теперь надо бороться за восстановление хозяйства. Пушки уже замолчали. Люди идут по домам, к своему делу. Теперь в разгаре дискуссия о профсоюзах и новой экономполитике. Вопрос этот надо ставить всерьез. Надо обсудить, с какого боку подойти, и организовать подготовительные работы. Мы уже дождались Кронштадта. А махновщина? А казачья контрреволюция? Белогвардейщина спит и видит, как бы накрыть нас врасплох, лопоухих...

Чибис поднялся и пошел к двери. Потом остановился и сказал многозначительно:

— Наш отряд особого назначения — плох. Если говорить о восстановлении завода, почему нельзя поставить вопроса о казарменном положении?

Он отворил дверь и ушел неторопливо.

Жидкий смотрел на дверь и улыбался понимающими глазами.

— Не будем спорить, товарищ Чумалов. Дело — в идее и в организации масс. Правильно.

Он крепко пожал руку Глебу.

— Выдрессируй, кстати, и Жука, товарищ Чумалов, а то он похож на голодную крысу.

Глеб взял под руку Жука и пошел с ним к двери.

— Товарищ родной!.. Глеб!.. Да мы с тобой, друг, горы ходить заставим... все бурки зарядим... факт!..

А Жидкий дружески крикнул:

— Товарищ Чумалов, не мешает тебе крепко поговорить с Бадьиным, предисполкомом.

В дверях Лухава сжал локоть Глебу.

— Я о вас слышал от Даши. Ваш план мы обсудим совместно и сделаем его основной задачей нашей работы. Надо действовать не словами, а фактами. Будущее — в мозгах, настоящим оно становится в мускулах.

Они пристально посмотрели друг на друга и разошлись.

Даша... Лухава... Почему бы и Лухаве не быть третьим лицом в его драме? Возможно это? Нет, это слишком уж глупо...

3

Женщина в кудрях

Глеб подошел к Меховой и нечаянно опрокинул стул, который стоял на дороге. Сдерживая смех, она с удовольствием оглядела его фигуру.

— Умерьте свой натиск, товарищ Чумалов. Мы работаем в мирной обстановке.

— Виноват! Должно быть, не привык еще к вашим масштабам...

— Придется привыкать. Здесь вас скоро засадят за стол, и вы будете, как все, тянуть лямку администратора. Быстро забудете запах пороха и романтику боевых подвигов. Обмякнете и поблекнете, дорогой товарищ. Вы назначены, кажется, секретарем заводской ячейки? Посмотрим, как вы справитесь с вашей ордой. Женщины там пропахли свиньями, козами и навозом. В каждом доме — лавочка и склад краденых вещей. Пройдет еще полгода — и завод будет разгромлен вдребезги. А какой завод!..

— А я сейчас вот ораторствовал насчет бремсбергов, жидкого топлива, электричества. Чудаки, они говорили только о доставке дров механической силой, а не сознавали, что ведь это и есть первый шаг к пуску завода. Сооружение бремсберга и оживление машин — это одно и то же.

— Все вы болтаете одни и те же слова. На словах вы все богатыри, а на деле метите, как бы сесть

поудобнее и превратиться в совбуров. Будни здесь очень скучны, товарищ Чумалов. В армии лучше. Просилась — не отпускают. Только вот жена ваша не чувствует этих будней и в каждой мелочи находит великое дело.

Даша стояла у стены и усмехалась. А в движениях ее было нетерпение.

— Теперь этот герой баклуши бьет, товарищ Мехова. Рад случаю — поточить лясы. Гони ты его отсюда в три шеи. Нечего его баловать.

— Вот видите? Деловая и строгая женщина.

— Это верно. Вы спросите-ка ее, как она обращается с мужем. Просто нет никакого терпежу... Не знаю, с какого боку к ней и подойти...

Мехова засмеялась и встряхнула кудрями.

— Не исполняет супружеских обязанностей? Какая жалость! Испортила бабу революция.

Даша тоже засмеялась, но в этом смехе он не слышал прежнего милого смеха невесты.

Женщины вытолкали Жука кулаками и наперебой кричали ему в коридор:

— Прошла ваша власть, бритые козлы! Сбрили вам бороды, и стали вы похожи на баб.

Мехова опять пристально осмотрела фигуру Глеба, и ему показалось, что она жадно обнюхивала его.

— Вы еще пока не пропитались нашим климатом, товарищ Чумалов: вы весь от армии и войны. Так и кажется, что вы завтра же укатите в свой боевой полк. Расскажите мне о ваших подвигах. Когда это вы получили орден Красного Знамени? Если бы знали, как я люблю армию! Ведь одно время я тоже дралась в окопах... под Манычем...

Она улыбалась, и улыбка эта была про себя. В глазах ее переливались капельки затаенной радости.

— Хорошо!.. Незабываемые дни!.. как московские октябрьские дни... на всю жизнь... Вот где был героизм!

— Все это так, товарищ Мехова... Но тут, на рабочих позициях, тоже надо бить героизмом. Тут — трудно, разруха, кавардак, свалка, голод... Напрягись, не щадя сил! Сдвинулась гора набекрень — поставь ее

на место. Невозможно? А вот это и есть... героизм и есть то, что кажется невозможным...

— Да, да!.. Я хочу с вами поговорить, товарищ Чумалов. Именно: героизм — это согласованный дружный напор... и тогда невозможного нет...

Она опять засмеялась, и ярче засверкали искорки в бровях и глазах.

— Да, вы правы. Бороться, побеждать... В этом все... Заходите ко мне, товарищ Чумалов. Я живу в Доме Советов.

Даша усмехалась и пытливо посматривала и на Мехову и на Глеба. Потом подошла к нему, повернула его за плечи и толкнула к двери:

— Ну-ка, пошел, пошел отсюда, вояка! Тебе здесь нечего делать... Марш! У нас и без тебя — масса неотложных дел.

Он обернулся и подхватил ее на руки. Хохотали женщины, хохотала Мехова. И от Глебовой ласки на людях Даша вскрикнула и крепко обняла его обеими руками. И на мгновение Глеб почувствовал прежнее Дашино сердце и родной ее смех.

— Товарищ Чумалов, вы знаете, что такое ваша Даша? Она не рассказывала вам о своих приключениях? Тут было все, чего, может быть, и вы не пережили...

Даша дрогнула и вырвалась из рук Глеба.

— Я прошу тебя, товарищ Мехова, меня не касаться. Что было — то было. Хвастаться перед ним я не буду, а другим — даже тебе — языком трепать не позволю...

Мехова смутилась и покраснела.

— Вот как? А я и не знала, что это для нас тайна...

Почему она испугалась и закрыла рот Меховой? Почему все знают ее немужние годы, а ему она не говорила ни слова?

В коридоре его догнала Мехова.

— Постойте, товарищ Чумалов. Вы не сказали, что же вы затеяли там, у Жидкого? Я сейчас же хочу быть в курсе дела. В этой дыре мы начинаем плесневеть и

будничная работа делает каждого кротом. Революция не терпит этого. Если вы будете ворошить наши советские и партийные будни, то вам придется вооружиться хорошими зубами. Я — вместе с вами, товарищ Чумалов. Что бы вы ни делали, я — вместе с вами. Я чувствую, что вы не можете раствориться в буднях: вы — из армии. И вот еще что: вы не тревожьте пока Дашу... Я сейчас поступила глупо. Она сама подойдет к вам — вы увидите. Скажите, что вы решили делать?

— Всё, до пуска завода, если не поломаем костей.

— Ну, идите, — мне больше ничего не нужно. Я — с вами, товарищ Чумалов.

Она улыбнулась с сожалением и радостью и пошла обратно.

А на улице Жук встретил его взмахом руки.

— Ну, каковы наши козыри? То-то!.. Я, брат, всех их на чистую воду выведу. Пойду по всем местам и закоулкам выгонять нечистый дух. Они меня шибко знают, я их каждый день обхожу, головотяпов, житья им не даю, ей-право... Теперь мы с тобой всю бюрократию наизнанку вывернем...

IV. РАБОЧИЙ КЛУБ «КОМИНТЕРН»

1

Ячейка РКП

Рабочий клуб «Коминтерн» занимал бывший директорский дом крепкой стройки из дикого камня трех цветов — желтого, голубого и зеленого. Двумя этажами он вырастал глыбой из ребра горы, заросшей ворохами держи-дерева и туи, и был строг и пуритански прост в архитектуре, как кирха, но богат и расточителен в ажурных верандах, в балконах, в надворных постройках (такой же крепкой и опрятной кладки), с цветниками и площадками для игр. А внутри — множество комнат, запутанных, сумеречных коридоров и

лестниц с дубовыми обелисками, с фонарями мозаичной работы. И каждая комната — в штофных обоях, с художественными панно, с картинами лучших мастеров, с исполинскими зеркалами и тяжелой мебелью.

Перед фасадом, по спуску горы — фруктовый сад, изъеденный козами, с одичалыми дорожками, а вокруг — чугунная ограда на каменном цоколе. Справа, за гранью горы, — гигантские голубые трубы, слева тоже трубы, а высоко, во впадинах, — каменоломни и разрушенные бремсберги.

Когда-то здесь жил таинственный старик, которого рабочие видели только издали и никогда не слышали его голоса. И было удивительно, как он, этот старчески важный директор, мог жить без страха перед пустотой сразу в тридцати комнатах дворца, без кошмаров, без ужасов перед нищетой, грязью, вонью, животным существованием рабочих конур и общих казарм.

И вот война — революция — великая катастрофа... Спасаясь из-под обломков, он, директор, бежал, беспомощный и жалкий. Бежали с ним вместе и инженеры, и техники, и химики. Остался только один, старейший строитель завода, инженер Клейст, похоронивший себя в своем рабочем кабинете, в главном здании управления, за шоссе, внизу, против дворца, его последнего создания.

...В весенний день, когда горели облака, море и горы, а воздух колол глаза солнечными иглами, рабочие завода собрались в слесарном цехе. Среди толчеи, рева и табачного дыма слесарь Громада внес предложение:

— Замечательный дворец, где жил кровопийца-директор, обратить в рабочий клуб и дать ему имя «Коминтерн»...

Низ отвели под клуб и ячейки РКП и РКСМ, а верх — под библиотеку и отряд особого назначения.

И там, где раньше была строгая тишина, где рабочие не могли проходить по бетонным дорожкам мимо дворца (строжайше воспрещалось дирекцией), по вечерам, когда зеркальные стекла пылали пожарным пламенем заходящего солнца, клубные музыканты ревели в медные трубы и грохотали барабанами.

Из домов бежавших инженеров свезли все книги в библиотеку клуба и расставили в шкафы. Книги блестели позолотой, но были непонятны и чужды: на разноцветных корешках искрились готические надписи.

Рабочие продолжали жить в своих конурах и казармах. Дома инженеров стонали пустотами и пугали жутью своих анфилад.

Рабочие делали зажигалки в слесарном цехе, а вечерами искали коз по горам. Бабы ходили в станицы и села — мешочничали.

Ревели быками трубачи в верхнем этаже, и взрывно грохотал барабан.

В рабочем клубе «Коминтерн» Глеб открыл экстренное собрание ячейки. Комната была просторная, с высокими панелями из карельской березы, и из карельской березы была кустарная мебель. И стены и мебель, зажженные вечерним солнцем, блистали золотом.

Принесли грубые скамьи из зрительного зала.

Глеб сидел за столом и видел всех сразу: все лица были похожи одно на другое. Они как будто разные, а что-то есть в них общее, сливающее их в одно лицо.

Долго, мучительно думал: что это такое? Почему раньше это не бросалось в глаза? Почему именно сейчас эти лица тревожат его душу?

Потом понял: это — голод.

Многие встречались с Глебом впервые, но здоровались с ним равнодушно, как будто не расставались. В последний раз они видели его в тот закатный вечер, когда схватили его офицеры у ворот завода в толпе рабочих и били вместе с другими.

Иные крепко трясли его руку, натужливо морщили лицо в улыбке и не знали, что сказать, — крякали и кричали междометиями:

— Ну?.. Что, брат? Как же это, а?..

И шли на места, не оглядываясь. А когда усаживались, опять ласкали его глазами в неудержимой улыбке.

А вот пришел Громада (сам — маленький, а фамилия — большая), засмеялся и чахоточно крикнул:

— Совсем другой коленкор, товарищ Чумалов, ей-право... Жарь! Как мы, коммунисты, дезорганизовались

на козе и зажигалке, но ты не дозволяй дискустировать... крой на ребро и — никаких гвоздей!

Он повернулся к рабочим и захлебнулся восторгом.

— Вот вам, черти-лодыри!.. Прошел через смерть и так и дале... И заявляю: не беру слова к порядку, но режу предварительно, как он, товарищ Чумалов, всю мою душу перевернул и как вступил я через него в ряды Рекапе...

Слушали Громаду и смеялись, — не Громаде говорить такие слова. И недаром сам Чумалов исподлобья улыбался ему, как парнишке. Рабочие тонули в клубах табачного дыма и кашляли.

Слесарь Лошак сидел в дальнем углу. Сидел и молчал, был меньше всех, но заметный, с угрюмым, безгласным вопросом в глазах.

Женщины смеялись и тараторили. И бабьим поводырем стояла у стены Даша. Иногда она подходила к ним, и они сбивались в кучу, перешептывались и давились от хохота.

Ждали — вот-вот войдет Лухава для доклада о борьбе с разрухой и топливным кризисом. Но вошел не Лухава, а лохматый Савчук, босой, с опухшим лицом.

Грузный и рыхлый, он сел на пол, у двери, выщелкнув мосластые колени в ссадинах и кровоподтеках. В отравленных глазах его мутно горела тоска.

Даша подошла к окну и распахнула обе рамы — тяжелые, как двери.

...Разбросанные по своим домашним норам, забывшие завод — грохот, гарь, пыль и запах машин, — покрытые другой пылью — пылью горных ветров, — люди завода, цехового артельного труда, с мешками на спинах, шайками всползали на горы. По загорным и степным дорогам и тропам шли в хутора и станицы, как в эпоху натурального обмена, гонимые голодом и первобытной алчбой. Люди заводского труда, который будил по утрам не криком петухов, а металлическим ревом гудка, узнали за эти годы сладость свиных и козьих закут и радость теплых куриных гнезд. И люди машин научились кричать вместе со свиньями и курами из-за свиней, из-за кур, из-за коз, из-за нарпитской

шрапнели, которую слопал по недогляду чужой поросенок. Потухло электричество на заводе и в казармах, задохнулись от пыли гудки — тишина и беструдье заклохтало, захрюкало деревенской идиллией. И угрюмо замкнулись в домашних клетях рачительный муж и скопидомная баба.

И вот здесь, в клубе «Коминтерн», в ячейке, коммунисты продирали глаза. От невымытых рук и одевки пахло куриным пометом и нашатырным запахом свиных и козьих закут. Дружно сидели, плечом к плечу, и рев трубачей и недомашние слова вызывали из прошлого иную, забытую жизнь. И Глеб вот тоже из прошлого (будто был здесь только вчера), и от него жирно запахло маслом, раскаленным железом и серной гарью остывающих шлаков. И опять —

...Завод... Производство... Бремсберги... Цехи...

Вошел Сергей Ивагин и склонился к плечу Чумалова. Глеб встал и строго оглядел партийцев.

— Товарищи, вот вместо Лухавы — товарищ Ивагин. Товарищ Лухава — у грузчиков: взбунтовались как будто из-за пайков... Открываем собрание... Да замолчите, вы, идолы!.. Ну, и еще скажу вам: слышал я — и о том же отбивает радио, — заграница, Антанта, желает с нами торговать. Пялит глаза на концессии и снаряжает корабли. Думаю, что обижаться на это мы шибко не будем — пожалуйста! Очень рады!.. Мы тоже кое-чему научились: теперь нас не надуешь...

Громада встал и заволновался.

— Товарищи, как мы есть рабочие знаменитого завода, но нагрузились и козами и так и дале... Стыдно и позорно, ребята! Предлагаю по такому разу все излишки ликвидировать на предмет нашего детского дома... и как мы есть рабочий класс...

Волнение, крики, взмахи рук...

— Ишь ты, прыткий какой!.. Этих самых свиней... Ты их наживал? Слезами и кровью облиты...

— А кто пёр с хуторов и станиц?

— Всех не покроешь... Громадина жинка сама в хуторах истрепала подол...

— Ликвизировать!.. К черту!.. Постановляй, Чумалов, ячейкой.

— Эй же, братва!.. Жрать ведь нечего, эй!.. Зачем чертей булгачите? Братва!..

Глеб позвонил и скомандовал «смирно».

— А ну замолчи, товарищи! Пока еще на свиней и на коз нет ущемления. Если охота, разводите с ними антимонию. Придет час — мы их пролетарским манером живо кувырнем, как буржуазию... А теперь — пожалуйста... можете хоть любовь с ними крутить... Предлагаю избрать президиум.

Не успел он сказать последнего слова, как женщины замахали руками и, перебивая друг друга, закричали:

— Дашу!.. Дашу Чумалову!..

Мужчины тоже настойчиво требовали:

— Громаду!.. Чумалова!.. Савчука!..

Громада подбежал к столу и нетерпеливо поднял обе руки.

— Товарищи!.. Насчет баб я ничего не страдаю... Ну, только бабы как есть равноправные существа и так и дале... а молодые — чтоб в поводырки... Пущай поучатся немного... Тут надо бороду в председатели.

— А где же у Чумалова борода?.. Да у тебя-то волос кот нализал...

А бабы уже злились.

— Дашу Чумалову!.. Дашу!..

Глеб опять помахал звонком.

— Голосую, товарищи. Даша Чумалова — первая в записи. Хотя она и жинка моя, но против женской команды не возражаю. Кто «за»?

И не успел назвать имени Даши, бабы опять загорланили:

— Дашу... Почему не даете ходу бабам, злыдни?

Глеб первый поднял руку, с ним вместе женщины и Сергей. Рабочие один за другим, с неохотой, сопя и кашляя, подняли руки.

Савчук из угла рявкнул, не поднимая руки:

— Гони отсюда баб по домам! Терпеть не могу!..

Глеб отмахнулся звонком и опять оборвал крики:

— Голосую Громаду... Есть! Лошака голосую... Тут и мое имя в записи... Занимайте места, товарищи!

В президиум выбрали Дашу, Громаду и Глеба. Собрание повела Даша.

— Товарищи, требую тишины. Давай повестку дня, товарищ Чумалов. Слово для доклада товарищу Ивагину. Не больше полчаса, товарищ.

Сергей изумленно рассмеялся и развел руками.

— Слишком суровый регламент, товарищ Чумалова.

— А вы не давайте воли словам. Говорите только о деле.

— Да она задается на три копейки... Я же говорил: не надо было бабу.

— Товарищ Савчук, замолчи! Соблюдай порядок! Ты не на улице, а на партийном собрании...

Даша — права. Надо немного: что можно сказать в докладе рабочему? Он лучше знает, что ему надо в эту минуту. И холодные книжные фразы — чужды, непонятны, далеки и бескровны, как и он, Сергей, для них непонятен и чужд и душой и словами.

— ...Товарищи!.. Чудовищная разруха... Великие испытания рабочего класса... Небывалый кризис... Ликвидация военных фронтов... Все силы наши на хозяйственный фронт... Десятый съезд партии намечает новый поворот в экономической политике... Только пролетариат — единственная сила... Возрождение производства республики... Концессии и мировые рынки... Стоять на страже пролетарской страны... Удесятерить свои силы, и железными рядами... Мы прорвали блокаду... Рабочий класс и коммунистическая партия... Доставка топлива... Механическая сила завода...

Сергей говорил долго, старался подбирать простые слова, а они, как нарочно, не давались легко. Он чувствовал, что его речь не доходит до этих хмурых людей: им скучно, тягостно, и они ждут не дождутся, когда он замолкнет. Даша уже раза два строго ловила глазами его глаза и недовольно сдвигала брови. А когда он, потный и изнуренный, кончил и сел на табуретку, все освобожденно вздохнули.

— Товарищи, нет вопросов к докладчику? Ясно.

Все в ожидании глядели на Глеба. Он встал, откашлялся и некоторое время вглядывался в лица рабочих.

Многие из этих лиц были тупо-покорны и равнодушны, а многие взволнованы ожиданием и надеждой. Как будто все эти люди сидели безучастно, — сидели только потому, чтобы отвести положенный час партийной повинности. Но Глеб хорошо их знал: они не поверят ни одному красивому слову, ни одному красноречивому обещанию. Так они отнеслись сейчас к книжному докладу Сергея Ивагина: всё пропустили мимо ушей А стоит сказать только два слова: «Друзья, завтра — по цехам!» — и каждый из них бурно вскочит с места и крикнет, задыхаясь: «Товарищ Чумалов, давно этого ждем... хоть сейчас веди... Разруха заела...»

И когда Глеб перевел глаза на Дашу и встретил ее лицо, простое и милое, как прежде, с понуждающей улыбкой в глазах, он почувствовал, что виноват в чем-то перед нею, что он недостоин ее. И в то же время не мог потушить в себе вражды к ее самоуверенной уравновешенности и новой, неслыханной раньше, зычности в голосе. Ему казалось это игрой и фальшью. Как-то безотчетно он положил руку на ее плечо и погладил его. Ее мягкое сопротивление ответило ему, что ей приятна ласковая тяжесть его руки, что она простила ему грубые его выходки. И все его обиды и ссоры с нею показались ему такими ничтожными и унизительными, что от стыда он на мгновенье закрыл глаза. Если бы знали эти люди, какой он был наедине с нею ревнивый дурак!.. Она верила в него, ждала от него значительных и решающих слов и ни на миг не сомневалась, что только он, ее Глеб, зажжет сердца товарищей, которые стосковались по труду.

— Товарищи, не будем много разговаривать. Мы и без того чересчур болтали от безделья за эти годы. Надо кончать, товарищи. Мы забыли свои революционные обязанности. Завод стал не завод, а скотный двор. Государственное достояние мы грабим для своих личных потребностей. Разве это, товарищи, дело? Человек, друзья, о двух концах: одним можно лезть к черту в зубы, а другим бить черта по зубам. Наши руки —

не для коз и свиней: наши руки другого устройства. Мы, большевики, особой породы. Какая душа — такие руки, такая работа мозгам. Как товарищ Ивагин сказал: новая экономическая политика... Что такое новая экономическая политика? Это — бей черта по зубам хозяйственным строительством. Мы — производители цемента. А цемент — это крепкая связь. Цемент — это мы, товарищи, рабочий класс. Это надо хорошо знать и чувствовать... Довольно бездельничать и заниматься козьими интересами. Пора перейти к нашему прямому делу — к производству цемента для строительства социализма.

Последние слова Глеба взволновали рабочих. Многие вскочили с места и стали требовать слова. Глеб поднял руку, требуя внимания. Даша зазвонила колокольчиком.

— Так вот, товарищи! Перехожу к делу. Начну с самого важного — с топлива. Топлива нет ни у завода, ни у рабочих. Для завода горючее мы достанем через госаппарат. А для города? Для рабочих? Для детей — для детских учреждений? Нам нечего надеяться на дровяную повинность: дров нам мужик не повезет. Будем сами выходить из положения. Только мы разрешим этот вопрос. Надо соорудить новый бремсберг на перевал. Что это значит? Это значит, что мы пускаем первый дизель, пускаем динамо, освещаем жилища рабочих... По нарядам мы имеем запасы нефти и бензина. Бремсберг — это наш первый удар. Через совпроф организуем воскресники. Для технического руководства мобилизуем инженеров. Пускай ваши козы и поросята гуляют, пока суд да дело. А потом... а потом через год мы же будем хохотать над собою, ребята...

Рабочие дружно зашлепали в ладоши.

Савчук пробирался вперед и, тяжело дыша, ударил кулаком по столу.

— Требую сейчас же пускать бондарню...

Даша встала и строго осадила его:

— Товарищ Савчук, не буянить! Скоро ты, наконец, научишься владеть собой?

— Я требую... Тут — зажигальщики и свинопасы...

— Товарищ Савчук, в последний раз...

— Глеб, товарищ, дай доброго туза своей жинке... она же не моя... А вы, черти... козьи пастухи!.. Променяли души на зажигалки. Вот тут Глеб подчеркнул насчет инженеров... Какой же тебе друг инженер Клейст, который тебя предал на смерть?..

— Правильно! Спец... Крысой зашился в норе... Бродит украдкой, как вор... Чего смотрит Чека?..

...Инженер Клейст. Этот человек держал в руках жизнь Глеба и бросил ее палачам. Инженер Клейст... Разве жизнь Глеба не стоит жизни инженера Клейста?

Лошак молча поднял руку.

— Товарищу Лошаку — слово.

Все повернули головы к горбатому слесарю.

— Как говорится, товарищи: ставь человека на постав, как дело на попа. Инженер Клейст — не шанс, а мокрица — не наковальня. Так хочу высказать. Пущай Клейст припаял Чумалова в лоск. Ну, а какой рукой коснулся он Даши? Ведь кто ее, Дашу, изволок из смерти?.. Он, Клейст... Подумать надо. А насчет бремсберга... предложение Чумалова одобряю... Только я к тому, как бы нам зря дров не нарубить...

Даша забеспокоилась и перебила Лошака:

— Товарищ Лошак, обо мне прений нет... Ты держи разговор по докладу... При чем тут я и Клейст? Дело идет о бремсберге и топливе...

И блеснула зубами.

— Сам же говоришь, что надо дело ставить на попа.

Лошак махнул рукой и сел на место.

Опять — Даша... Опять какая-то тайна, которая тревожит душу...

Глеб думал и боролся с собою.

— Товарищи, дайте мне самому посчитаться с инженером с глазу на глаз. А сейчас оставим этот вопрос... Мы уклонились от дела...

Прения пошли быстро и гладко вплоть до резолюции. Решили: немедленно начать постройку бремсберга на перевал и с завтрашнего дня идти по цехам — убирать мусор, производить мелкий ремонт, привести все в порядок.

Даша поднесла бумажку к глазам и потом оглядела рабочих.

— Товарищи, отнесемся к вопросу строго, внимательно. Нам необходимо командировать членов ячейки на работы в деревню.

Эти слова встречены были тугим молчанием. Все как будто были оглушены. Потом запыхтели и озлобленно закричали одновременно:

— Это — убой, а не командировка... Мы не скоты — и не пойдем на бойню...

— Что это такое? Под шумок хотите нас бандитам — на мясо?..

— Товарищи, вы же — коммунисты, а не шкурники! Я — женщина, а говорю вам: никогда, ни на час, не дрожала за свою судьбу. Это вам хорошо известно.

— Ну, и поезжай сама, ежели охота...

Глеб вышел из-за стола на середину комнаты и оглядел всех молча, с угрозой в глазах. Потом сказал угрюмо и небрежно:

— Выделяйте меня, товарищи коммунисты. Командируйте и меня и мою жену. Она бросила вам слово — шкурники... Я тоже говорю вам: вы — шкурники, а не пролетарии... Я ходил не в такие мышиные гнезда. Как вам известно, я три года был в боях.

— Был в боях, а не убитый. Таких было много, в боях. Кто не видал крови за эти годы?

— Так. Почему не убит? Потому, что я со смертью братался, как равный. А если вы видали кровь, так вы должны здорово знать, какие зубы у смерти. Эти зубы — похлеще дробилки. Могу показать... я — не из стыдливых...

Он сорвал с себя гимнастерку и нижнюю рубаху и бросил на пол. Тело его от шеи до штанов шершавилось гусиной кожей. На груди золотилась густая шерсть. И оттого, что голое тело вздрагивало, а под кожей шевелились мускулы, он стал вдруг теплым и близким.

— Кому угодно, могут подойти и пощупать...

На груди, на левой руке, ниже плеча, на боку багровыми и бледными узлами рубцевались шрамы.

— Вам нужно, чтоб я спустил и штаны? Пожалуйста. Ах, не надо? Там тоже есть такие ордена. Вы хо-

тите, чтоб за вас шли на работу другие, а вы будете спать в козьих норах?.. Хорошо! Я иду!

Никто не подошел к Глебу. Он видел влагой налитые глаза, видел, как люди сразу отсырели и замолкли. Они смотрели на его голое тело и сейчас же растерянно отводили глаза в сторону.

— Товарищи!.. Это же стыд и позор!.. До каких же разов, товарищи, эта наша разруха души?.. Товарищи!..

Громада метался за столом и бури своей не мог выразить словами.

Один из бородатых рабочих встал со скамьи и с размаху ударил себя в грудь. У него тряслась голова.

— Записывай!.. Я иду!.. Я не какая-нибудь сволочь поганая... Ну, три козы там, свинья с поросятами... тер плечи мешками... Что говорить: зарезались мы, ребята...

За ним потянулось еще несколько тяжелых рук. А Даша (она смотрела на Глеба растроганными глазами) взмахнула рукою:

— Товарищи, разве наша ячейка хуже других? Нет, товарищи!.. У нас рабочие хорошие... и коммунисты хорошие...

И первая захлопала в ладоши.

2

Август Бебель и Мотя Савчук

Черно-фиолетовые дали за заводом — море и городское предместье — были мглисты и пустынны в призрачных искрах и облачных тенях. От маяка к заводу трепетала в бухте огненная веревка. Капали звезды очень далеко над морем, и небо над дальними изломанными хребтами было в павлиньих перьях.

В горах, за городом, вспыхивали, кружились, гасли и опять зажигались загадочные огни.

Даша дотронулась до руки Глеба.

— Видишь? Огни-то?.. Это — бело-зеленые сигнализируют. Еще много борьбы будет с ними, много будет пролито нашей крови...

...Какую жизнь прожила без него Даша? Какая сила сделала ее душу отдельной? Раздавила эта сила прежнюю Дашу, и стала Даша больше Даши, и силу эту Глеб хотя и постигал умом, но сердцем никак не мог с ней примириться.

— Дашок, что это у тебя было с инженером Клейстом? О чем это сболтнул Лошак?.. В чем дело? То Клейст предает смерти, то спасает от смерти... Расскажи-ка, кстати...

Даша помолчала, потом нехотя ответила:

— Это он о контрразведке...

— Что такое?!

Он остановился и схватил ее за руку.

Даша усмехнулась, но Глеб не увидел этой усмешки.

— Ну вот... была в контрразведке, а Мотя хлопотала у Клейста... Он взял меня на поруки... Я была по зеленому делу...

— Подожди, подожди... Дай сообразить... Ведь ты же на этом деле могла сгибнуть, как муха... Ну, дальше?

— Это — долгий разговор... Придет час, расскажу как следует. А теперь трудно мне... Расстраиваться не хочу...

Она быстро зашагала по дорожке и оставила его позади. И в этих торопливых движениях почуял Глеб Дашину тревогу. Вспомнил: так же держала себя Даша по дороге к детскому дому.

— Ой, Дашок, что-то не так!.. Что-то таится в тебе другое... Может быть, кто-то стоит у нас на дороге?.. Прямо скажи, откровенно... Уж очень ты нервничаешь, когда говорят о тебе...

— Если ты, Глеб, мне не веришь, как же я могу относиться к тебе? Разве ты можешь меня понять?

Он молча шел за нею в поющей вечерней тишине, с болью и смутой в душе.

А когда пришли домой, она сейчас же села к столу и вынула из газетного свертка книжки. Выбрала одну, подвинула лампу и оперлась головою на руки.

— Что это ты читаешь, Дашок?

Он хотел спросить ее мягко и ласково, но сам почувствовал, что вышло фальшиво и глупо.

Не отрываясь от книжки, она сказала сквозь зубы:

— Августа Бебеля... «Женщина и социализм».

— А это что за книги?

— А это — товарища Ленина «Государство и революция». Хочешь — возьми.

В открытое окно влетала ночная мошкара, вилась около огня, зажаривалась на стекле и сеялась на стол, как пшено. Свистела пичуга в горных кустарниках — так-нет? так-нет? В окне Савчуков, тоже открытом, зазывно туманился огонек.

Глеб встал и вышел из комнаты.

Савчуки уже ложились спать. На столе были остатки еды. Мотя без кофты, в одном лифчике, копошилась у плиты. Савчук, босой, кудлатый, лежал на кровати.

Мотя стыдливо тянула на грудь лифчик и рубашку.

— Ты — свой человек, Глеб... Я — по-ночному...

— Не стыдись, Мотя: я и без этого знаю, что ты храбрая женщина. Ты лучше скажи, как укрощаешь Савчука.

— А что ж — Савчук? Он у меня сейчас — смирный.

— Да не ври ты. А кому я вчера ремонтировал кости? Забыла?

Мотя сверкнула глазами.

— Ах ты, кудлатая пакля!.. Ну-ка, вспомни, кого я хлестала по морде?..

Глеб засмеялся — веселые ребята эти Савчуки!

— Ну как, Савчук, товарищ? Тебе строго воспрещается воевать с Мотей: готовь руки на другую работу...

Мотя ахнула от радости и подбежала к Глебу.

— Да, да, Глеб... милый!.. Ведь без работы жизнь — только несчастье и слезы. Была работа — была и семья... И с детьми я будто росла из земли, как дерево. А вот теперь меня будто выкорчевали и вокруг меня только навоз и камни.

И со слезами на глазах она опять отошла к столу.

А Савчук угрожающе сел на край кровати, опираясь об пол мозольными ступнями с изуродованными пальцами.

— Ну, Глеб!.. Ежели эти руки толкнутся в пустую

дыру — не быть тебе живому! Завтра пойду в бондарню — узнаю, как будут петь мои пилы... Твоя жинка — чертова баба: она крутила ячейку, как веревку.

Мотя повернулась к Глебу и пытливо поглядела ему в лицо. Она хотела что-то сказать ему, но не решилась и стала убирать со стола.

— Ну что ж... Говори, Мотя... — усмехнулся Глеб. — Чего же ты трусишь?..

— Уж тебя-то я не боюсь, Глеб... не думай, пожалуйста!.. Только зачем же Даша бросила Нюрку, как щенка, на чужие руки? Баба без детей — дикая баба. Она звала меня в свой гурт, да ведь я же не дура.

Савчук ударил кулаком по коленке.

— Ну и баба ж твоя жинка!.. Прямо, черт ее дери, из ячейки крутила веревку, го-го!..

А Глеб жадно ловил слова Моти.

— Ну, ну, Мотя!.. Ты мне о Даше расскажи... как она тут геройствовала без меня...

Поняла ли его Мотя, знала ли она, как они жили в эти дни, — она поглядывала на него с лукавой пытливостью, точно дразнила его:

— А что, Глеб Иваныч?.. Обжегся?..

— Это верно: Даша стала неузнаваемой. Но, понимаешь... откровенничать со мной не желает... гордая!..

Мотя насмешливо прищурилась и с упреком покачала головой.

— Ты не закидывай удочки, Глеб Иваныч. Я вижу твои подвохи... Какой хитрый, подумаешь!.. Ты бросил ее одну. А она баба не робкая — выдержала. Другая бы костей не собрала. Попробуй взять ее теперь голыми руками! Признайся: поцапал ее немножко?.. да?.. Ну а она и отшила... Ведь правда?.. А я вот тебе ничего не скажу... нарочно... Так и знай...

Глеб смутился и засмеялся, чтобы скрыть свое смущение...

— Ну и тонкая же ты, Мотя!.. Тебя не проведешь. Ты права: выработался у нее свой характер... Однако я не пойму, почему она молчит... Хоть бы похвалилась... А может быть, что-нибудь другое? Может быть,

поскользнулась по бабьему делу? Пускай бы сказала: ведь я же не злодей.

И он опять увидел, что Мотя и тут поняла его затаенную хитрость.

— Ой, Глеб Иваныч! И не стыдно тебе притворяться?.. Иди домой и ложись спать. Не точи зря язык... Очень я люблю твою Дашу, Глеб Иваныч! Только зачем она отдала Нюрку вариться в приютской каше? Ведь Нюрка же была у меня... Ну пускай бы у меня и осталась. Как можно жить бабе без детей и без мужа?.. Ну, да не ее вина-то... А ты и о себе подумай... За тобой тоже долгов много, Глеб Иваныч...

А в сенцах, провожая Глеба, Мотя сжала его руку и стыдливо засмеялась.

— Ой, Глеб!.. Милый!.. Ты — свой человек... Ты же не знаешь, какая мне радость... ты же не знаешь!.. Уже есть, Глеб!.. Есть!.. Опять буду матерью, как тогда, Глеб!.. Опять!..

И потом, открывая дверь, вздохнула.

— Какая лихая беда, Глеб!.. Не жить вам с Дашей по-прежнему. Нет! Теперь уж ее не привяжешь... Так вам, барбосам, и надо: не бросайте своих баб на собачью судьбу...

Глеб застал Дашу в той же позе — за книгой: голова — на руках, и строгое, заботливое лицо.

Она быстро повернулась к нему и положила локоть на книгу.

— Ну, что ты узнал у товарищей Савчуков?

Глеб ласково обнял ее и сказал не так, как говорил обычно:

— Мне худо, Даша... Со мной ты — как чужая... и будто нож держишь за пазухой...

Она промолчала, но прижалась к нему и стала опять слабой и милой бабой. И почудилось, что пахнуло от нее прежним молочным запахом.

— Ну если что было — так это же не суть... В лихой час это может случиться со всеми...

Она оторвалась от него и вздохнула. Потом взглянула ему в глаза, как Мотя, и сказала тихонько, с болью, ломая голос:

— Да... было... было, Глеб...

Будто огромная рука отбросила Глеба от Даши, и рука эта сдавила ему горло. Сердце замерло и упало. Бледный, он онемел на минуту. Потом хрипло пробормотал:

— Так!.. Давно бы с этого начала... значит, таскалась... с кобелями?..

Она вскочила, схватилась за спинку стула и закинула голову.

— Опомнись, Глеб!.. Что это такое?..

И замолкла с крепко сдвинутыми бровями.

Он дышал тяжело и смотрел на нее в бешенстве человека, который поражен неожиданным ударом. Он еще не понимал, что произошло с ним, но чувствовал, что случилось что-то страшное и непоправимое и что бунт его против Даши смял его самого. Он растерянно отступил назад, и у него затряслись губы.

Даша помолчала, оглядывая его с ног до головы, потом сказала басовито, с сухой хрипотцой:

— Я тебя испытала, Глеб. Вот видишь? Ты еще не можешь меня слушать, как надо... Так вот: я сказала, чтоб вывести тебя на чистую воду. Я хорошо знаю, чем ты дышишь... Ты — хороший вояка, а в жизни ты — плохой коммунист...

V. ПОДПОЛЬНЫЙ ЭМИГРАНТ

1

Спрятанная комната

Окно в массивных дубовых рамах не открывалось, и пыль с каменоломен через щели и форточку бархатно ложилась на подоконник в междурамье, а по утрам, когда горы горели сиреневым блеском и брызги солнца скользили сбоку, через переплеты рам, между стеклами летали радужные кристаллы. И технорук, инженер Клейст, стоял подолгу пред окном и смотрел на эти летающие миры, на излучение минувших геологических эпох, осязая сгущенную тишину комнаты.

И оттого, что рабочая комната Клейста находилась в глубине коридора, где день молчал вечерней дремотой, а ночь — черными пустотами и лохматыми тенями, эта комната казалась ему отрадно недоступной, далекой, как та вон каменоломня в ущелье, заросшая шиповником и держи-деревом.

Когда завод разрушен, а горные разработки пустынны и бремсберги разбиты и проржавлены, жизнь разлагается на составные элементы — на хаос и покой. Почему же не быть техноруком на мертвом заводе, когда это ни к чему не обязывает?..

Главное, не открывать дубовых рам в комнате и понять огромный смысл великой строительной работы пауков между стеклами. С некоторого рубежа между прошлым и настоящим Клейст вдруг увидел глубокую красоту архитектурных нагромождений паутин в воздушных пространствах междурамья. Он подолгу стоял у окна, сутулый, длинноногий, с серебристым ершиком, и смотрел на жемчужную ткань тенет — на множество ажурных плоскостей в разных наклонениях и пересечениях, на бесчисленные радиусы лестниц, переплетов и сцеплений, насыщенных силой огромного напряжения.

В его рабочую комнату никто не входил: кому нужен технорук, когда завод могильно пуст и цемент в сырых лабазах давно превратился в чугунно-твердые болванки? Кому он нужен, когда порваны стальные канаты, а вагонетки, сброшенные под откосы, засыпаны щебнем и заросли бурьяном? Кому нужен технорук, когда квалифицированные рабочие бродят бездельниками по шоссе, по тропинкам территории завода, по пустым корпусам и дворам — тащат клепки и обручи для топлива, медные части машин для зажигалок, ремни от трансмиссий?..

Там, внизу, в полуподвальном этаже, в полутьме нежилых конур, ежедневно грохотал в топоте и криках завком, и Клейсту казалось, что это — таверна, притон бунтовщиков и разбойников. И из своего окна, сквозь пыльную муть стекол, он видел рабочих, снующих по бетонным ступеням спуска, с угрюмыми лицами, истощенных голодом и страданиями. Они заняты

были своим — страшной и непонятной игрой, — и им не было никакого дела до него. Все слагалось в его пользу силою его мудрой осторожности и умелой постановки простой математической задачи. Из своего обособленного угла он смотрел на них с насмешливым презрением и тревожной ненавистью. Все эти изнуренные голодом и бездельем существа принесли разрушение и великую трагедию — революцию. Это они раздавили его будущее, а мир сожгли, как обрывок пакли, и только частицы прошлого забыли в этой спрятанной комнате.

Бетонная площадка и лестница спуска перед окном дымились и плавились в солнечном блеске. Чудилось, что они горят белым накалом и вот-вот взорвутся пламенем. Трещали и взвизгивали раковины и выщербленный цемент на площадке под ботами рабочих. Они муравьиным хороводом сновали из дверей — в двери, из завкома — в завком.

Почему нужен теперь завком, когда раньше его совсем не было, а завод потрясал целый мир? Какие могут быть дела у рабочих, обреченных на безделье среди обломков минувшего, величаво организованного труда? Зачем эта заботливая торопливость, если завтрашний день — такой же, как вчера, и за ним — нить таких же бестолковых дней, как в зеркалах повторного отражения?

Курьер Якоб заходил в комнату ровно в час с маленьким латунным подносом. Он появлялся молча и строго, чуть-чуть сутулясь. Седые усы и щетина на красном его черепе — странно прозрачны, как стекло. Он ставил на стол стакан с чаем, крошечные таблетки сахарина в бумажке. Потом отступал назад на два шага, наклонялся, щепотью бережно подбирал соринки с пола и заботливо клал в проволочную корзину под столом. Стены комнаты были опрятно белы, и архитектурные чертежи так же строго чеканились в дубовых рамах, как и в прошлые дни.

— Уже час, Якоб?

— Ровно час, Герман Германович.

— Очень хорошо. Можешь идти. Ко мне никого не впускать.

— Слушаю-с!

— С окна только стирать пыль, Якоб... но рам не открывать.

— Слушаю-с!

Клейст стоял у окна, спиною к Якобу. Серебряный ершик сердито хрусталился, и старый пиджак оттопыривался хвостиком от низу до лопаток.

Где-то очень далеко за коридором пустые комнаты конторы пели одинокими голосами и цыплятами цыкали счеты. Там были уже новые люди, присланные сюда совнархозом. Кто они и что они там делают — инженер Клейст не знал и не хотел знать. У него оставалась забытая всеми рабочая комната, охраняемая Якобом, где есть только одно прошлое. А настоящее мчалось по шоссе автомобилями, телегами и людьми, толкалось артелями рабочих, которые сорвались с цепи и научились бестолково кричать и ругаться (раньше это строжайше воспрещалось дирекцией).

Он смотрел на крутой горный сброс, иссеченный каменными пластами, в кудрях можжевельника. Высоко, на ребре горы массивными глыбами, в арках и башнях, вздымался замок из дикого камня.

— Что там теперь у них, Якоб?

— Рабочий клуб и комячейка, Герман Германович.

— Они принесли с собой новый, непонятный язык. Пожалуйста, не впускать в эту комнату никого и ни в коем случае не открывать окна. Можешь идти.

Он как будто впервые видел дом директора (комячейка!), любовался его колоссальной мощностью и вздыбленным величием. Этот дом строил он, Клейст.

Налево, за горой, в пятнах зелени и камней, прозрачно взлетали ввысь железобетонные трубы завода, канатная дорога, а под трубами за канатной дорогой — купола и аркады заводских корпусов. Их тоже строил он, инженер Клейст. Он не мог эмигрировать за границу, не разрушив своих сооружений. Его создания стояли на его пути неприступнее гор, неотвратимее времени: он был их пленником.

Эта комната с глянцевым полом дышала ароматом прежней деловой лаборатории: чертежи висели на

стенах, чертежи лежали на массивном дубовом бюро, сохранялась благородная важность резной тяжелой мебели. Здесь остановилось время, и минувшая жизнь сгустилась до телесной осязаемости.

2

Враги

Была ли допущена ошибка в логических построениях Клейста, или с некоторого момента жизнь перестала подчиняться законам человеческого разума, но замкнутая орбита обособленного его мира непоправимо лопнула и рассыпалась, как проржавленная проволока.

Еще час назад, когда Якоб своим обычным приходом утверждал неизменность обычного течения времени, все представление его о жизни четко выражалось строгой графической схемой — кру́гом и касательной. В минуты блаженного покоя, безопасно скрытый за множеством стен, он сидел за письменным столом над старыми проектами заводских построек и, охраняя традиционную чинность своего рабочего кабинета, бессознательно рисовал карандашом в английском блокноте один и тот же чертеж: круг и касательную — аксиому, верную при всех обстоятельствах.

И вот сразу все разлетелось вдребезги. Аксиома вдруг оказалась нелепостью: касательная превратилась в камень, раздробивший раковину. И оттого, что это случилось просто и тихо, душу инженера Клейста смял смертельный ужас.

Он ходил в уборную и немного задержался там: от недоброкачественной пищи у него часто болел кишечник. И когда возвращался, издали увидел, что дверь в его комнату открыта. Этого никогда не допускал ни он, ни Якоб.

Рабочие стояли на площадке, смотрели на каменоломни и на его окно. Это было сейчас же после ухода Якоба. Тогда он почувствовал внутри легкий электрический разряд. Была тревога, но она была мгновенна —

и забывалась. Теперь — открытая настежь дверь и — тоже электрический разряд и тошнотное беспокойство.

Сохраняя холодную важность и привычную уравновешенность, Клейст ровным шагом вошел в комнату. Он остановился у порога и не сразу понял, что случилось. Окно было открыто, и дымилась пыль над столом и подоконником. В воздушном провале окна огромно поднимались склоны гор в пятнах весенней зелени и каменных отвалов. Очень далеко, на верхней террасе разработок, четко выступал маленький домик с двумя окнами. Табачный дым и обрывки паутин прозрачно сплетались в общем полете.

У окна стоял с трубкой во рту бритый человек в гимнастерке и синих обмотках. У него были крепкие квадратные челюсти, а щеки проваливались черными ямками.

— А, сколько лет!.. — с веселой развязностью приветствовал он Клейста. — Мое почтение!.. Вы так надежно здесь забаррикадировались, что к вам трудно пробраться...

И шлемом сбивал с косяков и рам паутину и бил ползающих очумелых пауков.

— Ну, и нора же у вас, товарищ технорук, — тупик какой-то! И все — под защитный цвет. Придумано неплохо...

Разбитым шагом Клейст прошел к столу. Был час, когда этот человек, истерзанный побоями, обречен был на смерть и кровавой маской гримасничал ему в лицо. А теперь он неожиданно здесь и так странно и жутко спокоен.

— Да... я совсем не открываю окна...

— Правильно, товарищ технорук: сквозняк у нас ядовитый... Большевики к чертовой матери искромсали все на преисподний манер. Окаянные люди!.. Есть от чего прийти в панику... Я понимаю вас!

— Почему же о вас не предупредил меня Якоб?

— Вашего Якоба мы отправим на резку дров в бондарный цех: холуи — не к чести нашей жизни. Вы меня должны помнить, товарищ технорук...

— Да, я вас помню... Пусть так, но что же из этого следует?

— Да как сказать... брожу вот по заводу, по всем углам и закоулкам. Обследую былое величие. И вижу только одно — развалины и мерзость запустения. Бремсберги разбиты, провода порваны, всюду — разгром... А спецруки крысами забились в норы. Почему везде — паутина? И вы и завод — в паутине? Вот вопрос.

— Предположим, что я уже поставил и разрешил этот вопрос. Что же вам от меня угодно?

— А вот... наткнулся на вашу баррикаду... Дай, думаю, ковырну эту кубышку... Чертова привычка, товарищ технорук...

— Я никогда не веду праздных разговоров. И то, что вы говорите, я не понимаю и не хочу понимать. Будьте любезны оставить меня в покое.

Глеб шагнул к столу и ухмыльнулся. Потом вынул изо рта трубку и пристально поглядел на Клейста. Отразились ли пауки в его глазах, или жуткие призраки задымились около Глеба, — лицо Клейста покрылось густым пыльным налетом.

— Гражданин Клейст, помните тот прекрасный вечер, когда вы меня отличили незабываемо? Здорово тогда отшлифовали мои кости, да и кишки старательно промыли кровью. Ваша баня была не легкого пару... Ну, такая баня, если черти не запарят, — впрок... Так вот... пришел к вам в гости — лясы поточить о старине... Люблю повстречаться со старыми друзьями, товарищ технорук!

Он ткнул трубку в угол рта и засмеялся.

— Разрешите повеселить вас загадкой, товарищ технорук. Не бойтесь: загадка плевая, но очень забавная. Было четыре дружка по весне. Накрыли окаянные белые этих дураков и приволокли в эту самую комнату. А хари у них — не хари, а рваные калоши. Так вот: зачем сюда приволокли рваные калоши, и как четыре мертвых дурака обратились одним живым? Ну? Разве не смешно? Что же вы так угрюмы?

И опять засмеялся веселым забавником.

— Давненько не видались мы с вами, товарищ технорук. Дай, думаю, проведаю старого друга. А встретили вы меня без всякого пыла. Как меняются

люди! Ходили вы раньше героем, а теперь пали духом. Нехорошо это, товарищ технорук. Надо встряхнуться!

За окном непривычно громко и близко рокотали артельные голоса рабочих. Глеб пристально, с ухмылкой, смотрел на Клейста, точно ждал его голоса. Но Клейст был нем и неподвижен, как труп.

— Извините за шутку, товарищ технорук. Не бойтесь, хуже бывает. Уж такой у меня веселый характер... Что со мной сделаешь! До свиданья, товарищ технорук!..

И, повернувшись на каблуках, он стремительно вышел из комнаты. Изнуренный этой встречей, Клейст долго сидел с застывшим взглядом потрясенного человека. Опять вошел Якоб с почтительной важностью и остановился посреди комнаты. Он был растерян, у него дергалась голова. Клейст перевел на него лихорадочные глаза и спросил очень тихо и строго:

— Ну, Якоб? Не скажешь ли, как это случилось?

— Моей тут нет вины, Герман Германович... Для них — нет запрета и запора... нигде и ни в чем... Их сила, Герман Германович, и их закон...

Присутствие Якоба было приятно. В его холодной преданности было что-то успокоительное.

— Это и есть комячейка, Якоб?

— Чумалов... слесарь... Примчался с войны, а теперь — верховодом. Разве теперь что против них устоит? С ног сшибут, Герман Германович...

— Не устоял и ты, Якоб?

— Не устоял, Герман Германович... Прискорбно, что и ваш режим он порушил...

Клейст помолчал, будто не слышал последних слов Якоба. Спокойно и деловито закурил папиросу.

— Ты помнишь, Якоб, — их было четверо. В ту ночь они были, кажется, расстреляны? Я хорошо знаю, что они погибли.

— Их тогда, Герман Германович, забили... затерзали до смерти...

— Да, Якоб, это ужасный случай, который не забудешь никогда. Здесь нужно отметить одно: я поступил тогда вполне сознательно, без всякого постороннего

воздействия. Боязнь? Страх? Месть? Этого не было. Есть только одна сила, это — время, а время — это события. Так же сознательно я делал все возможное, чтобы спасти жену этого рабочего.

Папироса между средним и указательным пальцами прыгала и не могла найти себе места.

— Побудь со мною, Якоб... Я чувствую себя немножко нездоровым.

— Домой бы вам, Герман Германович, вам нужен спокой...

— Куда домой, Якоб? За границу? А не думаешь ли ты, что, может быть, мы с тобою, старина, проводим последние часы?

— Ну, как это можно допустить, Герман Германович! Рабочие наши пускай горлодеры, но они — смирные и никогда не способны на убойную руку. Будьте спокойны, Герман Германович.

У Якоба тряслась голова.

И как только Якоб сказал эти слова, Клейст откинулся на спинку кресла, и опять лицо его покрылось бледной пылью.

— Ты помнишь, Якоб? Этого человека я отдал на смерть, но смерть рикошетом отражена в меня. Проводи меня, Якоб...

Он встал и с ужасом в глазах прошел к двери. Со старческой суетливостью Якоб взял шляпу и палку Клейста и засеменил вслед за ним в ночную тьму коридора.

3

Расплата

По тропе, раздробленной острыми пластами камней и засыпанной щебнем, через кусты кизила, туи и можжевельника Клейст поднялся на ребро горы. Внизу, во впадине, плыла из ущелья ночная тьма. Прозрачные заросли ясеней и грабов дымились в садах и на склоне горы, а среди них огромными черными факелами струились ввысь тополя.

Прямо под сползающей горой — массивы заводских

зданий. За ними, выше крыш и башен, мутно хрусталилось море.

Все было далеко и чуждо. Понятны и близки были только железобетонные гиганты, построенные им, инженером Клейстом. В это страшное время, когда грозно молчал потухший завод и коченел кладбищем машин, Клейст, опираясь на палку, одиноко бродил по рельсовым путям и лестницам, по верхним и нижним площадкам территории, с высокими эстакадами и угрюмыми башнями.

В этих необитаемых сооружениях он видел только одно: грандиозную смерть прошлого. Его графическая формула оказалась правильной — колесо событий неудержимо катилось по намеченному пути.

Странное столкновение с Глебом Чумаловым показало Клейсту, что путь этот совершен и его жизнь дошла до своего предела.

...Нужно было в свое время взорвать завод и погибнуть вместе с ним. Это был бы хороший ответный удар — по закону противодействия.

Если его встретят сейчас по дороге, он совершенно готов. В сущности, теперь нужно сделать самое незначительное — взять и прострелить ему голову.

Культуру какого мира несет с собою рабочий Чумалов? Воскресший из крови, он неотразим и бесстрашен, и в глазах его беспощадная сила.

Упрямое, жуткое лицо — упрямый, жуткий шлем.

Этот шлем утверждал грозное настоящее. И, кроме шлема и лица Глеба Чумалова, не было ничего.

Лучше, если его, Клейста, убьют здесь, среди построек, чем дома. Убить его — значит, разрушить вместе с ним и все эти храмы его жизни...

Над дальними горами, за городом, небо потухало остывающим металлом, и зубцы хребтов чернели крышами великого завода. Свистел где-то блок под усталыми руками. Испуганно вскрикивали паровозы на вокзале, и где-то в той же стороне с дрожащим звоном падало железо.

...Глеб стоял на площадке вышки, сплетенной из стальных полос. Когда-то отсюда подавался уголь в вагонетках в машинное отделение: вагонетки спуска-

лись по лифту в черную пропасть колодца и по рельсам отправлялись в тоннели к машинным корпусам. Теперь вышка была пуста, и за перилами, в центре, бездонной тьмою зияло хайло провала.

До боли в пальцах он сжимал железные прутья барьера и смотрел на бетонные корпуса, на трубы, улетающие к звездам, на струны канатов с застрявшими вагонетками.

...Завод жил когда-то своей большой жизнью. Это был настоящий город, заселенный десятками тысяч рабочих. По ночам окна цехов горели ослепительным огнем и всюду сияли бесчисленные луны и созвездия электрических фонарей. Там, в бухте, у пирсов, стояли океанские корабли и поглощали миллионы тонн свежего цемента. И с завода на пирсы и с пирсов на завод вереницами реяли в воздухе вагонетки.

Это было в прошлом. А теперь — тишина и безлюдье. Травой заросли бремсберги и дороги к заводу. Ржа покрыла коростой металл, и стены зданий изранены проломами и размывами горных потоков.

Клейст шел медленно, часто останавливался и смотрел на многоэтажные кубы строений, как на гробницы минувшей эпохи. Смотрел и думал. Шел, останавливался и думал.

Глеб перегнулся через перила и пристально вглядывался в размытую тень Клейста.

Вот человек, которого он с наслаждением мог бы задушить в любой час, и этот час был бы радостным часом в его жизни. Это он, Клейст, однажды в мстительной злобе отдал его на истязание и смерть офицерской ораве. И этого дня не забыть Глебу никогда, во веки веков...

...Рабочих завода выстроили на шоссе, перед зданием конторы (осталось их немного: одни скрылись, другие ушли с Красной Армией). Он и еще трое товарищей не успели бежать — застряли в уличных боях. Один из офицеров, с нагайкой, по бумажке называл фамилии. Нагайкой бил каждого поодиночке и передавал другим офицерам. И те били — нагайками и ручками револьверов. Смутно отметил Глеб надрывные крики рабочих — тех, что стояли в рядах. Сквозь кро-

вавые слезы на один момент увидел он, как они разбегались в разные стороны и за ними гнались офицеры. И когда приволокли их четверых, с кровавыми лицами, в рабочую комнату Клейста, он долго смотрел на них, бледный, с трясущейся челюстью. Офицеры спрашивали его о чем-то, а он, потрясенный и притворно-холодный, молчал. Смотрел пристально на Глеба и молчал, и в глазах его видел Глеб брезгливое сострадание. А потом сказал тихо, с хрипотой в горле:

— Да, это — он... И эти... Да, да... те самые...

— Больше ничего не скажете, господин Клейст?

— Дальнейший ход действий — не в моей воле, господа: это дело — уже вашего усмотрения.

Их бросили в пустой лабаз и били до глубокой ночи. В минуты сознания чувствовал Глеб удары — и легкие, далекие, не доходящие до боли, и огромные, потрясающие. Но и эти удары были безбольны и странно ненужны: точно он был замурован в бочке и кто-то бесцельно и озорно бухал ногами в ее стенки.

Когда он очнулся во мраке, долго не мог понять, где находится. Он запóлзал по лабазу, ища выхода, натыкался на дрябло-холодные тела и бессильно ложился около них. Ползая вдоль стен, он нашел пролом в стене, заваленной камнями. Черной ночью сквозь заросли кустарника он дополз до дома, и с тех пор его не видел никто. Этого не забыть никогда, во веки веков...

Вспомнил это Глеб и днем, когда был в комнате Клейста, вспомнил и сейчас, смотря на него, блуждающего по широкой площадке.

— Добрый вечер, товарищ технорук!..

Клейст остановился и окоченел, но быстро оправился и стал всматриваться не в Глеба, а в черные проломы окон машинного корпуса.

...Этот человек — вездесущ. Он не преследует его, а стоит на пути и потрясает, как кошмар. Невозможно от него уйти... В былые дни этот рабочий растворен был в массе синих блуз, без лица и голоса, и незаметно, как все, выполнял положенный труд — мельчайший элемент в могучем и сложном процессе

производства. Почему теперь он, Клейст, властный и сильный когда-то, уже не может ничего противопоставить грубой мощи этого человека? Где начальный толчок этого сдвига: тот ли момент, когда он отдал Чумалова на уничтожение, или сегодняшний час, когда он увидел этого рабочего в своем кабинете воскресшим из прошлого?

— Поднимитесь сюда, товарищ техноворук, сверху могила поглубже. Бродите вы, брожу и я... каждый день... А что толку?..

...Логика событий знает только одно: беспощадный конец и неумолимое начало. Случайностей нет: случайности — это иллюзия. Подчиняясь голосу этого внезапного человека, Клейст долго взбирался по лестнице, с привычным спокойствием и достоинством.

— Берегитесь, товарищ техноворук: тут по неосторожности можно кувырнуться в тартарары. Понастроили вы адовых дыр.

Клейст ответил холодно и авторитетно:

— Мы строили на века — крепко и разумно.

— Да, товарищ техноворук: громоздили, громоздили непобедимую крепость... а она не выдержала — и грохнулась. Грош цена вашему разуму... Где эти ваши нерушимые века?

Попыхивая трубкой, Глеб шутил добродушно и строговато. Парализованный, Клейст стоял, опираясь на парапет. Голова его тряслась неудержимо и, к ужасу его, совсем некстати. И так же нелепо дрожала мучительная улыбка на губах.

— Могила... братское кладбище, будь ты трижды проклято!..

...Почему стоит здесь этот мосластый инженер? Почему он молчит так замкнуто и обреченно? Вот бы смахнуть его вверх тормашками в бездонную пропасть!.. Два туго натянутых каната взлетают под крышу башни и исчезают в ободьях колес.

И странно: посматривая на Клейста, Глеб не чувствовал мучительной боли. Не то она перегорела при первой встрече с этим стариком, не то потухла сейчас, когда Глеб увидел его таким одиноким и беспомощным.

— Так-то, товарищ технорук... Здорово вы насобачились строить памятники! Когда умрете, для вас приготовлена могила: видите эту дыру? Спустим вас на вагонетке и упрячем под самой высокой трубой...

Клейст выпрямился и оторвался от барьера. Он протянул руку к Глебу и, путаясь в словах, гневно пробормотал:

— Вы... вы... Чумалов... ради бога... делайте скорее, что нужно... и, пожалуйста, не... пожалуйста, без пыток...

Глеб подошел к Клейсту и засмеялся.

— Товарищ технорук... о чем вы говорите?.. Выкиньте из головы эту ерунду! Я же — не зверь. Все пережито, и мы научились отдавать себе отчет в каждом своем поступке. Ну, было... и черт с ним! Теперь уже другие дни. Что же вы думаете, я не мог подсечь вас и расправиться, если бы захотел? Мне вы нужны живой, а не мертвый...

Клейст бессмысленно смотрел на него и вздрагивал, как в ознобе.

— Зачем вы... издеваетесь надо мною, Чумалов?.. Я не понимаю и не хочу... чтобы вы... в эту минуту... такую ужасную минуту...

— Хорошая минута, товарищ технорук! Вы напрасно волнуетесь. Я, конечно, понимаю: вы ожидали, что вот, мол, этот живой мертвец обязательно отомстит за прошлое. Ему есть о чем вспомнить... Да, мне есть что вспомнить... например, о трехлетних боях... Революция — самая лучшая школа. А в борьбе бывают и преступления и ошибки. Но иногда чувствуешь, что дурак сидит в тебе еще крепко и упрямо. И это хорошо, что чувствуешь: тогда дурака-то в себе и обуздать легче. А пока я знаю одно, товарищ технорук: громадная начинается борьба. Это будет потруднее кровавых боев. Не шутка: хозяйственный фронт! Вот смотрите: все эти великаны — дело вашего таланта и рук. Надо оживить это кладбище, товарищ технорук, надо зажечь огнем. Перед нами открывается целый мир, который уже завоеван. Пройдут года, и он заблещет дворцами и невиданными машинами. Человек будет уже не раб,

а владыка, потому что основой жизни будет свободный и любимый труд.

Он засмеялся в волнении и взял под руку Клейста.

— Немножко помечтать хочется, товарищ техноорук. Да это и не плохо: от мечты и мысли горячее. Так вот: принимайтесь за работу, Герман Германович. Первый шаг — это сооружение бремсберга на перевал, для доставки дров. Ремонт электромеханического цеха... Дизеля готовы к пуску: там Брынза сумел хорошо сохранить механизмы. Потом — ремонт корпусов. Заработают каменоломни, завизжат вагонетки, завращаются печи...

Клейст сипло и глухо пробормотал:

— То, что разрушено... что умерло — не может воскреснуть... Нет!..

— Герман Германович, разве мы хотим восстановить старое и разрушенное? Наоборот. Вы правы, конечно. Капиталистический мир разбит, уничтожен, и он больше не воскреснет. Это так. Но вы уже живете в новом мире. Пришли вы к нам с большими знаниями и опытом, — этим вооружается новое общество. Вы уже не принадлежите себе, товарищ техноорук. Ваша голова, ваша сила — уже в крепких и надежных руках. И в процессе труда и строительства вы переживете в тысячу раз больше радости, чем тогда, когда вы служили капиталу: тогда вы были наймитом, а сейчас вы свободный творец. За дело, Герман Германович! Все будет замечательно...

И с простодушной фамильярностью Глеб Чумалов встряхнул Клейста за плечи. Шляпа свалилась с головы Клейста и ночной птицей полетела вниз во тьму.

В последней изнурительной борьбе за жизнь понял Клейст, что эти страшные руки, насыщенные смертью, сурово и крепко пригвоздили его к жизни. Ошеломленный, он не мог постигнуть смысла этого потрясающего события — стоял странно пустой, обреченный, весь в слезах от счастья...

VI. ПРЕДЫ

1

Малый узел

У дверей кабинета предисполкома на стуле сидел бородатый курьер в гимнастерке и серой шапке времен империалистической войны. Встретил он Глеба угрюмым взглядом из-под седых бровей. Мохнатые пальцы по привычке оплетали латунную ручку двери. Так охранял он вход в кабинет предисполкома каждый день от десяти до пяти, не сходя со стула даже в то время, когда предисполком уезжал по делам. Были ли эти люди с деловыми портфелями, или, робко вытянув шеи, входили безвестные просители — одинаково недоступен был немой страж, и каждый покорно соблюдал свою очередь или ломал ее через секретаря исполкома.

Стояли в очереди люди во френчах, с портфелями, без портфелей, с бумажками и без бумажек, покорные и злые — знали: нельзя пройти в кабинет через лютого дядю.

Ремингтоны рассыпали металлическую дробь за дверями, и там кричал обветренный голос:

— Стыд и срам, товарищи!.. Бюрократизм и волокита заела... Разогнать вас надо к черту... перестрелять, как чекалок...

— А ну-ка, бородач, убери свою руку!..

Люди заволновались и заворчали на Глеба: разве он лучше других — лезет первым к двери? Если они покорно ждут очереди, почему же ему не разделить по всем правилам их участь?

Там, в кабинете, тихо. Дверь плотно, надежно закрыта, и хлебом приклеены бумажки: «Без доклада не входить». Ниже: «Предисполком принимает только по строго деловым вопросам». Еще ниже: «По экстренным делам прием вне очереди только через секретаря исполкома».

Чертова машина! Чтобы заставить ее работать, надо ее сломать.

Глеб прошел в секретариат. Там — опять очередь. Барышни сидят за старенькими столиками над бумагами и гложут черный пайковый хлеб. К людской ералаши привыкли — наплевать.

Не потому ли секретарь Пепло — в седых кудрях, с лицом юноши — смотрит на сизые лица и румяно улыбается? Он улыбается неудержимо, с искрой, и зубы у него ровные, сахарные, с играющими пузырьками слюны.

Знает всех Пепло, слушает человечий содом и курит — не торопится: все дела — однолики, они все — бескрылы.

И только обвстренный голос то в том, то в другом конце комнаты покрывал этот гомон.

— Крыть вас всех надо, чертей, мухотеров!.. Без хомута запрягли рабочего человека в двадцать две горы... Башку нужно рогатую, чтобы прошибить вашу бюрократию... Я всех разменяю на мелкую монету: не будете распинать рабочий класс...

Секретарь Пепло румяно улыбается. Должно быть, привык к таким скандалам: ведь машина шла полным ходом, а бунт граждан был надежной смазкой для механизма.

Распаренный Жук, с яростью в глазах, метался по канцелярии и, как слепой, натыкался на людей.

Глеб сдвинул ему кепку на затылок.

— Гляди веселее, Жук!

— Эх, душа Глеб, дорогой товарищ!.. До чего же мне прискорбно глядеть, как скрутили рабочий класс!.. Житья им не дам, доколе буду страдать на сем свете... Был в совнархозе — бурда... Был в продкоме — бурда... Везде — бурда... И тут, будь ты проклята, бурда... Вот и хожу, крою, как сукин сын.

— Язык — липовое оружие, Жук. Бей делом и фактами.

— Я? Чтобы — я?.. Да я их всех на чистую воду выведу... всех к стенке поставлю.

— Надо дать тебе какую-нибудь работу, Жук, а то ты бьешь вхолостую...

— Нет, брат Глеб, дорогой товарищ, они меня еще не знают... Я еще им покажу восемнадцатый год...

Он погрозил кулаком потолку и пошел к выходу.

Минуя очередь, Глеб пробрался к секретарю Пепло.

— Прошу доложить предисполкому...

Пепло посмотрел на него с румяной улыбкой.

— Станьте в очередь, будьте любезны...

— Я вам говорю ясно: доложите обо мне предисполкому. Дело экстренное — не терпит отлагательства. Понимаете?

Пепло с насмешливым изумлением вскинул глаза на Глеба.

— Экстренное? По какому же поводу?..

А из толпы обозленно кричали:

— И у меня — экстренное... сверхэкстренное... Что за безобразие!..

Секретарь уже отвернулся от него и слушал других. Глеб выпрямился, и глаза его стали такими, как у Жука. В коридоре он напер на лохматого дядю и вошел в кабинет предисполкома. Сквозь солнечные снопы видно было, как алели на стенах широкие полотна и ярко блестела свежая окраска стен.

— В чем дело, товарищ? Я занят. Приема нет.

Из-за солнечного света в окнах Глеб сначала не заметил человека, который говорил гулким голосом. Но сразу решил, что этот человек — властный и сильный. Глеб прошел вперед и увидел за письменным столом смуглого, со сдвинутыми бровями, с бритым черепом, коренастого парня в черной коже. Другой парень, в черкеске, при кинжале и револьвере, стоял у стола и опирался рукою на спинку стула. Он был похож на тех молодцов из «чертовой сотни», которые на войне разделывали чудеса и чьи шашки никогда не высыхали от крови.

Глеб по-военному приложил руку к шлему и сел на стул около стола, напротив предисполкома. Оба — предисполком и он — недружелюбно взглянули друг на друга. Широкий лоб предисполкома надвинут был на глаза. Говорил он глухо, в стол, в свои большие руки с черными волосками на пальцах.

— Так вот... запомни крепко, Борщий: если ты в течение месяца не проведешь кампании по сбору дополнительной нормы продразверстки и провалишь

сентябрьский возврат семссуды, я поставлю тебя на мушку. Я зря не бросаю слов. Это ты хорошо знаешь. Как волпредисполком, ты мне ответишь за всех. Это запомни.

Играя белками, Борщий, подтянутый и стройный, нагло улыбался.

— Товарищ Бадьин!.. Я — такой же коммунист... И меня не запугаешь...

Предисполком с холодной угрозой оборвал его:

— Вот я тебя как коммуниста и посажу на мушку, если задание не будет выполнено. Вы там, в куркульском районе, разводите склоку и поддаетесь кулацкой стихии.

— Товарищ Бадьин!.. — Звонкий голос Борщия дрогнул. — Ты хочешь взять меня на мушку, но я ни черта не боюсь. Ты меня тоже хорошо знаешь. Пойми, что возврат семссуды должен быть отложен до будущего года. Продразверстка производится с осени четвертый раз... Землеробы подохнут с голоду... Такими мерами мы сами же разводим банды бело-зеленых... Нас перережут до последнего... изрубят, как говядину...

— Так. Пусть изрубят вас, как говядину, но задание ты должен выполнить точно и к сроку.

— Товарищ Бадьин, прошу поставить мой доклад... Я доложу пленуму исполкома...

Бадьин выпрямился и сверкнул складками кожаной куртки.

— Борщий!..

Он встал и медленно повернул голову к казаку.

— Волпредисполком Борщий!..

И улыбнулся, и в этой улыбке было больше угрозы, чем в его окрике.

Борщий отступил на один шаг и выпрямился. В глазах его сверкнули острые огоньки.

— Товарищ Бадьин!.. Кампании будут проведены... Я сделаю все... Но это будет мясорубка, товарищ Бадьин...

— Не плачь. Получишь в помощь Салтанова, начальника окружной милиции.

И сел, отвернувшись от Борщия. А он, вояка «чертовой сотни», укрощенный, пытался что-то крикнуть

Бадьину, но безнадежно махнул рукой и быстро вышел из комнаты. Бадьин опять уткнулся в шерстистые руки.

— В чем дело, товарищ? Говорите короче.

— Рабочему человеку пробраться к вам, товарищ предисполком, так же трудно, как взять Перекоп.

— Говорите конкретно.

Холодная неподвижность предисполкома давила Глеба. Но он упрямо и как будто нарочно медленно продолжал:

— В другой раз я этого вашего идола выброшу в окно. Такое генеральство нам — не к лицу.

Всматриваясь в глаза Глеба, Бадьин сказал бесстрастно:

— А я вот сейчас отправлю вас под арест. Кто вы такой?

Опираясь руками на стол, он встал и взглянул на дверь. Глеб с грохотом отодвинул стул и рявкнул:

— Товарищ предисполком, с вами говорит рабочий завода! Будьте любезны сесть! Вы не имеете права гнать рабочих из своего кабинета.

Бадьин дернул щекою, из-под толстых губ блеснули зубы в улыбке. Он сел, вынул из кармана пачку папирос, закурил и подвинул Глебу.

— Я слушаю. Говорите толком и сразу, что вы хотите. Как ваша фамилия?

Сел и Глеб. Он вынул свою красноармейскую трубку и стал набивать табаком.

— По постановлению ячейки и общего собрания рабочих мы решили доставлять дрова из-за перевала с помощью бремсберга. Вопрос этот уже согласован с окружкомом и совпрофом. Два-три воскресника по профсоюзам — и мы спустим к вагонам горы дров. Дровяная повинность — ерунда: мужики разбегутся в бандиты. А на баржах побережья не взять: баржи погнили и разбиты волнами. Вот. Моя фамилия — Чумалов, слесарь завода, военком полка.

Бадьин протянул ему руку и опять дернул щекою, блеснув зубами в улыбке.

— Вот это — серьезное дело. Первоочередная проблема. Даша Чумалова — ваша жена?

Глеб, занятый трубкой, не обратил внимания на последние слова Бадьина.

— Этот вопрос — только часть большого вопроса, товарищ предисполком. Я имею в виду и другое. Что вы думаете, например, о пуске завода, если возникнет необходимость коснуться этого в скором времени?

Бадьин немигающим взглядом смотрел на Глеба. Он отвалился на спинку кресла и внимательно изучал лицо и движения этого неожиданного человека.

...Глеб Чумалов, без вести пропавший муж. Даша, которая не похожа на других женщин, — Даша, к которой однажды протянулась его рука. Не было женщины, которая не подчинялась бы ему покорно и желанно, а тут была стальная пружина. И оттого, что эта женщина, поводырь городских пролстарок, сама утверждала свое место среди мужчин, предисполком Бадьин не в силах был подойти к ней так, как подходил к другим женщинам. И он каждый день думал, с какой стороны подойти к Даше и как сломить ее неподатливость.

— О заводе пока помолчим, товарищ Чумалов. Пустить его не в нашей власти. А вопрос о сооружении бремсберга я поставлю на ближайшем заседании экосо.

Глеб в изумлении опустил трубку и встретил глаза предисполкома. Он все острее и острее ощущал беспричинную ненависть к Бадьину. Эту ненависть он почувствовал в первые же минуты.

— То есть, как это — не в нашей власти? Ведь это — позор: завод не освещает даже своих закоулков, не говорю о квартирах рабочих. Всюду — разлом: ни дверей, ни окон, а если есть двери, так вместо замков — простая веревка или проволока. Как же вы хотите, чтобы завод не грабили? Кто плодит такую разруху: вы или рабочие? На завод идут наряды жидкого топлива. А где эти наряды? Скажем, перемол клинкера. Несметное богатство прежней разработки сырья... А лабазы — пустые, но клепок — горы. Вы кричите о лодырях и бездельниках, но сами размножаете дармоедов и волынщиков. Плох ревтрибунал,

если он не карает за бесхозяйственность и саботаж. Я так ставлю вопрос, товарищ предисполком.

— Товарищ Чумалов, мы умеем ставить вопросы не хуже вас. Надо исходить из конкретной обстановки. Помимо Госплана мы не можем решать вопросов, имеющих общегосударственное значение.

— Я и говорю об общегосударственном значении, товарищ предисполком.

— Придет время, поставим и этот вопрос, товарищ Чумалов. Все зависит от перспектив новой экономической политики. Этот момент — не за горами...

— Я думаю так, товарищ предисполком: мы, коммунисты, не только должны быть точными исполнителями директив и предписаний, но и... самое главное... орудовать инициативой и творчеством.

Бадьин завертел ручкой телефона.

— Вот что, Шрамм: зайди-ка сейчас ко мне на минутку.

Он прищурил один глаз и с холодной насмешкой проследил за трубкой Глеба. Глеб тоже прищурился, и оба они поняли, что с этого часа они никогда не будут друзьями.

— Всякий хозяйственник, товарищ Чумалов, тем ценнее, чем больше и крепче он нажимает на то, что у него горит под пяткой. Правило: не целое, а — часть; не сказка, а — кусок хлеба. Вы знаете, что нам угрожают бандиты? Они окружили нас, как волки. Борьба с ними требует затраты тех сил, которые нужны для восстановления хозяйства. Нужен новый метод борьбы с ними, новая стратегия. Ваш проект о немедленном пуске завода — нелеп: вы не учитываете хозяйственной конъюнктуры. Но если вы сумеете сейчас обеспечить снабжение города топливом, вы совершите настоящий героический подвиг.

Глеб в упор посмотрел на Бадьина. Несомненно, этот черномазый — умен и знает не хуже Глеба, как надо держать курс настоящего дня, но он ведет линию высокого дипломата или, как оппортунист и деляга, не желает стать выше злободневного факта.

— Вы, товарищ предисполком, гоняетесь с молотком за блохами. Красная Армия била по целым

антантам во имя большой идеи — социализма. Только этим был жив человек, на этом он рос и ковался заново. А ваши кусочки плодят дармоедов и потребителей. Что вы конкретно сделали для восстановления производства? Ничего. Чем вы воодушевляли народ? Ничем. А ведь к этому мы подошли вплотную.

— И это я знаю не хуже вас, товарищ Чумалов. Мы об этом говорили на каждой партконференции, на съездах Советов и профсоюзов: производительные силы, экономический подъем республики, электрификация, кооперация и прочее. А где у нас реальные возможности?

— Такой вопрос, товарищ Бадьин, может задать только аполитичный спец, а не вы... За годы войны мы вытоптали все поля, а теперь их надо пахать. Пока не задымят трубы, мужик будет бандитом, а рабочий — босяком.

Бадьин усмехнулся, и глаза его похолодели от скуки.

— Подождем, товарищ Чумалов, что решит десятый съезд партии.

Этот рабочий настолько же упрям, насколько наивен и близорук. Это — те демагоги, которые мешают нормальному ходу сложной работы по управлению краем. Одержимые мечтатели, они из образов будущего создают трескучую романтику настоящего, изъеденного разрухой.

Вошел высокий человек с портфелем, весь в желтой коже, от картуза до ботфорт, с рыхлым лицом скопца, с золотым пенсне на бабьем носу. Не здороваясь, он сел у стола, лицом к лицу с Глебом, и застыл в позе напряженного спокойствия. Он был похож на восковую фигуру из паноптикума: все подделано под живое, а сам — чучело.

— Слушай, Шрамм: что может предпринять совнархоз, если на днях будет поставлен вопрос о частичном пуске завода?

Медленно, бесстрастно, без всякого выражения, Шрамм механически сообщил:

— Совнархоз учел и сохранил все государственное имущество — от сложных машин до старой подковы.

Мы не можем предпринимать ничего и нигде, если нет соответствующих предписаний. Но нашему аппарату приходится тратить дорогое время на борьбу со всякими проектами и предложениями, исходящими из разных предприятий и частных лиц. Люди не понимают, что совнархоз — не похоронное бюро.

— Согласен, Шрамм, но совнархозу предстоит заработать в ударном порядке. Из похоронного бюро он должен превратиться в предприимчивого хозяина.

На Шрамма слова Бадьина не произвели никакого впечатления.

— Совнархоз получает всякие задания и планы только от промбюро.

Бадьин откинулся на спинку стула и, оглядывая Шрамма с пренебрежительной усмешкой, повысил свой гулкий голос:

— Ты прячешься за спину промбюро, чтобы охолостить совнархоз. Из писаных твоих докладов видно, что ты развернул свою работу по линии учета и переучета. У тебя — бесчисленное множество отделов, и штаты — до двухсот человек, а творческой работы — нет. Какие у совнархоза предложения на ближайшее будущее относительно мастерских, заводов и предприятий?

Шрамм по-прежнему механически ответил:

— Совнархоз стоит на той точке зрения, что нужно прежде всего сохранять народное достояние и не допускать никаких сомнительных предприятий.

— Как у тебя работает райлес?

— Это меня не касается или, вернее, имеет косвенное касательство. Там есть свой аппарат, который находится только под моим контролем.

— Какие же у тебя есть данные о работе райлеса?

— Идут плановые заготовки в лесосеках.

— Доставка топлива на места?

— Совнархоз здесь ни при чем: это дело крайтопа.

— Ну, так вот что, Шрамм. Город, предместья и транспорт должны быть насыщены топливом до зимы. Необходимо немедленно пустить электростанцию завода и соорудить бремсберг на перевал.

— Это дело не мое, а промбюро. Прикажет промбюро — приступим к выполнению.

— Это дело наше, а не промбюро, и мы его выполним без санкции промбюро.

Впервые по лицу Шрамма легкой тенью прошла судорога, но глаза по-прежнему оставались стеклянными.

— Каковы наряды на жидкое топливо на долю завода?

— Наряды поступают неправильно. По отчетным данным — до тридцати процентов утечки. Из заводских запасов по нарядам, находящихся в резервуарах нефтеперегона, с разрешения промбюро приходится уделять некоторую часть паровым мельницам дополнительно к их нормам. Что касается электрификации завода и сооружения бремсберга, то это не входит в план настоящего года, утвержденный промбюро. Вопрос этот нужно предварительно передать в госстрой и промышленный отдел для разработки и составления надлежащих смет.

Бадьин положил сжатые кулаки на стол.

— На предстоящем заседании экосо — твой доклад, Шрамм. Ты представишь план мероприятий насчет пуска завода по циклу подготовительных работ и по доставке дров.

Шрамм вздрогнул, но по-прежнему был непроницаем.

— Я должен снестись с промбюро и ждать директив.

Бадьин улыбнулся так же, как улыбнулся Борщию.

— А мы, товарищ Шрамм, сумеем оживить тебя и без чудесного вмешательства промбюро. Ты это имей в виду.

Глаза Шрамма налились злобой. Он молча ткнул пальцами в пенсне. Глеб выбил в пепельницу пепел из трубки, встал и переглянулся с Бадьиным. В этот момент они сразу сблизились, улыбнувшись друг другу. Бледнея от острой вражды к Шрамму, Глеб прошелся раза два около него и крикнул запальчиво:

— Это ваше промбюро я посылаю к черту в затылок. Вы тут здорово развели волокиту и плесень. До

чего завод докатили!.. И какой завод! Рабочих ворами сделали... Разлагали их систематически...

Шрамм смотрел на Глеба с испуганным удивлением. Этот военный слишком рьяно и не по праву покушается на его авторитет. Что ему нужно? Какие могут быть у него претензии к совнархозу? Их, крикливых прожектеров и демагогов, встречает Шрамм каждый день и привык ставить в рамки приличия. Неужели у этого нового, очевидно прибывшего откуда-то издалека, есть какие-то данные для удара по совнархозу?

Стараясь сохранить прежнюю непроницаемость, Шрамм сухо прервал Глеба:

— Я не имею чести вас знать и прошу не вмешиваться в дела учреждения, которое я возглавляю.

Глеб засмеялся.

— Вы — коммунист, товарищ Шрамм, а не имеете рабочей политики. Вы не нюхали ни пороху, ни рабочего пота. Начхать мне на вашу машину! У вас там целые полки крыс. Они здорово наточили зубы на советских хлебах. Но мы, уверяю вас, переловим их и передавим этих грызунов. Да и вам не поздоровится.

Шрамм встал и величественно вытянулся.

— Товарищ Бадьин, я требую призвать товарища к порядку.

Но Глеб, козырнув Бадьину, быстро пошел к двери.

...К Чибису! Никто так не нужен теперь, как товарищ Чибис.

2

Глаза, которые видят по ночам

В маленьком кабинете с открытым окном Глеб сел у стола напротив Чибиса. Лицо у Чибиса было бледное, но молодое и свежее. Он был хорошо выбрит.

— Ты можешь, товарищ Чумалов, говорить сразу, если спешное дело, а можешь и немного спустя. Я как раз имею сейчас свободную минуту. Ну, как у тебя с заводом?

— Пока что — мозгуем, а до дела далеко.

Чибис щурился от солнца.

— А я вот смотрю на море. Отсюда оно — воздушно, и краски этакие такие... Видишь? Покупаться хочется или побыть на берегу. Так просто: выскочить и камешки побросать. И в лесу тоже — хорошо. Море!.. Видишь, как оно зыбится и цветет? Это немножко пахнет психологией. Ты как насчет психологии?

— Я вот уже сколько дней, товарищ Чибис, переживаю здесь эту психологию, черт бы ее побрал. Тут одной психологией врага не сломишь — нужны хорошие мускулы и крепкий напор. Если охота купаться, пойдем вместе. В чем дело?

Чибис щурился улыбаясь. И когда открывал ресницы, смотрел на Глеба ясным ребячьим взглядом. Но в глубине зрачков искрились жгучие капельки.

Такие глаза не спят по ночам, они видят сквозь стены.

— Приеду к тебе на завод и — покупаемся... прямо с мола... Люблю глубину... волны люблю... А тебе — как? Ничего в волнах не видно?

— Я с удовольствием бы взял на мушку кое-кого из наших хозяйственников... например, предсовнархоза... Вот тип, этот Шрамм! Я его сейчас крыл у предисполкома. И хоть бы что... Истукан! Я его жарю, а он бубнит: промбюро, промбюро... Даже Бадьину стало совестно.

— Даже Бадьину... У тебя — опытный глаз, Чумалов... Это гнездо — совнархоз — голыми руками не возьмешь. Бюрократизм, как система, — это крепкий блиндаж и очень тонкое и часто неотразимое оружие в руках врага. Он — над массами, над живой жизнью, он умерщвляет творческую мысль. Мы хватаем по одному, мы хватаем группами и саботажников и заговорщиков, но этого мало. Надо взять эту крепость и разрушить стены.

Чибис смотрел на море, на горы, на облака, реющие над морем снежными сугробами, и лицо его вдруг постарело от переутомления.

— Ты кого предлагаешь в охотники за совнархозом? Имей в виду, что самые умные и исполнительные

работники — это дураки. Они умеют видеть и брать...

Чибис опять улыбнулся и прикрыл глаза ресницами.

— Шрамм — механический коммунист, а за свой аппарат может умереть, как деревяшка. Но дураки умеют мутить чистую воду... Ты знаешь, что такое необходимость, Чумалов? Чувствовать ее — это одно, а знать — другое. Но необходимость, как знание, слитое с чувством, — это уже свобода. Сумей необходимость обратить в собственную мысль, и ночи не будут пугать тебя призраками.

Глеб со смутной тревогой смотрел на Чибиса, и ему чудилось, что голова Чибиса растет, раздается в костях, трещит под напором мозгов.

— Товарищ Чибис, что ты будешь возражать против Жука? Он лодырничает. Надо запрячь его в работу. По-моему, он самый подходящий дурак. Пусть партком командирует его в райлес.

— Вот. Пришли его завтра ко мне. Возьми себе постоянный пропуск.

У двери Глеб обернулся.

— Товарищ Чибис, ты видел Ленина?

— Ну, видел... пусть видел... Что же из этого следует?.. А если не видел?..

Чибис сердито отвернулся.

— Я вот не видел его, товарищ Чибис, и мне кажется, что я не пережил самого главного. Если бы я увидел и услышал его, я открыл бы себя заново. Выразить этого не могу — беден словами... Но тогда бы и слова у меня были иные...

— Это какие же — иные? — строго и насмешливо спросил Чибис.

— Большие и глубокие, товарищ Чибис.

— А ты больше делай, чем говори... Борись не щадя сил... организуй труд... боевые задачи решай, как велит партия... Слышишь?.. Тогда и Ленин будет перед тобою во всем облике... Иди! Не забудь взять постоянный пропуск. Я сейчас позвоню.

VII. ОТЧИЙ ДОМ

1

Книжный червь

По серому карнизу, над тремя облезлыми колоннами, на камне вырезаны были рельефные слова: «Народный дом». А за колоннами, на огромной дубовой двери в трещинах четким квадратом белела бумага. Сергей поднялся по выщербленным ступеням и близоруко уткнулся в исписанный лист. Рука отца... Что-то старческое и очень торопливое улыбалось ему в запутанном сплетении букв. Через сердце прошла волна грустного напева о детстве... Снежно цветущий миндаль под окном, в саду, бледная молчаливая мать, которая целует его и примеривает новую рубашку. Это было похоже на туманные образы сновидения. Давно не видел отца — с тех пор, как ушел из семьи навсегда.

Библиотекарша Верочка, его бывшая ученица, всегда изумленная и растерянная, нашла его в городе (только она может его находить). Никогда она не умела с ним разговаривать и всегда нервно дрожала. Встретив его, она пролепетала:

— Я, Сергей Иваныч... я искала... Я — от Ивана Арсеньича. Я так рада, что увидела!..

И в руках дрожала бумажка.

— Ну, как он, Верочка?..

— Иван Арсеньич?.. Ах, если бы вы знали!.. Я вижу вас, и я счастлива...

И, улыбаясь, не сводила с него круглых сияющих глаз.

— Вы все еще в библиотеке, Верочка? Еще не надоел вам мой батя своей болтовней о всяких глубоких пустяках?

Он развернул записку и не заметил, как Верочка исчезла.

Старческим детским почерком отец писал:

«Сын мой, когда подумаешь, что бытие определяется сознанием, — это великая победа моей бессмерт-

ной мысли над капризами становления. Но когда почувствуешь примат бытия над сознанием — ничтожен есть в гордыне своей человек. Почему сие так — узнаешь, когда найдешь в себе мужество зайти ко мне в книжную храмину: хочу тебя видеть по обстоятельствам ничтожным, а посему и жутким (ничтожное — всегда жутко). Сижу в капище, среди книг (они шевелятся, как тараканы), улыбаюсь и читаю Марка Аврелия. Книжный червь и, волею случая, твой отец».

И когда Сергей читал эту записку, сам улыбался.

Шел он в библиотеку с тревогой и смутным предчувствием. Видел голову отца, такую же лысую, как у него, с пепельными волосами в пышном ветреном разлете, и бороду — торчком вперед, под прямым углом к подбородку. Что-то ребячье было в его голове — и что-то дряхлое и беспокойное.

Через прохладный сумеречный вестибюль, угарно смердящий мышами, Сергей прошел в огромный зал с далекими рядами книг на полках и невнятными вихрями шорохов.

В этом зале когда-то был кинематограф и пол спускался немного покато. Два узких окна давали очень мало света, и помещение казалось сарайно-храмным. И тишина была тоже храмная, древняя, насыщенная тлением. Не было стен, а только — книги от пола до потолка в струящихся параллельных рядах. Зачем так много книг? Разве можно прочесть их человеку за короткую пору его сознательной жизни? Не потому ли они так плотно сжаты на полках, что человек устрашился их множества, грозящего пожрать его жизнь, жадную до солнца?

Верочка смотрела из-за вороха книг на прилавке и улыбалась в восторженном изумлении.

— Сергей Иваныч!.. Я сейчас... Иван Арсеньич!.. Ах, как это чудно!..

Посреди комнаты стояла иконостасом многоэтажная полка, а из-за нее смотрел на него издали седой отец в длинной холщовой блузе. И когда шел к нему Сергей по наклонному полу, сдерживая несущий шаг, увидел, что отец — босой, и ноги покрыты пылью и струпьями.

— Любишь, любишь — вижу... Проходи ко мне в алтарь и садись. Такие глаза у тебя были еще в детстве — глаза задумчивого отрока.

Он говорил быстро и смеялся смущенно.

— А знаешь, что такое стоицизм, Сережа? Это — неисчерпаемое любопытство к жизни. Такие люди страдают оттого, что на свете есть одна печальная необходимость — сон.

Сергей улыбался от дружеских слов отца и, как всегда во время общения с ним, чувствовал себя радостно окрыленным, а его — огромным и загадочно-близким.

Отец усмехался и смотрел на Сергея в тревожном вопросе, с любопытством человека, который проверяет решенную задачу. Он вздрагивающими пальцами теребил бороду и ласково насмешничал. Сергей видел, что он хочет сообщить ему что-то важное и мучительное.

— Тебе не жутко в этой гробнице, батя?

— Судьба всех книг, Сережа, быть тюрьмою для мысли. Каждая книга — это удавка для человеческой свободы. Не правда ли, что все эти полки похожи на железную решетку? Стремясь к бессмертию, человеческий ум создает книгу — свою надгробную плиту. Роковая обреченность, Сережа: человек — это перманентный бунт, а бунт — это прыжок из одной тюрьмы в другую: из утробы матери — в утробу общества, в цепи обязательных регламентаций, а оттуда — в могилу. Марк Аврелий был очень неглупый мужик: он умел себя чувствовать свободным, гремя цепями, и имел мудрость смотреть сквозь стены темницы.

— А по-моему, так, батя: подлинная свобода — только в творческом слиянии своей воли с диалектикой необходимости. Человек бессмертен только в движении творческой мысли.

Отец пристально посмотрел на него со строгой улыбкой старого скептика.

— А почему ты не спросишь о своей матери? Что ты будешь чувствовать, если она сегодня умрет?

Сергей молча, с судорогой в лице, взглянул в глаза отца.

— Она очень плоха? Мне хотелось увидеть ее хоть на минуту...

— Она умирает от скорбящей любви к своим детенышам... Она умирает, Сережа...

Брови его вздрагивали от улыбки, и в этой улыбке была тоска.

— Но я не умру, нет, — будь спокоен. — Истинная жизнь, сын мой, в свободе, потому что мир — это только чистая относительность, а истинное счастье — в растворении, в миге. Не только Марк Аврелий, но и сам Лукреций Кар мог бы сделать меня своим другом...

Сергею было хорошо — спокойно и тихо на душе. В напряженные дни, которые отравляли бессонницей его ночи, — здесь бы, в этом книжном безмолвии, блаженно раствориться в бездумии или в думах своих хотя бы на час остаться недосягаемо одиноким. Его ночи в маленькой комнате в Доме Советов кошмарны, насыщены головною болью, потому что нет сна в Доме Советов, и двадцать четыре часа насыщены беспокойством, боевой тревогой и звонками телефона. Нет дней и ночей в Доме Советов — есть маленькая комната, где мучительно чувствуется переутомление и суровая радость великого долга.

— Мой милый Сережа, твоя мать очень больна. Иди к ней, да, да!.. Если и не скажешь ей ничего, то взгляни на нее, как бывало — ребенком. Ты принесешь ей большое счастье.

Всегда было так: в дни детства и юности Сергей души отца не касался, отец был похож на младенца. Дни свои уносил он в предрассветный сумрак библиотеки, изумленно и растерянно смотрел на деньги, полученные за труд, дома был как чужой, не имел своего места, смеялся конфузливо, когда говорила с ним мать, и всегда торопился. Весь дом, от кухни до спальни, насыщен был матерью, и даже ночью, в волнах сновидений, мерцало ее лицо, утомленное заботами.

— Идем, батя: я хочу побыть около нее... поближе... Ах, мама! Ей действительно лучше умереть...

— Да, да, Сережа... Ты меня очень обрадовал... очень... Но вот что... Если тебя встретит брат Дмитрий?

Позабудь о нем как о враге... позабудь у постели матери... Твой брат, твой брат... Ты не спрашивай меня о нем, я его боюсь больше, чем тебя. Впрочем, я никого и ничего не боюсь, потому что я, милый мой, заражен любопытством, а это, как тебе известно, не что иное, как мудрость. Жуть, Сережа, не в глубинах, а только в простых элементах движений — в мимолетном взгляде, в жесте, в крике... В этом, друг мой, распятие человека... этим он проклят...

2

У постели матери

Фруктовый сад за забором был уже по-весеннему обрызган зеленью, но ветви еще сплетались в прозрачные шары. Только миндаль горел и волновался густыми роями цветов. Этот сад насадили своими руками они с отцом, когда Сергей был еще мальчиком. Шел он мимо забора, засматривал в щели и видел знакомые деревья, запущенные дорожки и ту беседку в рыжих космах дикого винограда, которую он сколотил еще гимназистом. И каменный дом с мезонином был грустно далеким, как воспоминание о детстве.

— Давно ли ты жил тут и рос, Сережа?.. Ты не думаешь о своем чердаке?..

Старик смеялся, семенил босыми ногами в цыпках, и Сергей видел, что он рад ему, растроган и конфузится своей радости. И вдруг почему-то сразу и впервые заметил Сергей, как нечистоплотно опустился отец и какая в его глазах ясная и углубленная пустота.

— Ваша революция — одна из самых веселых революций в истории, Сережа... одна из самых трагических... а посему и бодрых...

Сад паутинно искрился солнцем и опьянял солоделою прелью весенней земли, лопнувших почек и порхающего цветения миндалей. Вот с открытой дверью мезонин, где Сергей провел свое детство и школьные годы...

В конце дорожки, засыпанной прошлогодними листьями, под снежною пеной миндального дерева (издали оно кажется радужным) стоял высокий однорукий человек с бритым черепом, в белой рубашке и казачьих шароварах. Остро, клювом выдавался длинный нос над маленькой верхней губой.

— Я чувствую, батя, что встреча с Дмитрием не даст нам ничего доброго. Мы с ним когда-то расстались друзьями, а теперь встретимся, пожалуй, как недруги.

Однорукий взглянул на них издали острым взглядом, приветственно вскинул единственную правую руку и крикнул с кавалерийским распевом:

— Ага, рыцарю красного образа под мирным родительским кровом — моя душа и сердце!.. Ха-ха, Сережа!.. Ха-ха, милый друг!..

Сергей ответно помахал ему рукою и с нервной дрожью стал подниматься по ступеням крыльца.

В маленькой комнате матери, по-прежнему темной от спущенных штор, загроможденной одеждой, комодами и ящиками, пахло тем же теплым, душным запахом долголетнего уюта, как и в прошлые дни. И теперь еще, когда Сергей думал о матери, этот запах он чувствовал нудно, до галлюцинаций.

И, если бы не было домашнего запаха, — не было бы той тишины, которая дремала в стародавних стенах, впитавших в себя всю историю его жизни. Только мебель и скарб были свалены по углам недавним квартирным уплотнением.

Из пухлой белизны подушки смотрел на Сергея пергаментный череп с черными косицами, прилипшими к ямкам щек. Он на цыпочках подошел к постели, долго вглядывался в лицо матери, чужое, никогда не виданное раньше, взял ее руку и почувствовал призрачный трепет в ее пальцах.

И эта рука и этот череп в черных косицах — чужие и родные до слез. Вдыхая запах былого гнезда, Сергей не знал, что делать с собою и с этой угасающей рукой.

Мать, немая, молча и пристально смотрела на него мутной глубиной умирающих глаз.

А он, Сергей, молчал и ждал шепота матери. Не голоса, не крика, а — шепота. И не было шепота, а были только глаза, с влажными ресницами.

Сергей почувствовал, что около него остановился Дмитрий. Он оглянулся и встретил вызывающе-насмешливый взгляд. Этот бравый полковник с пустым рукавом был налит жизнью, широк костью и казался красиво-хищным в излучинах бровей и изгибе хрящеватого носа.

Рука матери упала на постель.

Отец улыбался, не угашая ясного взгляда.

— Как странно, что вы — мои дети! И как странно, что вы оба — чужие... чужие и мне и себе!

Дмитрий засмеялся и сказал:

— Как видишь, Сережа, отец по-прежнему балаганит, как старик Диоген в бочке. Он питается только мухами и своими словами. Он безгрешен, как воробей, и я его очень люблю...

Сергей выдержал взгляд брата и спросил строго:

— Где ты был до сих пор? В эти годы о тебе не было слышно.

— Не скажу. Я все равно совру тебе или скажу не то, что нужно. Полковник с германского фронта, инвалид, а теперь — гражданин без определенных занятий.

Дмитрий быстро взял руку матери и поцеловал, и этот поцелуй потряс больную, как удар. С немым ужасом смотрела она на него, как будто хотела крикнуть о помощи.

Дмитрий опять засмеялся и взял под локоть Сергея.

— Я давно не видел тебя, Сережа... с юных лет... Давай поцелуемся, что ли...

Сергей со смутной тревогой отошел от него к отцу.

Дмитрий повернулся налево кругом и вышел, блеснув бритым затылком.

По широкому лбу отца прорезались две глубокие морщины. Дрожащею рукою он затеребил бороду и норовил положить ее в рот, но она вырывалась.

Бледный, с жалкой улыбкой, он припал к стене.

— Что с тобою, батя?

— Будь стоически тверд, Сережа. Побольше спокойствия и мудрости. Но иногда и стоик бывает рабом своих чувств. Умей изучать людей из-за щита... из-за щита, Сережа!..

Мать с предсмертным безумием поднялась на локоть и опять упала — растаяла в подушке. И в глазах ее были покорность и ужас.

— Сережа... родной... единственный... мне — хорошо... о папе... папу... любить...

Потрясенный, Сергей молча поцеловал мать. Эти ее глаза навсегда — так почувствовал Сергей — ранили его душу. Медленно вышел он из комнаты на крыльцо и, ускоряя шаги, пошел по аллее к калитке.

На улице, у забора, он столкнулся с Дмитрием. Брат держал руку в кармане казачьих шаровар и смотрел на Сергея прищуренным взглядом.

— Мое почтение, Сережа! Мы еще увидимся... Не правда ли? Мы скоро увидимся, мы увидимся при другой обстановке, Сережа... И тогда поговорим с тобою всласть... Мое почтение!..

Он чопорно поклонился и оскалил зубы. А глаза не смеялись: они кололи Сергея своей прищуркой.

VIII. ГОРЯЧИЕ ДНИ

1

Рабочая кровь

Дни горели солнцем и зноем и насыщены были хлопотами, делами, горячкой, а ночи как-то не запоминались. Обливаясь потом, бегал Глеб в совпроф, в окружком (немедленно созвать общегородское партийное собрание!), в учпрофсож (товарищи, толкайте подачу цистерн к нефтеперегону!), в заводоуправление, в машинные корпуса завода — там Брынза, там дизеля, готовые к работе...

По обыкновению, Лухаву в совпрофе не заставал. Лухава не мог сидеть в стенах совпрофовской комнаты.

Каждый день с утра до ночи он носился по профсоюзам, по предприятиям и на месте входил во все мелочи производства и жизни рабочих: устраивал экстренные заседания, улаживал конфликты, крыл матом лодырей и записывал на красную доску героев труда. Стремительно врывался в учреждения, в хозорганы, продорганы, пухом взбивал бумаги, приказывал, требовал, зажигал, вызывал бури восторгов. И никогда не был измучен, не знал переутомления, только в глазах неугасимо горели огоньки лихорадки.

Вот чем вошел он в души рабочих!

Жидкий всегда радостно встречал Глеба, и азиатские ноздри его дрожали от волнения. А Глеб с задранным шлемом кричал в негодовании:

— Когда же мы, товарищ Жидкий, доберемся до этих крыс в совнархозе? Ведь на каждом шагу — саботаж, на всякую мелочь приходится затрачивать не часы, а дни, недели... Хоть бы для острастки схватил предчека за шиворот какого-нибудь прохвоста... Вызови Шрамма, товарищ Жидкий, и сдери с него желтую шкуру...

Жидкий выходил из-за стола и дружески подхватывал его под руку.

— Бушуешь, громобой!.. Зачем так много огня? Ведь сгоришь, надорвешься... Скоро же ты забыл, как работал в армии. Надо уметь руководить — организовать и расставить людей. Бери пример с Бадьина.

— Сам бери пример с Бадьина, ежели завидуешь ему.

— Не хочу.

— А мне вот охота всех этих Шраммов и Бадьиных выгнать из кабинетов и запрячь их в живую работу. Ведь ты подумай, товарищ Жидкий, какая механика: заводоуправление спаяно с совнархозом, совнархоз кивает на заводоуправление, заводоуправление — на совнархоз, совнархоз — на промбюро, на главцемент... И ничего в этой свалке не разберешь. Как же тут не беситься, не бушевать?.. С каким удовольствием растоптал бы я этих мокриц!..

— Ничего, друг... и до них доберемся...

— Да ведь силы напрасно сгорают — силы и время. А какой это дорогой материал!..

Жидкий смеялся и хватал Глеба за плечи:

— Родной мой, я и сам бушую, у самого душа горит... Может быть, поэтому я и люблю-то тебя, этакого черта... Но не в этом дело, сударь мой: нельзя размениваться на мелочи. Не забывай, что мы — коммунисты; мы совершаем революцию, социализм строим. — А это — огромная, страшная борьба. На нашем пути — миллионы препятствий: и открытые и скрытые враги и множество всяких пережитков... А потом — разруха, голод... Все приходится делать заново и по-новому. Это не простое восстановление, не ремонт — нет, — это созидание такой системы жизни, о которой веками мечтало человечество.

— А вот поэтому я и бушую и буду бушевать, товарищ Жидкий... Нельзя не бушевать...

Жидкий смеялся.

— Ты готов, Чумалыч, потрясти весь мир...

— Не возражаю. Потрясаем и будем потрясать.

— Черт возьми, Чумалыч! Какое счастье жить и бороться в наши дни! Ведь мы будущее воплощаем в настоящем. Мы несем это будущее в себе. И как радостно сознавать, что всюду с нами — Ленин, что мы — его современники, что мы постоянно чувствуем его дыхание...

— И еще, товарищ Жидкий... что мы поэтому и ответственность несем за каждый свой шаг и за каждую минуту. Ведь счастье-то без ответственности не бывает.

Глеб уходил от Жидкого приподнятым и чувствовал себя освеженным и еще более сильным.

На заводе электромонтеры приступили к работам по ремонту электросистемы. В рабочих жильях ввернули лампочки (из заводских хранилищ), и их пузыри заблестели выпуклой улыбкой отраженных окон. Взволнованно улыбались лампочкам женщины и дети, и голодная пыль таяла на лицах рабочих от радостного предчувствия.

В слесарном цехе уже не клепали зажигалок. Там шла иная работа: в вихре железного скрежета, свиста,

шипенья, звона опять воскресали к жизни детали машин. Из цеха в машинные корпуса и опять по двору в цех, навстречу друг другу, в синих блузах, отливающих медью, шагали рабочие. Не было только Лошака и Громады: у них своя забота — завком. И в завкоме, в подвале под заводоуправлением, в комнатах, насыщенных цементом и махоркой («дюбек», от которого черт убег»), толпился народ. Люди шагали из завкома — в завком, из дверей — в двери. Шли хлопоты об усилении пайков, распределялись силы. У всех на устах был бремсберг. Каждый день ждали нарядов на жидкое топливо.

Глеб забегал в цеха, хватался за инструменты, резал, пилил, сверлил, точно хотел перегнать самого себя.

Часто заглядывал к Брынзе, и Брынза встречал его криком:

— Хо-хо, командарм!.. Дело идет... Топлива, топлива, командарм!.. Только — топливо, больше ничего!.. Если ты не достанешь его за эти два дня, я взорвусь вместе с дизелями...

А между машин бренчали металлом его помощники, похожие на него. Он подмигивал, кивал в их сторону кепкой и радостно скалил зубы.

— Видишь? Ребята заработали с жаром. Забыты, друг, пустоболт и чехарда этих лет... Вот что значит сила машин. Пока живы машины — не убежать от них никуда. Тоска по машине сильнее тоски по зазнобе...

И опять кричал на весь корпус:

— Топлива, топлива, друг мой дорогой!.. Десять цистерн!.. Для первого разу — довольно. Десять цистерн!..

Вместе с Клейстом, с техниками и рабочими каменоломен Глеб шагал по ущелью, по площадкам разработок, заросшим травою. Важный, молчаливый, с провалами в глазах Клейст исследовал старые бремсберги. Двое техников из старых служак по привычке шли на два шага позади Клейста и бросались к нему с рабской готовностью по первому немому кивку головы. Он не смотрел на Глеба и как будто не замечал его около себя, но Глеб видел, что Клейст знает только

его. И когда Клейст говорил с техниками, Глеб знал, что технорук говорил только с ним, с Глебом.

Решили: исправить магистраль и от верхней площадки разработок поднять линию бремсберга до перевала, на высоту восьмисот метров.

Как-то сидя в своем кабинете над материалами и сметами (окно уже было открыто), Клейст сказал, утомленно откидываясь на спинку стула:

— Если вы гарантируете, Чумалов, что сметы будут полностью проведены и рабочие руки обеспечены, мы сможем с успехом выполнить работы в течение месяца.

Глеб засмеялся.

— Ну, тут мы с вами не сойдемся, Герман Германович. Какое — месяц! Максимально — десять рабочих дней! Пять тысяч рабочих — к вашим услугам. Материалы по первому требованию — через заводоуправление. Не месяц, а только десять дней, товарищ технорук.

Клейст пристально взглянул на него и впервые бледно улыбнулся.

Бондарный цех стоял ненужным сараем: стеклянная крыша побита камнями. На переплетах рам, на уцелевших стеклах лежали палки, клепки, обломки обручей и всякая дрянь. А верстаки, трансмиссии, диски оскаленных пил покоились в ржавой коросте и были покрыты инеем — пылью с гор и шоссе. И всюду разливался затуманенный свет: не от этого ли верстаки, пилы, недоделанные бочки были сизы и прозрачны, как лед?

Как-то мимоходом завернул Глеб и сюда. Раньше здесь стружки горели золотом, и бондаря, тоже в стружках и искрах опилок, вперегонки суетились у своих верстаков.

Глеб не пошел дальше: он не любил пустоты и безлюдья. Будет день — придет черед и этому месту: опять запылают стружки, опять полетят брызги опилок, опять пилы вспомнят свои молодые песни...

Он уже хотел повернуть обратно, но вдруг увидел Савчука. Бондарь сидел спиной к Глебу за своим старым верстаком, оглядывал его, пробовал прочность,

бил кулаком, а верстак скрипел и кашлял, как дряхлый старик.

— Так, так, старина!.. Не забыл еще? Чуешь?..

Он подошел к пилам и погладил льдистые диски широкой лапой, и они зазвенели ему далекими вздохами, будто сквозь сон.

— Ну-ну, девчатки!.. Поглядим, какие будут ваши песни... Ждите, скоро придут женихи — будут плодить с вами бочары, — не бабам на капусту, а во все края земли... Они понесут не капусту, а цемент на стройку... Ну-ну, холостые, не плачьте!..

Глеб тихо вышел из цеха и засмеялся, ласково оглядываясь на дверь бондарни.

...Днем, когда камни и рельсы плавились на солнце, а пустынный завод молчал холодной пылью, паровоз, бросая в небо облака, толкал длинный состав чумазых цистерн с бензином и нефтью. Навстречу, из ворот, в длинных блузах, крича и махая руками, вышли рабочие.

2

Прыжок через смерть

В исполкоме была получена экстренная телефонограмма, что волпредисполком Борщий отхлестал нагайкой начальника окружной милиции Салтанова, посланного в помощь Борщию по сбору продразверстки, а Салтанов стрелял в Борщия. Сообщалось, что Салтанов с отрядом красноармейцев производил облавы на казаков и городовиков, выгребал зерно из амбаров, выводил последнюю животину из катухов. А потом, когда подводы под конвоем красноармейцев двигались к исполкому, оркестр музыкантов трубил марш. За возами шли хлеборобские бабы, бились головами о телеги и выли вместе с коровами и овцами. И вот под эту музыку произошла в волисполкоме свалка между Борщием и Салтановым.

Бадьин читал телефонограмму с обычным спокойствием, а секретарь Пепло, ожидавший приказаний у стола, румяно улыбался.

— Вот дураки!.. Наскочил черт на дьявола. Распорядитесь, товарищ Пепло, чтобы сейчас же подали фаэтон. Я сам поеду и разберу дело.

— Слушаю-с.

— Кстати, протелефонируйте в окружком, товарищу Чумаловой, чтобы она немедленно явилась сюда. Она запрашивала о подводе в ту же станицу — я ее отвезу.

— Слушаю-с... Сообщить, что вы поедете вдвоем с товарищем Чумаловой?

Секретарь Пепло вздрагивающими веками смотрел на Бадьина и улыбался.

Предисполкома поднял глаза на Пепло, и секретарь отступил от стола.

Как только ушел секретарь, Бадьин встал и прошелся по комнате. И уже не было в нем обычной тяжести и властного бесстрастия: был он строен, кряжист, с упругими мускулами и упрямым поставом головы.

А в женотделе Мехова догнала в коридоре Дашу и под руку проводила ее до выхода.

— Вот что, Даша: не послать ли вместо тебя кого-нибудь из делегаток? Ты ездишь в командировки каждую неделю, а те только болтаются дома. Теперь очень участились нападения по дорогам. Каждый раз, когда ты уезжаешь, я все время боюсь за тебя...

— Не городи чепухи, товарищ Мехова. Какие же мы будем к черту женотделки, ежели у нас душа в пятки уходит от малейшей опасности?

Поля тревожно взглянула на нее и остановилась. А Даша ласково тряхнула ее руку и быстро вышла на улицу, взмахивая самодельным портфелем (там — все: и бумаги и хлеб).

У подъезда исполкома блестел черным глянцем фаэтон, и бородатый кучер на облучке курил от скуки и вытирал нос широкой полою.

На бульваре, загаженном мусором, валялись в пыли двое мальчишек в изорванных балахончиках, с опухшими лицами. Дымилась над ними пыль и таяла в бурых ветвях акаций.

Даша остановилась у фаэтона, поглядела на бульвар, потом в открытое окно кабинета предисполкома, потом опять на бульвар.

Чьи это детишки? Что они здесь делают, беспризорные? Чего смотрит милиция, и почему так слепа и безрука деткомиссия? Или сама она беспризорна, как эти несчастные дети?

Она подошла к ограде бульвара и долго смотрела на возню чумазых ребят.

— Ребятки, а ну-ка — сюда!.. Возьмите вот... очень свежий хлеб... Ведь голодные же, малыши!..

Мальчики насторожились и быстро вскочили на ноги. Но тетка улыбалась им ласково, по-домашнему, и была совсем не страшная. А главное — в руке большой кусок хлеба. Повязка наводила страх (они давно знают, какая сила в этой повязке), но хлеб был свежий и издали опьянял сладким запахом.

— Да, да... иди, а ты — в приют... знаем... хорошая живодерня.

Один из мальчат встряхнул лохмотьями и бросился наутек. Даша засмеялась и разломила хлеб пополам.

— Да идите же, поросята!.. Зачем мне вас — в приют?.. Берите хлеб и удирайте...

Тетка такая веселая и ласковая (если б не красная повязка!), и хлеб — золотой, как мед. Ребята верили ей и не верили.

Переглядываясь, они трусливо подошли к ней и издали протянули руки. Даша дала одному, дала другому. Хотела погладить их по кудлатым волосам, но они взапуски побежали по бульвару.

...Нюрка — в детдоме, а чем она счастливее этих голых мальчат? Однажды Даша увидела, как Нюрочка вместе с другими ребятами копошилась в свалке на задворках столовой нарпита. Ей тогда почудилось, что Нюрка уже умерла, что она, Даша, — уже не мать ей, что Нюрка брошена на голод и муки по ее, Дашиной, вине. И случайные ее ласки в детдоме — не ласки матери, а пустоцвет. И от самой свалки до детдома она несла Нюрку на руках, а сердце рвалось от боли.

Бадьин стоял на тротуаре.

— Товарищ Чумалова, садись — едем.

Не ожидая ее, он вскочил в фаэтон, и экипаж заколыхался под ним всеми рессорами. Даша села рядом с ним и почувствовала, как его бедро упруго придавило ее своей тяжестью.

Бадьин уже не видел ее — был замкнут, холоден и суров, как обычно.

— На автомобиле не проедешь. В горах даже на этой трясогузке придется пробираться черепашьим шагом. Ты не боишься бандитов? Я ничего не беру с собою, кроме нагана. Может быть, взять конных красноармейцев?

Даша взглянула на него — не боится ли сам Бадьин? Но лицо его было спокойно и неприятно самоуверенно.

— Не знаю, как ты, товарищ Бадьин, а я привыкла ездить без провожатых.

— Трогай, товарищ Егоров!

А товарищ Егоров испуганно взглянул на предисполкома, что-то хотел сказать, но не решился. Он крякнул и заиграл вожжами.

И пока ехали по городским мостовым, оба молчали, и Даше было необычно приятно и весело качаться в удобной и мягкой качели.

С тротуара закивал Сергей и дружески заулыбался. А Жук как увидел их в фаэтоне, так и остановился, пораженный.

Бадьин брезгливо скривил толстые губы в усмешку.

— Не выношу этого типа...

— Это — чванство, товарищ Бадьин. Товарищ Жук — хороший токарь и крепкий коммунист.

— Товарищ Жук — просто лодырь и склочник. Таких надо обязательно гнать из партии.

— Нет, товарищ Бадьин: товарищ Жук — хороший... он откровенно говорит правду. А когда он изобличает— вы все сердитесь. Разве это—дело? И разве не правда, что вы, ответработники, видите рабочий класс только из своего кабинета?

— Ты ошибаешься. Кабинет ответработников — ближе к рабочему классу, чем такие сутяги, как, например, твой хороший товарищ Жук. Потому что

через этот кабинет проходит всё, начиная от сложных государственных вопросов, кончая мелочами быта. В кабинете же ответработника я познакомился и с твоим мужем.

Город уже был позади. Ехали долиной; слева были пологие взгорья в виноградниках, справа — лес, еще голый, но уже туманный от лопнувших почек. Всюду двигались толпы стволов: передние уходили назад, а задние, минуя друг друга, скользили вперед вместе с фаэтоном, и казалось, что лес кружился, волновался, жил своей дремучей жизнью.

— Ну, как ты сейчас насчет семейного счастья? С одной стороны — супружеские обязанности: общая постель и грязное белье. А с другой — партийная работа. Потом у вас, кажется, есть потомство? Придется выбирать: или женотдел, или домашние заботы. Муж, вероятно, уже требует особых прав. Он у тебя — парень с большим характером.

Даша отодвинулась в угол экипажа.

— Мой муж — сам по себе, а я — сама по себе, товарищ Бадьин. Мы — коммунисты прежде всего...

Бадьин засмеялся и положил руку на ее колени.

— Ты говоришь, как все коммунистки, но у тебя это звучит несколько правдоподобнее: у тебя это бьет из нутра. Я уже знаю, как с тобой трудно найти общий язык..

Даша сбросила его руку и подобралась к самому краешку фаэтона.

— У коммунистов, товарищ Бадьин, всегда должен быть общий язык.

Бадьин опять замкнулся и отяжелел. Он отодвинулся от Даши.

И до ущелья — по-утреннему сумеречного от скал и лесных зарослей, в гремучих ручейках и кучках разноцветного щебня — они молчали и смотрели в разные стороны. Но Даша чувствовала, как волновался Бадьин: знала, что он борется с собою и не решается броситься на нее при Егорове. И она сама дрожала от ожидания и тревоги. Если бы это случилось сейчас, она не смогла бы бороться с его взбешенными мускулами: зыбкое бултыханье фаэтона по ухабистой дороге

ущелья выбивало из-под ее тела надежную точку опоры.

Ущелье тянулось на три версты, а за ним по широкой загорной долине шла укатанная дорога к станице, утопающей в садах.

Горы громоздились в утесах и крутых склонах до самого неба. Всюду — обвалы в извивах складок и кучи камней и щебня, а ребра гор стекали от вершин расплавленным металлом. Внизу, над лесом и зарослями кустарников, дрожала и волновалась дымная мгла. И небо над горами и лесом казалось голубой рекой, а облака — белыми льдинами.

Дорога виляла между скал и камней и вправо, и влево, и вниз, и вверх. Впереди был сплошной лес в путаных веревках лиан, в охапках плюща и кустарников, но как только въезжали в заросли — лес, и мшистые камни, и скалы, облитые слезами подпочвенных вод, отползали и вправо и влево, проваливались в обрывы и карабкались на утесы. Ух, какая страшенная высота! Даша жмурилась и замирала от падающего взлета скалы.

Товарищ Егоров изогнулся на облучке и взметнул бородою.

— Товарищ предисполком, зря не погнали конницу... Тут мешочников не щадят кажин день, не то ли что... Ошибку дали, товарищ предисполком...

Бадьин, замкнутый, спокойно сидел в подушках фаэтона. Даше было душно и больно от тяжести его тела и в то же время приятно, что этот человек — надежная опора в лихой час.

Бадьин усмехнулся и в упор посмотрел в бороду Егорова.

— Трусость — опаснее бандитов, товарищ Егоров. Знай свое дело и держи крепче вожжи в руках. Дорога не так плоха.

Егоров заробел и ссутулился. Он уже не чмокал на лошадей, а только дергал вожжами, крутил головою по сторонам и захлебывался от обильной слюны.

Проехали еще с версту. Даша чувствовала, как Бадьин вздрагивал всеми мускулами, и было видно, что он изо всех сил борется со своим волнением и

скрытыми порывами. Он глубоко вздохнул и схватил Дашу за плечи.

Даша закорчилась, чтобы освободиться от его рук, но Бадьин крепко стиснул ее, рванул к себе, и она на мгновение увидела его огромную голову и страшное лицо.

Их дернуло вперед и подбросило на фаэтоне. Грохнул и полыхнул к небу лес.

Даша видела, как Егоров заболтался из стороны в сторону на облучке и кувырнулся набок, на переднее колесо. В то же мгновение Бадьин оторвался от Даши, прыгнул вперед и взмахнул вожжами. Лошади забились и заволновались в дышлах.

— Стой!.. Руки вверх!.. Попались, цаповы души!..

Из-за скал и из-за черных пустот зарослей с винтовками в руках карабкались черкески и мохнатые папахи.

Даша видела только эти папахи и волчьи глаза. Близко, около нее, спотыкаясь, бежал к лошадям белобрысый казак без шапки, брызгал слюной и выл от хохота.

Даша успела только крикнуть одним коротким вздохом:

— Бадьин, гони!..

И слетела с фаэтона прямо на казака и упала вместе с ним на щебень, в придорожную ямину.

Сразу же ее раздавила невыносимая тяжесть, точно на нее навалилась большая толпа, заплясала по ней каблуками и втиснула ее в узкую щель. Били ли ее, была ли стрельба и погоня — совсем не помнила, а когда очнулась— стояла у скалы, и целая шайка дышала в нее удушливым смрадом мокрой шерсти. Ее рвали, крутили руки и драли за волосы.

— Баба!.. Одна баба осталась на нашу долю... Стыдно даже руки марать, будь она проклята!..

Фаэтона не было, и только далеко, в ущелье, будто камни катились по отвалам в каменоломнях. И как только услышала Даша этот далекий топот, сразу пришла в себя. Товарищ Бадьин — там... далеко, на дороге... Товарищ Бадьин невредим...

Через дорогу, против Даши, с задранной ногой на

скалу (нога босая, в опорке), в ворохе кучерского кафтана, лежал Егоров, а на самой дороге — растоптанная шапка. Волосы, ухо и клок бороды заливались кровью.

За ребром утеса фыркала и брыкалась лошадь и гремела удилами. Туда и оттуда перебегали в одиночку казаки с обалделыми лицами.

— Веди сюда!.. Какого там черта они голову морочат?..

Одна усатая папаха остановилась около утеса и вытянулась с ладонью у шапки и локтем на отлет.

— Баба, господин полковник... Хай повисють ее на ясени и — байдуже. Она, бисова душа, Лымаренку раком поставила... Разрешить, господин полковник...

— Веди, не разговаривай... дубина!.. Вместо нее я вас перевешаю, трусов. Только на баб ловкачи, мерзавцы!..

Оравой, путаясь в винтовках, поволокли ее через камни, ямины, по траве и поставили прямо перед лошадью, а лошадь бешено храпела и выкатывала глаза. Даша почувствовала влажный, горячий запах конского пота.

Она стояла прямо и смотрела на полковника. А полковник, похожий на калмыка, тоже смотрел на нее. Он был в черкеске, с серебряным поясом в висюльках, в серебряных погонах, в плоской мерлушковой шапке-кубанке. Лицо грязное, давно не бритое. Длинные черные усы покрывали и губы и подбородок.

— Отставить! Два шага — назад!

Даше стало легко и вольно. Воздух сразу перестал пахнуть мокрой шерстью, и она поняла, что между этим офицером на коне и шайкой она — одна. Платок у нее был сорван и затоптан в сутолоке. Бледная, с замирающим сердцем, Даша трепетала неудержимой дрожью.

— Стриженая... Коммунистка?

Даша смотрела на него и молчала.

— Кто ехал с тобой в фаэтоне?

— Товарищ Бадьин... предисполком...

— Предисполком? Это по-каковски?

— А по-таковски... по-русски...

— Врешь. Русский язык не такой. Этот ваш жаргон — не то жидовский, не то воровской...

— У нас, в Советской России, воры не плодятся.

— Это ново... Почему же?

— А мы беспощадно стреляем их.

Позади грохнул артельный хохот.

— Вот, бодай ее, бисова баба!.. Стрегочет, скаженная, как сорока.

Полковник не отрывал глаз от Даши и усмехался.

— А у вас все такие коммунисты, как этот губернатор? Разве полагается бросать своих товарищей в опасные моменты?

— Ничего подобного. Это — не он... Это я сама...

Скулы офицера вздрогнули, усы зашевелились. Он улыбался.

— Вот как!.. Это что же — с расчетом на нашу глупость?

— А это дело ваше, как понимать... Сделала — и конец!..

Полковник жвыкал нагайкой и глядел на Дашу с улыбкой калмыцкого идола.

А Даша все время чувствовала необычайную легкость. Грудь ее дышала ровно, спокойно, и голова была точно пустая — ни мыслей, ни жалости к себе, ни страха. Будто она никогда не была так свободна и молода, как сейчас. И удивилась: почему это так тянет ее к себе вон та одинокая сосенка на скале, у самой вершины горы (ой, как высоко!), почему она впервые видит такой густой воздух над склонами гор и почему он в лиловых переливах? И не сосенка здесь важное, и не воздух, а что-то другое, родное, крылатое, чему она не может дать имени...

— Ты говоришь смело, стриженая. И держишь себя достаточно весело. Такой случай у меня — первый. Ваши, когда они мне попадаются в руки, извиваются, как глисты... Может быть, ты рассчитываешь, что я тебя отпущу — как женщину? И не думай: я сейчас тебя повешу.

— А мне все равно... Я на то и шла...

Скулы полковника набухали и вздрагивали, а маленькие глазки искрились от смеха.

— Я — ваш непримиримый враг и каждого коммуниста уничтожаю без всякой пощады. Но ты пока держишь себя неплохо. Любопытно, как ты пойдешь под петлю...

Не отрывая от нее глаз, он поднял к голове нагайку.

— Байстрюк!..

Из толпы вразвалку вышел бородатый казак в черной лохматой папахе. Весь он был покорный, немой и тяжелый.

Он взял Дашу под руку, и рука его тоже была тяжелая и рыхлая. И не рука ее вела, а она несла руку, и эта рука казалась ей чудовищной.

Никак не могла оторвать своих глаз Даша от сосенки, которая реяла в огневом воздухе (ой, как высоко!). Так хорошо и пьяно пахнет весной, и листочки распускаются на деревьях светлячками и пересыпаются радугой. И ручеек играет погремушками в камнях. А тяжелая рука невыносимо тянет вниз. Голова такая свежая у Даши, и нет мыслей, а вместо мыслей — лиловые переливы воздуха. И оттого, что давила чужая рука, что-то хотела вспомнить Даша и никак не могла: что-то нужно вспомнить очень важное, неотложное, полное огромного смысла. Какой воздух хороший — весна! А сосенка вся в полете — нагнулась над пропастью и расправила крылья (ой, как высоко!..). Да, да... в этом было все... Товарищ Бадьин — жив. А она, Даша, — былинка: была — и нет ее...

Рядом с нею сопел и сморкался лохматый казак, но она не видела его, а только — воздух и густые лиловые глубины.

Веревка шоркнула где-то далеко, за шеей, но она как будто не слышала и вовсе не заметила, как толкнул ее казак.

Да, да... Глеб... Ведь это было так давно!.. Милый, глупый Глеб!.. Такой он большой и родной, а такой глупый!.. Вот он промелькнул, и — не жалко. Ой, как далеко!.. Лиловые глубины, и сосенка, и — огненный дождь в весенних деревьях...

Опять где-то рядом шоркнула веревка, и опять — тяжелая рука навалилась на плечо.

Она шла обратно. Впереди нависал пластатый утес в капели, а за ним дымились заросли леса, а за лесом, в воздушной глубине, до самого неба взлетала зеленая гора.

Полковник смотрел навстречу Даше пристально, исподлобья и улыбался усами.

Кроме нее и этого человека на коне, никого не было.

— Молодец, стриженая!.. Этот номер у тебя вышел недурно. Особенно здорово, что ты женщина. Можешь идти... Тебя не тронет никакая собака.

Он с размаху ударил нагайкой коня. Екнула селезенка, и лошадь в два прыжка исчезла в кустах.

3

Цыпленок дутый

Даша не помнила, как вышла из ущелья. Только одно осталось в памяти, ярко и радостно: серенькие птички-хохлатки на дороге. Упорхнут вперед и — опять купаются в пыли. Поднимут на нее хохолки, пикнут и — упорхнут.

Но как только распахнулась перед ней предгорная ширь с пологими увалами и долинами, ей стало страшно. Одинокая, беззащитная среди этой пустыни, она только сейчас почувствовала тот слепой ужас, когда теряешь рассудок, когда безумно хочется бежать с отчаянной надеждой спастись от гибели. Спрятаться бы где-нибудь под кустарником или провалиться в неожиданную яму, заросшую бурьяном, чтобы дождаться мирных людей, которые пойдут или поедут по шляху... Но всюду было пусто и безжизненно. Ей казалось, что позади цокали копыта — множество копыт, — и она бежала изо всех сил, задыхаясь от страха. Она оглядывалась, но на дороге никого не было. И когда останавливалась, изнемогая от усталости, топот копыт обрывался и ее охватывала звенящая тишина.

Позади одна за другой громоздились горы, в обрывах, скалах и зеленых склонах; широкими провалами чернели ущелья, мохнатые от дремучих лесов.

Вдали, за волнами холмов, на высоком взгорье волновалась в мареве станица и белела столбом колокольня с одним черным глазом наверху. А за станицей, за взгорьями туманно зубрилась гряда горных хребтов.

Кое-как Даша поднялась на холм. Станица издали казалась безлюдной и угрюмой. Она была слепая, но видела степными глазами, как волчица. Это она, бородатая, папашная, наложила на нее страшную руку Байстрюка.

Даша споткнулась о камень и упала в дорожную пыль. Очнулась она от боли в коленке. Похрамывая, отошла в сторону и села на траву, около пашни.

Высоко над головою — синее небо и облака, а кругом — дымные холмы и тишина необъятных далей.

Вправо и влево зеленела молоденькая трава, прозрачная, с золотой пылью, и горели желтые цветочки одуванчика — маленькие, недавние, как цыплята. Они шевелились и смеялись, такие хорошенькие и родненькие...

И как только увидела Даша эти цветочки, она вскрикнула и захлебнулась слезами. Потом сразу же успокоилась — замолчала, но встать не могла: не было сил. Она отлежалась немножко, опять встала и пошла, прихрамывая, но не по дороге, а по траве.

И тут впервые услышала жаворонка. Она поглядела на прозрачные перышки облаков, вздохнула и улыбнулась.

Галопом вынырнули из-за холма и загрохотали копытами конные красноармейцы с винтовками за плечами. Впереди во весь опор мчался смуглый человек в черной коже.

Красноармейцы издали кричали вразнобой и махали руками.

Даша тоже закричала и побежала навстречу Бадьину.

Бадьин осадил коня и на бегу соскочил с седла.

— Даша!

Она обеими руками схватила руку Бадьина, засмеялась и заплакала.

Их окружили красноармейцы и вперебой кричали не поймешь что.

Один из верховых долго смотрел на нее (скуластый, большеротый, с глазами далеко подо лбом), потом так же молча слез с лошади и положил руку на ее плечо.

— Товарищ!.. Вот — конь... Садись... Давай подсажу...

Даша опять засмеялась, поймала руку красноармейца и так же крепко пожала ее, как руку Бадьина.

— Спасибо, товарищи!.. Я и не знаю... какие вы хорошие!.. Из-за меня погнали целый полк...

Красноармейцы, сдерживая коней, весело смотрели на нее. А большеротый посадил ее на седло, сдернул стремя с ноги другого красноармейца и вспрыгнул на круп его лошади.

Бадьин ехал рядом с Дашей и всю дорогу заботливо поддерживал ее на кручах, пробовал подпруги, узду и поводья. От этой его заботливости Даша улыбнулась ему благодарно.

— Ну, так что же было с тобой? Рассказывай...

— Да ничего, товарищ Бадьин... Ну, покочевряжились и бросили. С бабами им, что ли, валандаться? Отшили, и — всё...

А Бадьин пытливо смотрел на нее знающими глазами и мягко улыбался (такой улыбки еще никто не видел у предисполкома). И до самой станицы ехал рядом с нею нога об ногу и все заботливо трогал седло — крепко ли сидит Даша.

У волисполкома, на площади перед церковью, стояли табором телеги. Лошади мотали хвостами, коровы вертели рогатыми мордами. Базарно толпились и орали казаки, выли и кричали женщины. Мальчишки в папахах и без папах гоняли коники и играли в чехарду. И где-то близко — не то на дворе исполкома, не то в толпе — пьяный голос хрипло надрывался:

Цып-ле-нок дутый...
На-гой, ра-зу-тый...

Голос стонал, задыхался, а все-таки выкрикивал одни и те же слова.

Борщий, в черкеске, с кинжалом, сидел за столом и старательно скрипел пером по бумаге. Он встретил Дашу нагловатыми глазами и засмеялся.

— Ага, счастье твое, что смерть оказалась с норовом...

Бадьин молодо подошел к столу и сел на стул.

— Товарищ Борщий, потребуй сюда Салтанова.

Борщий упруго, по-женски стройно, подбежал к двери.

— Товарищ Салтанов, предисполком требует.

И с прежней грацией возвратился на место.

Вошел Салтанов и стал у стола. Бадьин холодно, сквозь зубы, сказал, пристально глядя на него исподлобья:

— Товарищ Салтанов, ты отстранен от исполнения порученного тебе задания и арестован. Завтра вместе с Борщием отправитесь в город. Я передаю дело в ревтрибунал.

Салтанов приложил ладонь к картузу и вытянулся, глядя на Бадьина выпученными глазами.

— Я выполнил строго и точно все директивы...

Бадьин отвернулся и молча взглянул на шапку Борщия.

— Товарищ Борщий, ликвидируй всю эту музыку. Сделай так, чтобы использовать этот факт в нашу пользу. Враждебное настроение должно быть сломлено коренным образом. Пойдем на площадь.

И когда шли трое — Бадьин, Борщий и Даша — к возам, казаки в папахах, мужики и бабы глядели на них провалившимися глазами. Возы стояли здесь целые сутки, а около них толпились мужики. Ночью они сидели у костров, как цыгане.

Бадьин вспрыгнул на телегу и оглядел толпу.

— Граждане казаки и крестьяне!..

Бабы закликали и завизжали около возов и заглушили его слова.

Борщий тоже прыгнул на телегу, взмахнул рукою и крикнул по-армейски:

— Да мовчать же, бисовы жинки!.. Слухай, шо буде балакаты выщий предисполком... Не регочить же,

граждане, бо нема ще горилки... А коли вона буде — тоди рак в барабан заграе...

Этот окрик Борщия (о, Борщий — свой, станишный казак!) угомонил толпу.

— Граждане казаки! За незаконные действия начальник окружной милиции мною арестован. Запрягайте лошадей и отправляйтесь со своим добром по домам. Дополнительная норма разверстки, которая наложена на вас, по распоряжению власти, для Красной Армии, для ваших же сынов, которые бьются с панами и генералами, будет с вас снята. Я вам говорю прямо. Не о войне теперь наша забота... Мы не хотим, чтобы поля поливались кровью. Наша забота о народном хозяйстве. Но не наша вина, а наша беда, если паны и генералы ни на час не дают нам спокойного вздоха. Не о крови забота, а о земле. Не о людях для боя, а о работниках для полей, о худобе, о мирном труде... Не продразверстка — она отменяется, она не будет, вы о ней не услышите больше! — но амбары, полные хлеба, распашка всех ваших угодий... Товары для станиц и деревень... свободная торговля... право на труд и на отдых...

Бадьин говорил о продналоге, о кооперации, о демобилизации Красной Армии, о железе, о мануфактуре, о бакалее. И тут же крикнул о товарище Ленине, который всю свою жизнь отдал рабочему и крестьянину.

Бадьин вскинул рукой и еще хотел что-то сказать, но толпа заволновалась, закричала, заликовала... Люди полезли на возы и к преду с радостными лицами.

И когда все успокоились и отхлынули, когда заскрипели возы, Борщий добродушно сказал Бадьину:

— Так что прошу, товарищ Бадьин, освободить из-под ареста товарища Салтанова. Побесились и — баста. Оба стоим друг друга.

Бадьин холодно ответил:

— Товарищ Борщий, всякая склока и ошибки ответработников должны служить уроком не только для них самих, но и для других товарищей. Будет сделано так, как я сказал. Сдай дела надежному товарищу. Завтра выедешь со мною в город.

Около них, качаясь на согнутых ногах, пьяненький казак, размахивая шапкой и надрываясь, выкрикивал, как малохольный:

Цыпленок ду-тый,
Нагой, разу-тый,
Пошел на площадь погулять...
Его поймали,
Арестовали...

...Вечером Даша была у женщин. Был с ней и Бадьин. Баб было много на радостный день. Даша успешно выполнила задание. Ох, со станичными бабами работа — самое проклятое дело!..

И никогда Даша не видела Бадьина таким, как в этот вечер. Когда она встречалась с ним взглядом, вспыхивали в памяти золотые одуванчики при дороге. И в этих его глазах видела Даша немой восторг и неугасающий огонь любви к ней. Вплоть до самого сна он не отходил от нее ни на шаг, пристальный от заботливой ласки — покорный, укрощенный и мягкий. И Даше было почему-то смешно: чувствовала, что Бадьин опустошен, что сила его перелилась в нее, в Дашу: стоит ей приказать Бадьину, и он покорно выполнит все, чего она захочет.

IX. БРЕМСБЕРГ

1

Массы

Чувствовал Глеб не каждого отдельного человека, а всю людскую лавину и за собой и впереди себя. Обмываясь потом, он выворачивал киркою цементный сланц и шпат. Муравейные толпы взмахивали тысячами кирок и покрывали всю гору — от труб и корпусов завода, от каменных отвалов до обелисков электропередачи.

Клубастые облака гуляли над морем, и по зелени гор порхали роями первые весенние цветы. Опаловым

дымом горели кустарники в камнях и расщелинах. Здесь — и вправо и влево — вздымались горы, стекающие вниз, там расстилалось море, небесно-голубое в безбрежности. И между горами и морем — воздушная глубина.

Клейст, опираясь на толстую палку, сам лично руководил массовыми работами, и степенные техники и юркие десятники услужливо дежурили около него. А он, сутулый и важный, спокойно и холодно бросал неслышную команду.

...Инженер Клейст — преданный спец Советской республики... Рабочий Глеб Чумалов способен быть другом инженера Клейста... Разве это — не победа?

Клейст остановился недалеко от Глеба, сосредоточенный в себе, озирая весь размах горных работ, и в глазах его Глеб видел гордость и вспышки волнения.

Глеб заломил шлем на затылок, смахнул брызги пота с лица и весело улыбнулся.

— Ну что, Герман Германович?.. Помните, вы говорили, что эта махина — на месяц труда? А глядите, что делают люди, когда одушевлены энтузиазмом... Они вышли третий раз, а работы подходят к концу...

Клейст улыбнулся и, сохраняя привычную важность, сухо проговорил:

— Да, да. С таким размахом работы можно делать чудеса. Но это — неэкономная трата сил: здесь нет планомерности и организованного распределения труда. Энтузиазм — как ливень: он непродолжителен и вреден.

— В разрухе только с этого и нужно начинать, Герман Германович. А когда заложим крепкий фундамент и приведем все в порядок — вот тогда будем планомерно учиться процессу производства. Впрочем, энтузиазм — не ливень, а огонь, Герман Германович... огонь души... и он у нас не угаснет...

Опираясь на палку, Клейст пошел в гору, к горящим обелискам электропередачи. Потом остановился — подумал.

— Что ж... может быть, это — новый день... Может быть, начинается другая жизнь... невиданная и счастливая...

Нестерпимо пахло каменным накалом и жженой травой. Во рту и глазах горела пыль.

В горах звонили колокола.

...Хорошо. Все огромно и беспредельно. Солнце — живое, как человек. Оно насыщает кровью каждую клеточку тела и воспламеняет желаниями и верой в будущее.

Четкие линии рельсов струились по ребрам шпал в пропасть — на дно разработок, и вверх — в паутинные челюсти электропередачи. Пройдет час — напрягутся железные струны канатов, лягут раскаленными нитями, и медными трубами запоют вагонетки — и вверх и вниз — и вверх и вниз...

Кудрявая Поля Мехова, опираясь на лопату, утомленно карабкалась в гору. Она спотыкалась, вскрикивала и смеялась.

Лухава стоял на каменном утесе между обелисками, в черной блузе без пояса, с открытой грудью, и отдавал какие-то распоряжения, сигнализируя обеими руками.

— Ой, как же я устала, Чумалов!.. Поддержи меня, слабую женщину...

Поля положила руку на плечо Глеба. Он подхватил ее под мышки и посадил на каменный выступ.

Мимо шла Даша с железной лопатой на плече. За нею — толпа женщин тоже с лопатами. Они поднимались к электропередаче для штопки путей.

— Вот она, моя Дашок... поводырь! Славная когда-то была жинка...

Он обнял ее на перепутье и прижал к себе.

Даша засмеялась и, играя, сорвала шлем с его головы и бросила в сторону. Потом вырвалась и с хохотом побежала вперед. Он хотел пуститься за нею, но раздумал и только поглядел ей вслед. Постоял, медленно спустился вниз по пластам камней и поднял шлем.

Поля лукаво улыбалась и, вздыхая, сказала с завистью:

— Даша — настоящая большевичка, и я ее очень уважаю. Но в тебя она влюблена, как невеста, Чумалов.

— Когда это тебе приснилось, товарищ Мехова?

— Как! Неужели ты этого не замечаешь?

— Я пока испытал другое, — огрызнулся Глеб. — Со мной она поступала так, как с мужьями не поступают.

— Да не может быть!.. — засмеялась Поля. — Не поверю, Чумалов. Уж не проявил ли ты деспотического нрава, как ревнивый муж...

Он смутился и, не выдержав ее насмешливого взгляда, отвернулся.

— Эх вы, мужчины, мужчины!.. Как крепко живет в вас домостроевщина!.. Нет еще в вас мужества уважать женщину...

— Извиняюсь, это ко мне не относится...

— Вот именно к тебе, дорогой товарищ...

...В тот вечер она, Даша, говорила с ним не так, как неделю назад. Неумело и скупо рассказала ему о своем приключении в ущелье. При свете электрической лампочки она казалась молодой девушкой: вся сияла от изумления, а широко открытые глаза смотрели на него доверчиво, с улыбкой нежности. А когда рассказала, как она спрыгнула с фаэтона и как повел ее бородатый дядя на удавку, Глеб вскочил со стула и забегал по комнате. Не страх за Дашу, не злоба на Бадьина, а удивление перед выросшим ее духом потрясли его. И одно он глубоко, навсегда почувствовал: с этого часа никогда он не скажет ей грубого слова и не подойдет к ней ни с обидным допросом, ни с назойливой лаской. Он слушал ее, вздрагивал и не отрывал от ее лица своих глаз.

— Дашок!.. Ведь это же была верная смерть!.. Я не знаю, какое чудо спасло тебя... Ты права, голубка: мы, должно быть, не знаем не только друг друга, но и самих себя...

И во тьме, когда они лежали врозь (он — на кровати, она — на полу), Даша ласково позвала его:

— Глеб... ты спишь?

— Голубка, Дашенька!.. Разве я могу сейчас спать?..

И она ласково засмеялась, помолчала и вдруг лукаво спросила:

— Ну, а если, предположим, Глеб, я спала тогда с Бадьиным? Что ты на это скажешь?..

Глеб удивился: Даша не ранила его этой жестокой шуткой. Она испытывала его — испытывала в такие минуты, когда невозможно кривить душой, когда он обязательно должен выразить себя или человеком, или зверем. Чувствовал он в тот миг только одно: Даша стала дороже и больше жены, и сердце его волновалось нежностью к ней, как к новому другу, которого он не имел раньше никогда. Ему хотелось плакать от любви к ней и доказать ей какою угодно ценою, что счастье ее дороже ему всего на свете.

— Зачем ты мне говоришь это, голубка? Что бы там ни было, а ты для меня сейчас дороже всего...

Даша вздохнула.

— Я не знаю... но что-то новое произошло в моей жизни... как-то по-новому... очень хорошо... чувствую и себя и тебя...

Она помолчала немного, повздыхала, потом заметалась в постели, вскочила на ноги и тихо подошла к его кровати. Он осторожно и нежно обнял ее и, целуя, положил рядом с собою.

Савчук во главе строительных рабочих пришивал шипами рельсы к шпалам. Он взмахивал молотом с неистовством разъяренного трудом человека.

Глеб вскинул кайлу на плечо и стал взбираться в гору, где железнодорожники рубили кусты и вели трассу в камнях: они готовили путь для второй очереди.

— Бей, Савчук, сильней!.. Бей, чтобы скорее запели твои пилы в бондарке...

— Бьем, идоловы души!.. Проложим дорогу и к своим девчатам...

Крепили к шпалам последние рельсы. Канаты лежали змеями на блоках и уползали вниз, в толпы народа.

Красноармейцы, опираясь на винтовки, держали караул в седловине перевала. Над ними и вокруг них густо зеленели кустарники и туя.

Разбитый, с дрожью в конечностях, выбыл из строя Сергей. Он отошел к Меховой и свалился около нее на камни.

— Ну что, милый интеллигент?.. Не правда ли, что не всегда сладки корни коммунистического труда?

И Мехова ласково погладила его по волосам, а он улыбнулся конфузливо и виновато. С носа и подбородка капельками катился пот.

— Я переживаю, Поля, большое волнение. Такие дни — редкие в жизни. Как все огромно, какой размах и какая сила!.. Этим человек растет и делается непобедимым. Давайте посидим, Поля, и помечтаем...

2

Ставка на кровь

За шумом работы сначала не было слышно выстрелов. Красноармейцы суетились на перевале: прятались за грудами камней, перебегали один за другим в седловине и стреляли торопливо, вразнобой.

Лухава взмахивал руками и кричал, срывая голос:

— Товарищи!.. Спокойствие!.. Все — на своих местах!.. Работы не прерывать!.. Не допускать паники!..

Но тысячи людей от вершин до дна уже бежали и вниз, и вправо, и влево, падали и опять бежали. В разных местах кое-кто старался задержать бегущие толпы — поднимали руки, грозили лопатами и кирками.

Глеб вскарабкался на скалу и скомандовал:

— Товарищи коммунисты, ко мне!

Головной отряд рабочих профстроя бросился к Глебу, а за ними в одиночку и группами бежали другие.

— Сто-ой!!. Сто-ой!..

Люди неудержимо катились вниз, разбегались в стороны, в кустарники и скалы.

— Вот сволочи... не выдержали...

— Покати-лись... побежали... как крысы... Эх, народ!

— Есть всякий народ: один — вперед, другой — наоборот.

Глеб распоряжался весело и оживленно:

— Беги, товарищи, вниз!.. Савчук! Даша!.. Успокойте там людей... водворяйте обратно...

Савчук и Даша и еще несколько рабочих, схватившись за руки, чтобы сдержать друг друга, цепочкой побежали под гору.

А Глеб, приглашая рабочих взмахами руки, покрикивал:

— Товарищи, ко мне!.. За винтовками... на электропередачу!..

И быстро пошел по шпалам вверх, к обелискам. За ним хлынул целый отряд рабочих.

Металлисты и электрики работали спокойно и молча, но в глазах их вздрагивала тревога.

Лухава и Сергей раздавали винтовки и патроны, и каждый, получая ружье, не мог сдержать улыбки радости. Все одинаково переживали торжественность и важность момента и со строгими лицами вставляли обоймы и молча отходили в сторону. Только Митька-забойщик, гармонист, с синим бритым черепом, рвался вперед, к Глебу, и орал:

— А ну, дай дорогу, ребята!.. Не оттирай, просю!.. Я свое место отлично понимаю... Я, может, ждал этого хвакта горячей, чем своего рожденья...

Протягивая издали руки, он жадно тянулся к винтовке и злился, когда отталкивали его в сторону.

Через несколько минут отряд врассыпную побежал вверх, на перевал.

Поля карабкалась по камням рядом с Глебом. Он чувствовал мягкое ее плечо и слышал торопливое дыхание.

— Все-таки пошла, увязалась, товарищ Мехова... Зачем?

— А почему же мне не пойти? Почему ты должен идти, а я — нет?

— Я — другое дело, а у тебя юбка приросла к ногам...

Поля озлилась и пренебрежительно фыркнула.

Впереди, в разных местах, перебегали красноармейцы и рабочие, останавливались и стреляли с колена. Очень далеко — в море ли, за горами ли — пели сирены.

— Ведь это — пули, Глеб!.. Я уж давно их не слышала...

Глеб шел с винтовкой на изготовку, с ним рядом — Поля, тоже с винтовкой. Длинные ее кудри горели на солнце.

Диспозиция Глеба была краткой и ясной. Отряд заходит в тыл бандитам с левого фланга и выбивает их из лесочка на лысину склона, под удар красноармейцев, которые их уничтожают. Сам же он будет руководить боем с вершины горы.

— Слышишь, Глеб? Они — рядом: стреляют из-за вершины. Они шли наверняка — вызвать панику, а потом разрушить бремсберг.

Глеб не ответил. Он взбирался на крутизну, часто останавливался и оглядывался на бремсберг. Мехова не отставала от него.

Глубоко внизу густой массой шевелился народ, и из этой гущи длинной вереницей ползли вверх по шпалам целые артели и одинокие фигуры.

Куполом зеленела вершина. Железный треножник — геодезический знак — ярко горел красной ржавчиной.

Они вползли на острую грань горы. Отсюда открывалось широкое отложье в рощах и перелесках, в лощинах и взгорьях. Далеко синели другие, еще более высокие хребты, а над ними мерцали отдельные вершины, покрытые розовым снегом.

Чумалов и Поля легли у треножника — на вороха мелкого щебня. Пахло жженой травою и серным накалом цементняка.

— Я ничего не вижу, Глеб... Где они?

Поля поднялась на колени и потянулась к треножнику.

Тинькнула натянутая струнка.

Глеб дернул Полю за юбку. Мягко хрустнула и лопнула на боку скрепка. Поля засмеялась и села около Глеба.

— Крючок оборвал... битюг!.. Что я теперь буду делать?..

Она нашла где-то булавку и приколола юбку.

От вершины вправо по склону громоздилась скалистая стена, похожая на развалины древней крепости, заросшая кустарниками — туей, кизилом, шиповником.

Между скалами, скрываясь в кустах, хищно крался с винтовкой в руках загорелый казак без папахи. Он приседал, прислонялся к камням, исчезал и опять появлялся.

— Я его сейчас застрелю, Глеб... Я не выдержу...— У Поли дрожали руки и винтовка и горели глаза.

— Лежи, тебе говорят!.. а то сброшу под откос...— Глеб угрожающе вытаращил на нее глаза.

Он быстро побежал вниз, в сторону казака, и исчез из глаз Поли. Потом промелькнул в развалинах, пригибаясь к земле.

Казак остановился, дернул испуганно головой и вскинул винтовку.

Сердце билось у Поли гулко и прерывало дыхание, и ей казалось, что это рвались выстрелы в лесу, далеко под горою.

Успел ли скрыться Глеб, или его заметил казак?

Вскочить, побежать туда, к ним... Нет, не успеть... Она быстро вскинула винтовку и нажала спуск, но выстрела не слышала, только дернуло в плечо и в уши ударил воздух.

Поля вскочила и понеслась к утесам — туда, где был Глеб. Пласты скалы взрывались перед нею щебнем и пылью и обжигали щеки и лоб.

У скалы, ломая кустарники, рыча, извивались в схватке Глеб и казак. Под ногами Поли задребезжала брошенная Глебом винтовка.

С безумными глазами, обмазанный пеной и слюной, казак задыхался, хрипел, извивался в руках Глеба и тащил его за собой к откосу — в каменную пропасть.

В тот момент, когда Поля нацелила прикладом в голову казака, Глеб одной рукой обхватил его шею, а другою сковал руку выше кисти и сломал на отлет.

Казак заскрежетал зубами и взвизгнул. До дрожи во всем теле Глеб стянул туже узел на шее. Поля видела: пройдет еще миг, и оба они грохнутся в бездну. Она с размаху ударила прикладом в бок казаку. Он обмяк, замычал, и у него подломились коленки.

— Не могу!.. Каюк!..

Рука Глеба соскользнула с шеи казака и сковала другую его руку. Глазами пойманного зверя смотрел казак на Глеба и дышал запаленно, со свистом. Из носа и рта стекала вместе со слюною кровавая жижа. Дергая сожженной башкой, он захлебнулся слюною и кровью и опять промычал:

— Да пусти ж!.. Не могу!.. Сдаюсь!..

Поля вцепилась в плечо Глеба и рванула назад.

— Скорей убирайся отсюда, Глеб!.. Разве ты не видишь — мишень?

Глеб взглянул на нее непонимающими глазами и выпустил руки казака. Он тоже задыхался, хрипел и срывал с себя лохмотья рубахи. Потом схватился за кобуру, но револьвера не было.

Истерзанный борьбою казак оглянулся, вздрогнул, оскалил кровяные зубы и быстро прыгнул к обрыву.

— И-их, бисовы души, подлюки!.. Взяли казака на кочерыжку!.. Ловите казака в полете!..

Он взвизгнул и с разбегу кувырком полетел в пропасть.

Глеб побежал к утесу и увидел, как тело казака кувыркалось далеко внизу по камням, шлепалось о выступы плит, вертелось в воздухе, опять шлепалось и швырялось в разные стороны.

Рука Поли потянула его от обрыва.

Из лесочка бежали врассыпную бандиты, спотыкались, стреляли, падали, кувыркались. Грохотали выстрелы, и пыль дымилась за вершиной, где скрывалась цепь красноармейцев. Поля лежала на животе и тоже стреляла. Винтовка больно била в плечо, а она, в бурном восторге, щелкала затвором, целилась и била по прыгающим фигуркам вдали.

3

Рубильник включен

Струнно пели колеса на электропередаче, и чугунные их спицы взмахивали черными крыльями в разных наклонениях и пересечениях. Стальные канаты паутинно наматывались и разматывались на желобах ободий. Электромонтеры, рабочие и комсомольцы, во главе с Лухавой и Клейстом, смотрели на электрический полет колес и слушали воскресшую музыку машин.

Лавина человеческих масс, стекающая вниз на версту, кипела и волновалась. От самой электропередачи до дна, где громоздились пирамиды каменных отвалов, толпы стекали двумя потоками, и между ними натягивались на бесчисленных ладах четыре струны.

Со дна ущелья, вцепившись в стальной канат, ползла вверх усеченная внизу черепаха.

Нестройной толпой сходил по ступенчатым пластам с перевала отряд рабочих с винтовками. Красноармейцы занимали свои прежние места. Впереди отряда шли Глеб и Мехова. За ними несли на ружьях тело товарища.

Отряд спустился к машинам и побросал винтовки. Лица рабочих были покрыты грязью. Труп с кровавым мясом вместо головы положили на бетонную площадку. Напирая друг на друга, люди бросились к отряду.

Молчаливо, строго, с болью и страданием в лицах, стояли рабочие плечом к плечу и смотрели на лежащего в ногах убитого парня. В этой залитой кровью голове уже нельзя было узнать Митьку-гармониста. Тут же, в толпе, комсомолки перевязывали раны товарищам.

Молодой голос захлебывался от волнения:

— Эх, сплоховал, брат... Митька!.. Ничего не скажешь... А парень-то был какой веселый!..

Подходили новые толпы, застывали около трупа и вздыхали от боли.

Клейст подошел к Глебу и молча пожал ему руку.

А Даша прошла мимо и посмотрела на него влажными глазами, и в них светились новая радость и удивление.

...Вот оно, самое главное — массы... труд... крылатый полет колес... Ночью завод открыл глаза электрическими лунами, и потухшие льдистые лампочки в квартирах рабочих зажгли свои путаные нити.

Вон там, из трубных жерл, заклубятся черные облака и воздушные черепахи залетают на пирсы и сюда, на высоты, пожирать сланец в каменоломнях.

Лухава стоял около машин, что-то кричал вниз и размахивал руками.

Колеса дрогнули и остановились.

Глеб сбежал по ступеням вниз, под машины. Большая, покрытая серебристой пылью тления, стояла вровень с площадкой вагонетка-платформа.

Он опять вбежал наверх и крикнул в толпу:

— Товарищи, поднимите тело... кладите на вагонетку! С честью спустим вниз. Пусть пройдет через массы... Пусть видят все и отдадут ему последний долг.

Осторожно и молча рабочие подняли убитого и положили на вагонетку.

Кто-то ласково и жалостно просил:

— Товарищи!.. Ребятки!.. Кайлу-то его... винтовочку-то его... Рядом бы, бок о бок, товарищи!..

Глеб вышел на устои, стал между голубыми обелисками и широко взмахнул рукою:

— Ход вниз!.. Веселее!..

И вагонетка под шум голосов поплыла вниз по рельсам, как птица, воздушно и плавно.

Глеб закричал в ладони, как в рупор:

— Товарищи, это — жертва труда и борьбы... Не плач и рыдание, а радость живых побед... Скоро завод загремит огнем и машинами. Мы с вами начинаем великое строительство социализма. Да, лилась кровь, много было страданий... Много было и будет трудностей на нашем пути... Но этот путь борьбы ведет к счастью, к окончательной победе над миром насилия. Мы создаем наш мир своими руками. С именем Ленина на устах, с верой в безграничное счастье удесятерим наши силы для завоевания будущего...

А вагонетка с телом убитого парня, веселого гармониста, спускалась вниз, в толпы людей, и все с обнаженными головами встречали и провожали этот катафалк молча, с печальными и строгими лицами.

X. ВНУТРЕННИЕ ПРОСЛОЙКИ

1

Тихие минуты

Из заводской столовой Даша и Глеб вышли на шоссе и свернули в кусты, опутанные космами дикого винограда и гирляндами неумирающей зелени плюща. И только что нырнули они в молодую поросль дубков и грабов, по-весеннему сизых и прозрачных, — догнала их Поля Мехова.

— Товарищи, я провожу вас немножко. Хочется отдохнуть вместе с вами... в тишине...

Даша подхватила Полю под локоть.

— Ты у нас, товарищ Мехова, не бывала ни разу. Пойдем-ка к нам в гости. Правда, встречаемся мы на работе каждый день и как будто пригляделись друг к другу, но какие мы дома и что у нас на душе — никому невдомек.

Поля тряхнула кудрями и запуталась ими в лапчатой ветке. Она засмеялась и отломила сучок, поглядела на него и понюхала.

— Как у вас хорошо здесь! Я давно не видела леса. Пахнет землей, древесным соком... Как это было давно! будто в детстве... Здесь, в этих зарослях, чувствуешь себя глубже... прозрачнее... Там, в горах, не было грустно, а вот сейчас, от этого дубка и весеннего запаха растрогалась... Возьму под руку твоего мужа, Даша. Мы же — слабые женщины...

Она болтала, играла с ветками, смеялась, торопилась от волнения. Перебежала к Глебу, взяла его под руку и через Глеба посмотрела на Дашу.

— Ты не ревнуешь, Даша?

А Даша усмехнулась и тоже взглянула на Полю.

— Я не так уж слаба, чтобы ревновать...

Глеб почувствовал, как рука Поли прижала его руку к теплой груди.

Солнце уже догорало: оно тухло в ущербе за дальними хребтами, и небо было густое, синее, а над солнцем — огненное. Горы очень близко сползали с вершины застывшими потоками железа и меди. А вправо, из-за отложья, по крутому ребру, желтой распаханной бороздой резался бремсберг.

Со дна ущелий вверх, по кратерным впадинам, плыли фиолетовые вечерние тени. А горящие полосы и пятна на ребрах и склонах еще жарко пылали и звенели камнями. И здесь, в сизых паутинных кустах, с дорожкой, заросшей травой, предвечерняя тишина дышала хмелем весенней земли и беременных почек.

Даша шла немного впереди и ломала черные ветки.

— Какой воздух хороший, товарищи... словно мед!.. Скоро все будет в зелени и в цветах.

— Ты хорошо сказала, Даша: мы — близки только в работе, а интимно — чужды друг другу. Это — одно из наших тяжелых противоречий. Мы ничего так не боимся, как своих чувств. Стоит только взглянуть каждому в глаза, и становится жутко: они металлические какие-то. Мы всегда — под замком: днем запираем на ключ себя, а ночью — комнату.

Даша остановилась и с ласковой строгостью заметила:

— Люди подождут, милая Поля, а дело требует постоянного внимания... Не забывай, что работа-то наша связана и с опасностями и с жертвами... Сегодня ты и винтовку держала в руках, а не только лопату...

— Это ничего не доказывает, Даша... — загорячилась Поля, — ты упрощаешь вопрос. От отсутствия сердечных связей страдают многие, но не признаются, потому что боятся насмешки, неискренности и упреков в идеологической неустойчивости. А причем здесь идеологическая неустойчивость?

Даша уходила все дальше от них и ломала кончики веток. Глеб дружески потрепал взъерошенные кудри Поли.

— Ты напрасно поешь ей свои серенады, товарищ Мехова. Ее не проймешь. Я пел ей не такие песни и не так тревожил ее сердце... и все-таки оказывался битым...

Даша издали сверкнула зубами.

— Глеб похож на тебя, Поля: он любит сердцещипательные разговоры... и покопаться в чужой душе...

Солнце, мутное и красное, спускалось на далекие хребты, и они грызли его, как огненный блин. Город под горами четко разрезался прямыми улицами от набережной вверх и сползал домами в ущелье. Между пристанями и молами море переливалось перламутром. Корпуса и башни завода громоздились в глубоком молчании, как нетающие льдины.

— Я переживаю сейчас мучительные вопросы, товарищи. Новая экономическая политика... Мы вступаем в полосу тяжелых противоречий, но все делают вид, что их не замечают. Я все время в тревоге и жду чего-то страшного.

— Что с тобой, товарищ Мехова? — удивилась Даша. — С чего ты нервничаешь?.. Ну, противоречия... ну, тяжелые... Очень хорошо: драться будем крепче... Зайдем-ка, я угощу тебя кипятком с сахарином.

Поля взглянула на Дашу испуганными глазами и быстро пошла по дорожке к пролому.

Даша долго смотрела ей вслед, и лицо ее вздрагивало от ласковой усмешки.

— Хорошая девка... умница... а с трещинкой...

— Вот что, Дашок... Пойдем-ка на гору — посидим малость... Не хочется домой...

— Ну что ж... пойдем... хоть я и устала, а тоже неохота в комнату... Вечер-то больно хороший...

Глеб растрогался. Даша взяла его за руку, кисть в кисть, и молча пошла рядом. Глеб чувствовал, что она встревожена. Он угадывал, что она боролась с собою: что-то хотела сказать ему — сказать свое, задушевное, важное, но не могла решиться. И совсем неспроста она так охотно согласилась пойти на гору и неспроста отделалась и от Поли... Что бы это значило?..

Мимо палисадников и домиков они прошли, не проронив ни слова. Так же сосредоточенно взбирались они по ребрам пластов к площадке бассейна. Он поддерживал ее за плечи и прижимал к себе, и ей это нравилось. Бассейн был высоко над Уютной Колонией, и вода отсюда подавалась по магистрали вниз до рабочего поселка, а дальше распределялась по службам, по лабораториям, по цехам и корпусам.

Они обошли каменные отвалы и штольню с железной заржавленной дверью на замке. По ступенькам поднялись на широкую бетонную площадку. Она была ровная и колокольнозвонная.

Внизу под горой ступенились к трубам красные крыши казарм, за ними — корпуса и вышки завода, а еще ниже — фиолетовый залив в спиралях зыби у берегов. За молами море плавилось спокойно и необъятно, выше труб и далеких хребтов.

От завода к Уютной Колонии группами и в одиночку шли рабочие. А по бурому отеку горы, далеко за стеною, бежала по узенькой бледной дорожке маленькая девочка и размахивала руками.

— Поля шагает... видишь?.. Странная она, эта Поля: то не согнешь ее, то вся дрожит, как лозинка. Боюсь я, чтоб с ней чего не случилось. Ты ей очень по душе пришелся... Уж не влюбилась ли?

Глеб, пораженный, лег около нее и ничего не увидел в ее лице, кроме затаенной улыбки. Что с нею? Неужели ревнует? Он не знал, что ей ответить, не знал — сердиться ему или смеяться.

— Ну, Дашок... хоть ты против тех, кто копается в чужой душе, а сама-то первая не прочь нырнуть поглубже в чужую душу...

Даша быстро повернулась к нему, улыбаясь.

— Вот чудак!.. Что ж тут такого?.. Разве мы с Меховой — не равноправные женщины? А ей хочется опереться на какого-нибудь богатыря.

— Мне самому хочется опереться... и только на тебя одну...

— Что ж... надо уметь опереться... Это — не так просто... Я очень хочу... и сама хочу опоры... Но за эти три года все перевернулось... И мы с тобой, Глебушка,

стали другие... Я много пережила, много перестрадала и научилась ходить на своих ногах и думать своим умом. К родному человеку, Глебушка, и подходить надо осторожнее и уважительнее.

Ее слова били по сердцу, и она была такой неотразимой, такой новой и крепкой в своей правде, что он не мог уже говорить с ней так, как раньше. В ту незабываемую ночь (проклятое ущелье!) он впервые почувствовал, что и он стал иным — не тем, каким был вчера, точно внутри у него все перегорело. И тогда он испытал новую, неведомую до сих пор любовь к ней — не только как к женщине, а как к человеку, роднее которого нет никого. Что было бы с ним, если бы она погибла в тот день, когда он не думал о ней, а только горел заводом, машинами, цехами?..

Под бетонной площадкой, в глубине, звенела вода, и что-то большое и живое вздыхало в пустоте. И казалось, что эти вздохи стонут в лесу и над лесом и плывут из сумерек долины.

Все было воздушно, глубоко и необъятно: горы были уже не хребты в камнях и скалах, а грозовая туча, море — в безбрежном вздыблении — не море, а лазурная бездна, и они здесь на взгорье, над заводом и вместе с заводом, — на осколке планеты, в неощутимом полете в бесконечность.

Глеб положил голову на колени Даши и увидел над собою ее лицо с огнистым пушком на щеках и глаза — пристальные, большие, встревоженные и любящие.

— Здесь, под небом, чувствуешь себя другим, Дашок. Вот лежу у тебя на коленях... Когда это было?.. И никогда я, кажется, не переживал ничего подобного. Я знаю только одно, что твоя любовь была больше и глубже моей, и я тебя недостоин. Я и сотой доли не пережил того, что пережила ты. Расскажи же мне сама о своих мытарствах... Может быть, я и себя тогда узнаю лучше.

Воздух внезапно вспыхнул молнией: везде большими и маленькими звездами зароились огни. Волна восторга охватила Глеба; в волнении он поднялся на локоть.

— Даша, голубка, гляди... как хорошо бороться и

строить свою судьбу!.. Ведь это — все наше... мы!.. Наша сила и труд... Будто вздох чувствуешь... вздох перед первым ударом... когда хочется размахнуться...

Даша опять положила руки на его грудь. Она сама волновалась, и Глеб слышал, как глухими толчками билось ее сердце.

— Да, милый, хорошо бороться за свою судьбу... Пусть муки, пусть смерть... Страшно это... и не всякий может вынести... Я вот вынесла, потому что любила тебя сильнее страха... А потом и другое поняла, другое полюбила... может, даже больше тебя...

— Говори, Дашок... что бы ни было — говори... Я уж научился не только слушать, но и... бороться с собой...

2

Рождение в силу

И в этот лиловый вечер она рассказала Глебу о своих злоключениях, о том, как она научилась бороться, как нашла свою дорогу к счастью.

...Отлежался Глеб от побоев на чердаке, у мышей и пауков, и ушел однажды ночью в горы: там, в ущельях и лесах, засели красно-зеленые.

Знала Даша, что уходит от нее Глеб, может быть навсегда, и отрывалась от него, как от мертвого. Рыдала у него на груди без стонов и крика и долго не отпускала его от себя. И когда он ушел в глухую ночь, не зажгла она огня и прометалась с Нюркой на руках до утренних проталин в окне. С тех пор дни и ночи стали жуткими, как кошмар.

Очнулась она от этой полужизни так же внезапно, как и замерла.

С грохотом, с армейским гиканьем, с винтовками и револьверами вломились к ней офицеры с солдатами, окружили ее и сразу из нескольких глоток:

— Где муж?..

Задрожала она впервые, потому что впервые сковал ее ужас. Корчилась и ревела на руках Нюрка, но она, как глухая, не слышала ее криков.

— Говори, где твой муж. Мы знаем, что он был здесь. Ты не строй, пожалуйста, невинных глаз и не изображай цацу...

— А почем я знаю, где муж? Вы лучше знаете... Вы же его утащили...

И не плакала Даша, только синяя была, и глаза светились насквозь, как стекляшки.

Один из офицеров, молодой, почти мальчик, остренький и злой, вставал и садился, курил беспрестанно, не сводил с нее глаз и орал:

— Ну, ты не ври так нахально... Ты — знаешь!.. Очень хорошо знаешь!.. Ты от меня не отвертишься...

И сразу оборвал ударом кулака о стол.

— Ты сейчас будешь арестована, и мы тебя немедленно расстреляем за мужа. Говори, а очков не втирай!..

А она стояла, застывшая и тупая, и едва шевелила губами:

— Да откуда ж я знаю? Ваша власть — убивайте. Вы же видите: я — одна. Зачем вы меня мучаете?

Офицер помолчал и опять пристально взглянул на Дашу. Увидел ли он муку в ее глазах, или в Нюркиных криках услышал укор, — быстро встал со стула.

— Произвести тщательный обыск! Обращать внимание на всякую мелочь.

Он посадил ее между двумя бородатыми солдатами, и до утра рылись другие солдаты во всех углах, щелках и тряпках.

— Утек вовремя, сволочь...

Утром потные и измятые напрасной работой солдаты потащили ее с Нюркой за завод, на дачи. И там, в подвале, в грудах людей, чужих, угарных и всклоченных предсмертной горячкой, просидела она нелюдимо до полудня. Кто-то из этих людей — не один, а много — говорил с ней, а о чем говорил — ни слова не помнит.

А в полдень вывели ее из подвала, и тот же офицер посмотрел на нее остренько, вприщурку.

— Ну, так где же твой муж, молодка? Ты не отпирайся — все равно не выпустим отсюда до тех пор, пока не скажешь. Если он в надежном месте, так чем

же ты страдаешь? Не запирайся! Ведь бесполезно же, черт возьми...

А она, готовая упасть от изнеможения и тоски, лепетала:

— Как я могу знать, где он? Это вы мне скажите, куда его дели...

Кто-то позади брезгливо промямлил:

— Да брось ты ее к черту, полковник!.. Разве не видишь, что она очумела от страха?

А полковник, постукивая папиросой о портсигар, вдруг улыбнулся.

— Я тебя расстреляю за упрямство... Это у нас быстро... Не удастся тебе разыграть дурочку...

— Ну и стреляйте... Ну и что ж... ну и что ж...

И впервые заплакала надрывно и визгливо.

— Вы же его растерзали!.. Вы же!.. Растерзайте и меня... И меня и Нюрку... и меня и Нюрку... заодно уж.

Очнулась она на улице от солнца. Шла она по ослепительному шоссе. Впереди — завод, а вон дальше, на взгорье, — рабочий поселок, и видна издали красная крыша, где осталась пустой ее комната.

Ну и опять зажила одна. Сдружилась с Мотей Савчук и проводила с ней целые дни.

Часто сидела она на своем крылечке, слушала, как звенели ручьи в ущелье, и думала о Глебе: где он? жив ли? придет ли к ней когда-нибудь из безвестности?

Однажды днем, когда таяли в мареве горы, сидела Даша на приступочке и штопала тряпки, а Нюрка играла с котенком рядом, на цементной площадке дворика. Кричали цикады, и далеко, над морем, за аркадами завода, вспыхивали в воздухе чайки.

Шел мимо усатый солдат в обмотках (разве мало ходит солдат мимо ее ограды?). Он подошел к заборчику и облокотился о столбик.

— Даша, сиди, не пужайся!.. Вести — от Глеба... Мигом подбери бумажку... вот!.. Ожидай меня сегодня вечером.

И ушел. Только приметила: шматками пакли — усы, шматками пакли — брови.

Хотела она слететь с крылечка к забору, но солдат обернулся, и шматки пакли упали на глаза. Поняла —

надо было ждать, когда он уйдет развалистым шагом под гору. Но она ласково приказала Нюрке:

— Иди сюда, к маме, Нюсенька!.. Скорее, скорее!.. Подними вон ту бумажку, принеси ее маме. Вот так... Иди к маме на ручки с бумажкой... Скорее, скорее!..

И Нюрка заковыляла к бумажке, зажала ее в кулачок и, довольная, побежала к матери.

— Мама, на!.. на!..

Даша с оглядкой развернула бумажку и прочла (разве так может писать кто-нибудь, кроме Глеба?):

«Голубушка, я — жив и здоров. Береги себя и дочку... Это сейчас сожги, а Ефим расскажет тебе все, что надо».

...Глеб, милый, родной! Если ты жив, здоров и благополучен — о ней беспокоиться нечего: она, Даша, тоже бодра и радостна.

А ночью пришел Ефим, пахнущий горами и лесом, и Даше чудилось, что не лесом он пахнет — а Глебом. Во тьме комнаты, у окна (только с неба капали звезды), сидела Даша рядом с Ефимом и дрожала от радости и любви к Глебу. А Ефим хриплым махорочным шепотом, с револьвером в руках, сразу же начал о деле:

— Ты помогай нам, Даша. Скажу прямо: Глеб пошел через белые силы до Красной Армии. Не болей сердцем: дойдет обязательно. Но не о нем разговор...

Даша дрожала и бормотала косноязычно:

— А может быть... скажи мне, товарищ Ефим!.. Вдруг он сгибнет... вдруг попадет в капкан?.. Ведь он же — один... а кругом — звери...

— Не о нем разговор, повторяю. Глеб наказал тебе: держися и помогай нам. Такое зыбучее время... Я буду всегда у тебя на виду. Ты же будешь наша зеленая баба. Вникай. Будут заданья для всей зеленой братвы. Значит, и для Глеба. Пущай наша братва будет тебе в течение время — за мужа. Помни. Гарнизуй зеленых всех вдов в хорошую силу. Иди сама по продовольственной части в заводской кооператив. Мы это устроим разом.

— А как же... а как же дочка моя?.. Нюрочка как же?..

— Сдай на руки доброй бабе. Нюрка от тебя воробцом не уфыркнет. Говори, что еще хочешь сказать...

Даша дрожала и только с трудом смогла вымолвить нужное слово:

— Товарищ Ефим, может быть, Глеб сейчас идет один... один меж зверей... и каждый час его караулит смерть... Ежели Глеб сам выбрал эту дорогу — я тоже, за ним, по этой же дороге...

Ефим усмехнулся во мраке, и рука его ласково потрепала ее по коленке.

— Хорошая баба... знаю... Заранее говорю: опасно. Но ты — не одна: ты — наша. У нас тоже дюжие руки...

И ушел так же неслышно и невидно, как и явился.

Нюрку сдала она на руки Моте за паек, и Мотя с охотой взяла к себе девочку. Хорошая баба Мотя, хорошая подруга, и Нюрка жила у нее, как у матери.

Стала Даша работать в кооперативной пекарне. Часто приходили к ней каменоломы и по бумажкам брали хлеб для «рабочих на горных стройках».

Каждый день захаживала она в гости к «зеленым вдовам». Половина из них были мешочницы. Одни проклинали бежавших мужей, сходились с другими и скоро забывали о прежних. Другие кормились стиркой белья на офицеров. Сбила она их около себя и дала им работу: в горы ходить на передачу зеленым одежды, обуви и всяких бумаг от разных нужных людей.

Особенно сдружилась Даша с тремя женщинами. Самая молодая из них была Фимка (девка-невеста, а брат Петро — в зеленых), нежным видом под барышню. Самая пожилая — Домаха, широкая костью, рыжая, с тремя ревущими детишками. Лизавета была бездетная молодка, с высокой грудью и жарким румянцем. Фимка была покорна и ласкова: она не отказывала ни мужику по бабьему делу, ни бабе по части продуктов. Домаха была сварлива и ненавидела всех за свои лишения. А Лизавета была гордой с людьми, молчаливой и недоступной. Вот кого сбила в кулак Даша: только с ними она и проводила свободные часы.

Приходил глухими ночами Ефим, бил револьвером по коленке.

— Знайте, товарищи-бабы, один верный закон: молчи, убей в себе всякую память. Прищеми язык свой зубами. Язык — самое проклятое мясо — человечий хвост. Накрыли, примером, и схапали — язык откуси и выплюнь. Вникай! Язык не поднимет горы, а слизнуть может целую крепость.

Вот кто был первый их учитель и друг.

Так прожила она около года. И за этот год она как будто родилась заново. Старая домашняя жизнь казалась ей уже обидно ничтожной и унизительной: к ней бы она никогда уж не возвратилась. А работа с женщинами и связь с зелеными вооружили ее и опытом и новыми мыслями.

Однажды утром, когда Даша была за прилавком, — а утро было ядреное, солнечное, — растолкали толпу офицеры с ружьями и ворвались в пекарню. Люди в страхе разбежались в разные стороны. А ее посадили на грузовик, в кучу офицеров, умчали на дачу — туда, где она была когда-то с Нюркой,— и бросили в тот же подвал. И опять грудами лежали и сидели там люди, и опять все были ей чужие, все — измученные и полубезумные от ожидания смерти.

Много думала она, как держаться, как не допустить себя до слабости. Через все могла пройти — через муки и, может быть, через смерть, — но переступить через Нюрку, вырвать ее из сердца не могла.

В плесенной мгле увидела она усы и брови, как шматки пакли. Ефим не узнавал ее, и она поняла: нельзя и виду показывать, что знает его. Недалеко, в куче людей, рыдала Фимка, а рядом с нею сидел ее братишка Петро, с мальчишечьими щеками, покрытыми пухом. Он гладил ее по волосам, по спине и что-то шептал. Лицо у него было как у отравленного.

И тут впервые узнала Даша ужас человеческих мук.

Потащили сначала Ефима, а вслед за ним — ее. Тот же молодой полковник посмотрел на нее — сразу признал.

— А, опять ты угодила к нам в гости?.. Ну, теперь

не уйдешь отсюда. Ну-ка, как ты кормила зеленых? Что ж ты врала, что не знаешь, где твой муж?

Даша притворилась дурочкой.

— Почем я знаю, где мой муж? Сами же его угробили, а теперь приплетаете мне зеленых...

— Это мы сейчас проверим. Отвести ее в кухню и покормить хорошенько!

Уволокли ее в другой, малый подвал. На полу было какое-то грязное месиво, и смердело трупной гнилью. Голый, весь в крови, лежал на полу человек. Двое дюжих казаков, хрипя и рыча, молотили его шомполами.

Кто-то обжег ее огнем по спине.

— Рраз, рраз!.. Вот тебе, сволочь!.. Покажи этой стерве красавца...

Ей стало дурно, и она едва не свалилась с ног.

Кое-как взяла себя в руки и простонала:

— Зачем вы меня мучаете?.. За что?..

— Покруче жарьте этого гуся!..

Опять замолотили Ефима шомполами, а он лежал пластом, крутил головою и молчал. И почуяла Даша великую силу и муку в этом его молчании. Только теперь поняла она, что значит выдержка: свое молчание она обязана нести как долг. Вот Ефим весь истерзан пытками, но они для него — ничто в сравнении с той великой тайной, которая защищает кровное дело революции и его самого возвышает как могучего борца.

— А ну, говори, чертова кукла, какие ты шашни имела с этим прохвостом? Скажешь — и мы его больше не тронем, а ты будешь свободна.

— Ничего я не знаю... Мне самой до себя... Что вы издеваетесь, звери?..

И опять насквозь прожег ее невыносимый огонь. Запеклось у ней сердце, и она закричала пронзительно:

— Да что же я вам сделала? За что же вы меня бьете?

— Говори!.. Иначе с тобой будет то же... Выбирай!..

И тут догадалась она: эти люди ничего не знают про нее — нет у них фактов. Взяли же ее так, по подо-

зрению или по наговорам. Ни Домахи, ни Лизаветы здесь нет. А Фимка? Фимка — другое: за брата. Должно быть, накрыли его в ее комнате: он ведь часто заходил к ней по ночам.

— Мне нечего говорить... Что я скажу?.. Я живу одна и никому не мешаю...

— Еще поддай дяде лапши, так его, этак... Бей!.. Сильней! чтоб захрюкал и поел киселя...

Тело Ефима уже мертво лежало в грязи и вздрагивало остывающей судорогой. А казаки утомленно шлепали по кровавому мясу, и от шомполов отлетали тягучие брызги.

Мимо Даши кубарем полетел братишка Фимки — Петро. С животным страхом в глазах он вскочил на ноги, поскользнулся, упал, опять вскочил и побежал по кровавой грязи, шлепая босыми ногами. За ним с шомполами бросились два казака. Петро страшно заревел и со всего размаха ударился о стенку.

Безумными глазами глядела Даша на пытку товарищей и, немая, не могла оторвать от них взгляда. Смотрела и не видела ничего, кроме крови.

Пришла она в себя в той светлой комнате, где сидел и курил полковник, морщась от дыма.

— Ну что, молодка, понравилась наша кухня? А теперь давай побеседуем...

— Я ничего не знаю... Лучше не терзайте напрасно...

— И того парня не знаешь, и эту девку?

— Фимку я знаю и Петра... Я их знала еще малыми детьми...

Двое офицеров что-то зашептали ему в ухо. Он сначала нахмурился, а потом дернул щекою.

— Она за нами, полковник.

И, гримасничая, они направились к ней.

Она бросилась в угол комнаты и замахала руками.

— Не надо!.. Не надо!.. Лучше умру... лучше убейте сейчас же...

Полковник поднял руку и усмехнулся.

— Ну, хорошо... Этого не будет, если ты скажешь правду. Подойди сюда и рассказывай.

— Я ничего не знаю... ничего!.. Как вам не стыдно?..

Полковник откинулся на спинку стула и ехидно прищурился.

Оба офицера подхватили ее под мышки и уволокли в другую комнату.

...До полуночи лежала она, полумертвая, в подвале, с голыми ногами и грудью. Как бросили ее, так и осталась. Подползала к ней Фимка, стонала, стукаясь головою об ее грудь, и опять уползала. Два раза мерещилась Нюрка: топочет ножками, визжит, радуется... Даша тянулась к ней, кричала от страха и отвращения:

— Не надо!.. Ой, не надо же, Нюрочка... не надо!..

А потом, до последнего часа, Нюрка совсем не вспоминалась, будто была образом потухшего сна.

После полуночи — тоже помнит, как сквозь сон, — она очнулась от грохота грузовика. Сидела она на полу деревянного короба, а рядом с нею лежали и сидели немые люди. Узнала Фимку, Петра и Ефима. Вокруг стояли казаки с винтовками в руках.

И только одно ярко осталось в памяти — разноцветные искры звезд, и звезды были очень близко — на взмах руки.

Знала, что это — смерть: вот остановится машина, вышвырнут их на землю, отведут к морю, на песок, и пулями разорвут ей грудь. Знала это, и сердце таяло у нее, как кусок льда. И не было ужаса. Казалось, что это не явь была, а обычный, скудный движением сон, в который не веришь, когда видишь, и знаешь, что эти образы скоро погаснут. И опять мерещилась Нюрка: бежала к ней с растопыренными ручонками и с одним коротким криком — ай!..

Тряслись мертвецами лежавшие товарищи: и Ефим, и Фимка, и Петро. И не было ей жалко никого, потому что в груди было не сердце, а кусок льда.

Когда остановилась машина, ее столкнули на землю. Около нее стала Фимка. Она дрожала в ознобе, хватала Дашу за платье и прижималась к ней, как ребенок. Ефим лежал мертвецом у их ног. Петро же

топтался на месте, исковерканный поркой, крутил головой (лицо было черное от крови), мычал и сплевывал слюну.

Даша торопливо, сердито — точно не она, а кто-то другой — прошептала на ухо Фимке:

— Молчи и молчи... молчи и молчи... слепая, немая... молчи...

Почудилось, будто навалилась на нее большая толпа и отбросила в сторону.

Это четверо казаков толкнули ружьями Фимку и Петра.

И когда отошли немного, Фимка вдруг закричала и забилась птицей. Рванулась назад и замахала руками.

— Даша, моя родненькая Даша!.. Что же они со мною делают, Даша!..

Ее подтолкнули и заматерились, а она завизжала, забилась и упала на песок. Ее дернули за руки и опять поставили на ноги. Она прошла молча еще несколько шагов, потом опять остановилась и озабоченно крикнула:

— Да!.. Что я сделала?.. Я ж забыла шаль на ахтанабиле...

Но ее подхватили под руки и потащили во тьму.

Там, впереди, на песчаной косе, где море черной пашней уходило во мрак, видела Даша только мутные тени, и тени эти будто пьяно плясали на одном месте.

И опять метнулся визгливый крик Фимки:

— Не хочу, не завязывайте!.. Своими глазами хочу взглянуть на мою молодую смерть...

И вплоть до залпа не переставала кричать:

— Хочу... своими глазами хочу!..

И когда грохнули выстрелы, Даше казалось, что крики Фимки еще долго носились над морем.

К Даше подошла упругая тень.

— В последний раз: укажи, кто орудует вместе с зелеными. Я даю тебе слово немедленно отпустить тебя домой. Или — вот... видишь? то же будет с тобой.

И так же, как раньше, Даша ответила тупо:

— Я ничего не знаю... ничего... ничего...

— Хорошо... Забирайте этого гуся!..

Поволокли Ефима, и слышала Даша не залп, а только один выстрел.

И опять подошел упругий офицер.

— Даю полминуты...

— Ну, стреляйте... стреляйте... только не мучьте...

Чувствовала — пройдет еще мгновение, и она упадет и забьется, как Фимка.

Ее подхватили и бросили куда-то вверх. Она больно ударилась головою о железо.

Опять забарабанила машина, и опять вверху, очень близко, на взмах руки, звенели золотыми каплями звезды, а над горами огненным туманом горело небо.

Потом ввели ее в ту же комнату, где допрашивали, и тот же полковник, не глядя на нее, отчетливо и лениво сказал:

— За тебя поручился инженер Клейст. Мы верим не тебе, а инженеру Клейсту. Можешь идти. Но знай: попадешься — уж домой больше не воротишься. И еще знай: здесь с тобой не было ничего. И твои глаза не видели ничего. А если твой язык сбрехнет что-нибудь не под час, с тобою будет то же, что с этими собаками. Ну, убирай свои ноги — марш!

Никому ничего не рассказывала Даша, а слова научилась говорить кстати и к делу. Дома была только по ночам. Комната зашелудивела, и углы зацвели паутиной и пылью. Повяли и засохли цветочки на оконце, побледнело лицо, глаза стали холодными и прозрачными. Пропадала у Моти, у хорошей подруги, у приветной домашней бабы. Подружилась с Савчуком, подружилась с Громадой и подолгу сидела с горбатым Лошаком. Готовились незаметно к встрече Красной Армии. И Лошака, и Громаду, и Савчука завербовала она в свое тайное дело. Раньше они спали по ночам, а днем смотрели на горы. Теперь по ночам они страдали бессонницей, а днем притворялись слепыми.

С немым вопросом в глазах приходили солдаты. Поглядеть со стороны — дурака валять приходили, поиграть со вдовой молодой приходили. Придут раз-два, потом пропадают, а вместо них — новые. А куда пропадали прежние — ничего не могли сказать людям ясные глаза Даши.

В порту стояли английские корабли — грузили несметные толпы бегущих с севера богатых и знатных.

Откуда-то далеко из-за гор глухим подземным громом рокотала земля, и по ночам от этого необъятного грома огнем капали с неба звезды.

...И в весенне-горячее утро, когда море нельзя было отделить от неба, а воздух — от цветущих деревьев,— по смрадному мусору, между трупами лошадей и людей, сквозь ужас панической смерти, — прошла Даша в красной повязке в город искать коммунистов. Шла одна, когда обыватели и рабочие, еще ошалелые, не решались выходить из конур. Шла Даша, и глаза ее и повязка горели счастьем и гордостью.

Попадались навстречу конные красноармейцы с красными бантами на гимнастерках, и эти банты издали цвели пышными маками. Она смотрела на бойцов и смеялась, а они взмахивали руками, тоже смеялись и кричали:

— Ура — красной повязке!.. Женщине красной — ура!..

...Глеб, подавленный, лежал неподвижно на коленях Даши и долго не мог вымолвить слова. Вот она, его Даша... Сидит около него, как родная жена: тот же голос, то же лицо, так же бьется, как раньше, ее сердце. Но нет той Даши, которая была три года назад: та Даша ушла от него навсегда.

И волна невыразимой любви к ней потрясла его болью. Он обхватил ее дрожащими руками и, задыхаясь, борясь со слезами, застонал от ярости, бессилия и нежности к ней.

— Даша, голубка!.. Если бы был я здесь в эти дни!.. Если бы я знал!.. Мое сердце лопается, Даша... Зачем ты мне это сказала? Что я могу сделать с собою?.. Сейчас я как раненый, Даша... Как я могу пережить все это?.. Я и — ты... и офицеры... Даша! Между нами была смерть... А ты — живая... Ты пошла сама, и у тебя своя дорога борьбы... Но я... Я с ума схожу... Помоги мне понять, Даша...

— Глеб, какой ты хороший!.. Какой ты родной!..

И до ночи сидели они, как не сидели никогда с первых дней женитьбы.

XI. УЩЕМЛЕНИЕ

1

Хозяйские руки

Глеб до рассвета ходил по городу и лично руководил работой отряда. По улицам стояли с винтовками за плечами зоркие немые фигуры рабочих. По мостовым проходили отряды патрулей. Небо пылилось звездами, и они дрожали весенней капелью.

Жук тоже стоял в карауле. Это был уже не праздный соглядатай, не крикун-обличитель, а дисциплинированный солдат. Когда Глеб подошел к нему, он твердо держал винтовку. Через открытые двери особняка из глубины вырывались на улицу истерические крики женщины.

— Кто здесь работает, Жук?

— Тут — твоя жинка с Савчуком, товарищ Ивагин и двое чекистов. Зайди полюбуйся, как разворачивают буржуазию... Ударная работа!..

— Ну, как твои успехи в совнархозе, Жук?

— Хо-хо, друг!.. Сходи в гости к Чибису... Я бы сей день всех к стенке поставил. До чего же все сукины дети и глотыри! А Шрамма я все-таки раскрою — не я буду...

В стеклянном коридоре, в рассветном сумраке, стоял красноармеец с винтовкой, и в открытую дверь видно было, как корчилась раскосмаченная женщина на диване и рыдала, ломая руки.

Глеб вошел, по военной привычке, уверенно. Он оглядел внимательно стены, вещи, людей: не допущено ли какой грубости и оскорбления хозяевам? не пропустили ли ребята чего-нибудь важного в этом богатом и подозрительном доме?

— Ну как, товарищи? Никаких эксцессов? Делайте так, чтобы хозяева не предъявляли никаких претензий на ваше поведение.

Женщина в халате с ужасом глядела на людей с винтовками и на людей, которые раскрывали комоды,

гардеробы и сундуки. К ее коленям прижималась маленькая голенастая девочка, с любопытством глазеющая на чужих дядей, так внезапно и громко упавших из ночи.

Человек в подтяжках и туфлях, в золотом пенсне на носу, с длинной бородой винтом стоял растерянный, но одиноко важный у большого письменного стола и с судорожной усмешкой пожимал плечами.

Даша умелой рукой, как хозяйка, заботливо отбирала вещи и складывала на разостланные простыни и в дорожные корзины.

— Это — для детских домов... для детишек... для домов матмлада... Гляди, Глеб, сколько материи! Можно одеть сотню детей...

Савчук опустошал шкафы и комоды и ворчал:

— Вот, идоловы души, нагрохали всякого добра! Наши свинопасы клепали зажигалки и терли мешками горбы, а люди в этих хоромах жирели, как индюки. Ха, такая музыка — не балалайка, а портовая баржа (он почему-то сдвинул с места рояль).

Сергей стоял с винтовкой в руках и не знал, что делать. В этом доме он бывал когда-то в дни юности. В прошлые годы адвокат Чирский был дружен с отцом. Социалист. Член Государственной думы всех созывов.

Сергей не глядел на него: боялся — вдруг подойдет к нему Чирский, протянет руку и заговорит с ним, как с близким человеком. Сергей делал вид, что не узнает его, и, до боли сжав зубы, старался быть твердым — таким, как товарищи, но чувствовал, что ноги его дрожат от предчувствия неизбежного скандала.

И то, что он считал ужасным и непоправимым, случилось просто и незаметно. Чирский смотрел на него в упор и кривил рот в брезгливую улыбку.

— Сергей Иванович, на нашем с вами языке это называлось когда-то разбоем. Отсюда вы пойдете, вероятно, к вашему отцу, Ивану Арсеньичу, и тоже будете производить подобную операцию. Там вы, очевидно, оставите папаше немного больше, чем здесь. Тут вы сдираете последние подштанники. Может быть, и мне по старой дружбе сделаете снисхождение?

А женщина протягивала к нему руки, и по обвислым щекам ее искорками ползли слезы.

— Сергей Иваныч... голубчик!.. Ведь вы были когда-то близки нам... Что вы делаете? Неужели это вы, Сергей Иваныч?

Стараясь быть невозмутимым и суровым, Сергей сжал до хруста в суставах винтовку и резко, со звоном в мозгу, сказал, глядя мимо Чирского:

— Да, мой отец подвержен той же участи, что и вы. Так же, как и вы, он будет выдворен из дома и больше в него не возвратится.

И когда он сказал эти слова, стало вдруг легко, и человек, стоявший у стола, показался смешным в своем прошлом чванстве и важности.

— Так, так... Вы научились быть достаточно свирепым... Поздравляю!..

Даша нашла большую жирную куклу с совиными глазами и желтой шерстью на голове, улыбнулась и шагнула к девочке.

— Ах, какая замечательная кукла!.. Вот она бежит к тебе, крошка, — соскучилась... Какие вы славные обе!..

Она поставила куклу и повела ее, как живую. Девочка обрадовалась и схватила куклу в объятия.

Женщина злобно крикнула:

— Нина!.. Не смей!.. Ты видишь, они не стыдятся брать у тебя последнюю рубашонку... Брось им эту дрянь!..

А девочка, цепко прижимая куклу, бросилась на диван и закрыла ее своим тельцем.

— Моя кукла... моя!.. не дам!..

Даша нахмурила брови.

— Мадам, как вам не стыдно!..

Савчук сопел и ворчал. Он вытирал пот и волком глядел на людей и вещи.

— Вот, идоловы души, сколь напхали!.. Такая работа хуже бондарного цеха... Будь оно проклято, сподручней работать на бремсберге...

Даша подошла к Глебу и деловито доложила:

— Все переписывается, Глеб... Изъято все, что надо... Из белья и одевки оставлено на две смены...

Я решила изъять картины и книги (ох, этих книг, как черепиц на крыше!). Книги утром учтет и припечатает наробраз.

— Хорошо. Все остальное оставить на месте. Караул в два человека. Кончайте!

— Да мы уже кончили. Ожидаем подводы.

И Даша отошла с лицом строгой хозяйки.

Глеб отвел Сергея в сторону.

— Где дом твоего старика? Я пойду к нему в гости.

Сергей не мог понять — шутил ли Глеб, или издевался над ним. Он смущенно вскинул ремень винтовки на плечо.

— Я могу пойти с тобою, товарищ Чумалов: отсюда недалеко.

— Нет, тебе не годится, товарищ Ивагин. Старику будет тяжело.

Сергей крепко пожал руку Глеба и отвернулся.

В звездном рассвете голубели дома. С гор сугробами валились лавины тумана, и над заливом дымилась фиолетовая марь. Зачирикали утренние воробьи. И в стальном сумраке гор очень далеко и очень близко блуждали, гасли и опять зажигались таинственные факелы.

По верхней улице, размеренно отбивая шаг, походным порядком, в щетине штыков, плотными рядами шли красноармейцы. Шли они, должно быть, многими колоннами: необъятный шорох рокотал всюду — и над городом, и в пролетах домов, и по камням мостовой с хрустальным перезвоном катились телеги. Красная Армия, поход, боевая работа... Ведь это было так недавно! Родные ряды! Шлем Глеба еще не остыл от огня и походов. Лязгают штыки, сплетаясь в стройном движении. Почему он, военком, здесь, когда место свободно в этих рядах?..

Широким шагом, задыхаясь от волнения, он торопился к штыкастым рядам, чтобы коснуться их упругого стройного потока и отдать им привет красного солдата. Но ряды оборвались и растаяли за углом, только двое красноармейцев один за другим, размахивая винтовками, догоняли товарищей.

2

Человек на подножном корму

Глеб вошел в открытую калитку сада и увидел не то, что видел в других домах. Мехова стояла перед кучей одежды, тряпья и улыбалась. Громада и Лошак один за другим выносили охапками вещи и книги. У открытого окна стоял веселый старик и живо говорил:

— Всё, всё!.. Очень прошу, друзья! Вся эта дрянь приобреталась человеком для того, чтобы жизнь свою свести к одной точке. Это собирание жизни происходит до того момента, пока не наступает смерть, то есть такое состояние, которое отрицает все три измерения. Это и есть тот идеал, который выражается абсолютной нормой — нулем. Не правда ли, друзья, как это любопытно, занимательно и весело?..

Мехова издали смотрела на Глеба странно большими глазами.

— Погляди, Глеб, на этого удивительного чудака. Это — отец нашего Сергея. Человек, который может сказать больше, чем обыкновенные люди. Если бы ты видел, с каким восторгом он встретил нас!

А сама вздрагивала от утренней свежести и вызывающе ласкала его глазами.

Мимо Глеба военной походкой прошел однорукий человек с орлиным носом и непомерно маленькой верхней губой. На ходу он оглядел Глеба и зашагал к калитке.

— Гражданин, прошу возвратиться.

Однорукий быстро сделал кругом марш.

— Вы — кто такой?

Однорукий стоял перед Глебом в напряженной готовности.

— Дмитрий Ивагин, бывший полковник, а теперь гражданин Советской республики. Старший сын этого старца и единственный брат члена РКП, Сергея Ивагина. Нужны документы?

— Оставьте при себе документы. Ваша комната будет обыскана. Прошу остаться.

— Мой угол — в квартире отца. Все уже вдребезги очищено. Но мои карманы остались неприкосновенными. Угодно?

И в холодных его глазах неуловимо играла насмешка.

— Можете идти.

Глеб тревожно следил за ним до самой калитки и раза два порывался вернуть его, но почему-то не решился.

Юрко семенил по комнате старик с бородой под прямым углом к подбородку, суетился и весь горел восторгом.

— Истинная свобода, друзья, в полном отрицании геометрических образов и их вещественных воплощений. Коммунисты тем сильны и мудры, что они опрокинули всю Эвклидову геометрию. Я их приемлю и люблю за их веселую революцию против незыблемости всяких форм, облеченных в фетиши. Друзья мои, не оставляйте ничего; это будет непоследовательно, а для меня жутко. Быть привязанным хотя бы одним обрывком гнилой нитки к стенам куба, призмы, треугольника — это так же ужасно, как быть заваленным горами хлама.

Лошак ворочал белками и не отрывался от работы. Он поглядывал на старика и угрюмо думал. Потом подошел к нему и сказал добродушно:

— Ставь дело на попа, отец!.. Погоним тебя на подножный корм... на волю... — Он хмуро ухмыльнулся и неуклюже ткнул пальцем в грудь старика. — Вот там и... гвоздуй свою жвачку...

Старик смеялся и в восторге размахивал руками.

— Вот, вот!.. Ваша свирепость — неосознанная человечность, друзья. Человек — на подножном корму... Что может быть совершеннее этого состояния! Земля, небо, бесконечность... Вот!.. Вот!.. Но почему, друзья, не пришел с вами мой сын — Сергей? Я очень хотел бы видеть его в роли моего торжественного ликтора...

Громада собирал по шкафам, сундукам и углам книги, ковры и крутил головою: надоело слушать болтовню старика.

— Папаша, не дискустируйте и так и дале... Предлагаю использовать себя на трудовом фронте, и как

очень много у вас всякого материалу, но ворочать приходится нам с Лошаком...

Такой уж человек Громада: сам маленький, а фамилия большая и слова говорит большие.

Глеб подошел к старику и протянул ему руку.

— Ну как — здорово вас почистили, Иван Арсеньич? Сын ваш, Сергей, тоже командует по этой линии.

— Хорошо!.. Очень хорошо!.. Напрасно не пришел Сергей, напрасно... Я бы очень хотел поглядеть на него, очень хотел бы...

— Не беспокойтесь, Иван Арсеньич: мы у вас ничего не возьмем. Вы — наш культурный работник.

Старик в страхе посмотрел на Глеба. Нервно затеребил пальцами бороду.

— Нет, нет!.. Всё, всё!.. Это — очень хорошо, прекрасно!

Громада крутил головою и с брезгливым сожалением смотрел на этого суетливого, восторженного мудреца.

— Обалдеешь, товарищ Чумалов, от этой его идеологии. Дискустирует папаша зря... и так и дале...

Глеб глядел на старика с изумлением и любопытством.

— Хорошо, Иван Арсеньич, можете жить как вам угодно. Я и не знал, что у Сергея такой занятный старичок... Оставьте здесь всё, ребята, и уходите...

Он опять пожал руку Ивану Арсеньичу и быстро пошел к выходу.

3

На выгон

По ту сторону залива, над заводом, горы были бурые, с черными провалами ущелий. Небо в зените было синее и глубокое, а над горами — огненное, и зубцы четко резались ослепительной линией. Только с седловин перевалов водопадно клубились, переваливаясь через высоты, снежные лавины тумана.

Завод внизу, над заливом, мерещился сказочными дворцами. Трубы стройно и тонко взлетали навстречу ползущим сугробам. Море небесно наливалось под горами и смахивало с поверхности светлые и черные пленки.

На главной улице, во всю ширину булыжной мостовой, на несколько кварталов, густо ворошились человеческие толпы. Истерически визжали и плакали женщины. Мужчины, сбитые в разноликий сброд, мрачно молчали или улыбались в бледной растерянности. Женщины с узелками и коробками, с детьми на руках, с детьми рука в руку, сидели на пожитках, стояли и лежали с обреченными глазами. В некоторых местах бились слабонервные, и над ними копошились люди.

Чирский стоял в передних рядах в нижней рубашке и подтяжках, без шляпы, в туфлях и смотрел рассеянным взглядом на дома, будто впервые их видел. Жена сидела на узле, растрепанная, полураздетая, и смотрела в одну точку. А девочка танцевала между отцом и матерью, выкрикивала в лад ногам и крепко прижимала обеими руками большую куклу.

Обозы — пухлые груды белых узлов — уползали вперед, и было видно, как на подъеме улицы они выгибались из ямины длинным караваном.

На одном из возов комсомолец, с открытой грудью и шершавой головой, нажаривал на гитаре польку. А где-то далеко впереди визжала гармония.

Партийцы стояли по тротуарам с винтовками у ноги, на сажень друг от друга. Усталые, угрюмые от бессонной ночи и тяжелой работы, они смотрели на толпу и не видели ее. В переулках топотали и гомонили другие толпы — мещане, хлынувшие поглазеть на необычайное зрелище.

...Мещанки не ищут чужого смеха: мещанки чувствительны сердцем, — они липки к похоронам и слезам, а в свадьбе прельщает их не пляс, а печаль и слезы невесты. Такова уж жизнь мещанки, что чужие слезы понятнее ей и желаннее смеха.

Вот и здесь почуяли они запах обильных слез и бежали с окраины, из собственных лачуг, из квартир

национализированных домов, чтобы пережить желанную боль от стонов и воплей почетных и почтенных семей. Жадно искали они почерневшими глазами рыдающих женщин и орошали свои лица обильными слезами.

...Где-то очень далеко запела команда. Конвой вскинул винтовки на плечи. Толпа испуганно зашевелилась.

Загрохотали впереди обозы, и толпа волнами поплыла по улице.

Сергей шел за Дашей, а за ними — Жук. На другой стороне шагали (видно сквозь толпу) маленький Громада, Лошак и Мехова.

Мутно ныла боль в груди Сергея. То, что совершалось, — безобразно и дико. Этого не может принять партия. Зачем эта толпа? Зачем эти противные визги? Зачем эти дети, бьющиеся на руках матерей? Не может этого принять партия, а для него, Сергея, это — слишком тяжелое испытание.

Вот девочка с куклой: вцепилась в руку матери, а сама держит за руку куклу.

Чирский, высоко подняв голову, идет спокойно, с жертвенной важностью. Древняя старуха, в чепце и накидке, тяжело опирается на палку, точно идет в крестном ходе. Ее поддерживает под руку девушка, вся в белом. Они не плачут, и лица у них как у монахинь.

Сергей увидел недалеко, впереди, отца. Он шел один, оглядывал толпу и улыбался. Шел он странно: то быстро семенил, перегоняя других, то останавливался, то брел тихо, в глубокой задумчивости. Заметив Сергея, он радостно поднял руку и направился к нему.

— Ты — мой конвоир, Сережа, а я — мудрец, идущий в изгнание. Не правда ли, любопытно? Тебе не пристало иметь со мной общение, доколе я — твой арестант. Я только хотел сказать тебе, что твое оружие, охраняющее крепости вашей революционной диктатуры, смешно и нелепо: оно свистит, как дудочка, на плечах такого свирепого большевика, как ты. Но позавидуй мне: я чувствую сейчас весь мир таким без-

граничным, каким не чувствовал его Спиноза, хотя Марку Аврелию это уже мерещилось по ночам.

С тех пор, как видел его Сергей в последний раз, отец опустился еще более: смерть матери была для него последним ударом. Своими отрепьями он напоминал нищего: был грязный, нечесаный, и ноги сочились кровью и гноем. Сергею стало жалко его до слез.

— Тебе некуда идти, батя. Водворяйся, пожалуйста, в моей комнате — будем жить вместе. Не надо этого, батя. Куда ты пойдешь? Ты погибнешь... понимаешь ты это?..

Старик изумленно поднял брови и младенчески рассмеялся.

— О нет, Сережа!.. Я слишком хорошо знаю цену своей свободы. Я — человек, а у человека нет места, ибо ни одна нора не может вместить человеческого мозга. Каждое событие есть лучший учитель: смотри, как непосильна рабам свобода, какое проклятие для курицы ее крылья!..

Беззвучно подошла к Сергею Верочка. Она, должно быть, шла по тротуару вместе с любопытными. С обычным изумлением в глазах, дрожа всем телом, она залепетала около уха Сергея невнятные слова, и одно только почуял в ее голосе Сергей — мольбу и слезы.

Отец засмеялся, заиграл руками, и в его глазах блеснула радость.

— А, а... Верочка!.. Неизбывный источник любви... Каким чувством восприняла ты мою голгофу, девочка?.. Ну, иди... ну, иди сюда!..

— Иван Арсеньич!.. Иван Арсеньич!.. Я так рада... Сергей Иваныч!.. Я так рада!..

И крылато подбежала к старику. Взяла его под руку и пошла вместе с ним, как дочь, с слезным сиянием в лице.

— Батя!..

Сергей хотел сказать еще какое-то слово отцу (какое — забыл) и протянул ему руку. Но рука не почувствовала опоры и упала: отец с Верочкой отходили от него в толпу.

Старик опять обернулся и посмотрел на Сергея, как чужой, с морщиной поперек лба.

— Гляди, Сережа, как не нова история: я — некий слепой Эдип, а вот она — моя Антигона...

И засмеялся, далекий, ушедший в другой, непонятный для Сергея мир. Поправив винтовку на плече, Сергей больно сжал зубы. Внутри судорожно оборвалась последняя струна.

На пустыре в седых бурьянах, недалеко от набережной, толпа опять села на узлы и на клочья травы. Обозов уже не было: их отправили к складам исполкома.

На набережной тоже толпился народ: это следом прибежали городские мещанки...

И уже не было истерических криков, рыданий и гомона. Не все ли равно, что будет потом? Дети вскрикивали, прыгали, неудержимо сплетались в игре: ведь так хорошо побегать по зеленой траве, когда солнце выходит из-за гор в утренних дымах, а море голубеет, золотится до горизонта. Только хочется есть... Есть!..

Недалеко — пристани, только нет кораблей. Пристани тоже заросли травой. Томление изнуренной толпы так похоже на надежду: вот задымят на блестящей зыби пароходы, вот загрохочут лебедки, и люди засуетятся, забегают по набережной, опьяненные запахом отплытия.

Глеб угрюмо смотрел на море и в ту сторону, откуда должен прийти с своим отрядом Лухава, с повозками, нагруженными скарбом и семьями рабочих.

...Ночью огненными гирляндами вспыхивали горы, и огни летали там, как горящие птицы. Полк красноармейцев в боевом порядке гулко шагал по мостовой. Бойцы шли в ночные горы, на зловещие зовы вражеских факелов.

Эта толпа сейчас никому не нужна. Бессонная ночь, и эта глупая свалка... Стоило ли тратить энергию на эту орду, чтобы лишний раз ударить ее страхом и выбросить, как навоз, на задворки? Зачем ненужные крики детей и вся эта сумасшедшая паника живых

мертвецов? Толпа эта только воняет домашним потом, а этот ее бараний ужас отвратителен до тошноты. Как-то иначе нужно было разворошить эти гнезда. Свой страх эти детишки унесут с собою в будущее, потому что страха дети не забывают никогда.

Полк красноармейцев в боевом порядке унес с собою волнение Глеба. И эта ночь, прыгающая подштанниками, нижними юбками и смердящая спальным бельем, мутила его душу обидой и злобой.

Не в этом дело: дело — в другом. Во что бы то ни стало должен воскреснуть завод. Важно, чтобы корабли оживили пирсы и каботажи и тысячи рабочих трудились в цехах, в порту и на бремсбергах. Но там, в горах, и за горами, — пушки, и красноармейцы в окопах гремят затворами винтовок. А в полях — пустыня и разбойничьи скопища, голод и голые люди, умирающие на бесплодных черноземах...

Мехова с винтовкой за плечом подошла к Сергею. Хотя Поля провела бессонную ночь, но глаза ее горели утренним блеском.

— Как давно я не переживала таких волнующих минут, Сергей!.. Точно на войне или в дни Октября... Хорошо, удивительно хорошо! Ну а ты? Почему ты такой тусклый?

И ее слова, звенящие радостным возбуждением, были очень далеки: будто слышал их и будто не слышал. Он ответил невнятно, как во сне:

— У меня болит голова...

— Что с тобой?.. Как сейчас может болеть голова, когда кровь кипит и пенится?.. Мы завтра же выгоним на принудительные работы всю эту мерзоту... Ты слышишь, Сергей?

— Не знаю...

— Как это — не знаю? Что ты говоришь?

Сергей стоял с винтовкой в руках и смотрел на толпу, чужой и замкнутый.

А Мехова пошла от него по бурьяну, торопясь и спотыкаясь. Было это или не было? Поля это подходила к Сергею или другой человек? Может быть, не было никого — показалось...

По шоссе громыхали повозки. Пожитки, дети на пожитках, а сбоку возов шли рабочие с женами. Лухава широкими взмахами ног косил бурьян, и волосы у него метались от быстрого шага.

Поля с пылающим лицом подбежала к Глебу.

Он взмахнул рукою.

— Товарищи-и!.. Стройся!..

Коммунисты разорвали круг и бегом, обгоняя друг друга, запрыгали к Глебу.

— А вы, граждане, забирайте свои манатки!.. Шагайте к новым квартирам! Пожили в хоромах — поживите в лачугах. Там, в предместье, вам покажут, где открытые двери.

Люди, обессиленные, сидели на траве, на узлах и были рыхлы, слепы и глухи. Иван Арсеньич оторвался от толпы и первым пошел по траве вместе с Верочкой, и шли они тихо, в ласковой близости, как будто вышли на обычную утреннюю прогулку. Старик улыбался, взмахивал рукою и говорил с нею оживленно и весело. За ним поднялись и зашагали еще несколько человек с узлами и корзинами, потом — еще и еще... Вдруг все заторопились, забегали и стали разбредаться в разные стороны — и на шоссе, и по бурьяну, и обратно в город...

Лухава подбежал к Глебу и, задыхаясь от утомления, заговорил быстро и гневно:

— Сейчас же в партком вместе с отрядом!.. Сегодня в ночь переходим на казарменное положение. Идет бой за горами... Объединенные силы бело-зеленых... Город стоит под угрозой захвата. Бремсберг испорчен... последние рабочие бежали с лесосек. У красноармейцев на бремсберге — потери.

— Что ты мне заливаешь чертову ерунду!.. Бремсберг?.. Тот, который наш?

— Да, тот самый, который ваш... Торопись! Сбор у окружкома.

Глеб взволнованно посмотрел на него, отмахнулся от какой-то своей, поразившей его мысли и побежал к отряду.

XII. СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ

1

На страже

Днем, во время строевых занятий, из-за гор далеким громом рокотало дыхание пушек: там, за дымными хребтами, шел бой. Сводный отряд особого назначения готовился выступить на подкрепление. По ночам он в полном составе нес сторожевую службу по охране города.

Днем город пустыми улицами проваливался в тишину, а ночью умирал во мраке. Уже не горело электричество на заводе, и окна квартир были наглухо закрыты ставнями и занавесками. И только по учреждениям да по улицам обыватели таинственно играли бровями при встречах. Слухи и сплетни летали по городу вместе с вихрями пыли, а ветер разносил неосторожные речи по предгорьям и ущельям, где под каждым кустом и камнем таился невидимый враг.

Часть женской организации во главе с Дашей ушла с санитарным отрядом на позиции, а другая часть, под командой Поли, обслуживала коммунистический отряд в казармах и спешно подготовляла отправку семей рабочих на случай эвакуации.

Днем Глеб несколько раз встречал Полю. Она без устали бегала по профсоюзам, предприятиям, учреждениям и бросала женщин во все концы для постоянной связи, чтобы дело держать на ходу, чтобы в случае приказа эвакуировать несколько тысяч женщин и детей.

Поездные составы под парами стояли у завода, на набережных, в предместьях, готовые к погрузке, и шипение паровозов сплеталось со вздохами далекого грома орудий.

Поля не спала уже двое суток, и глаза ее были немного в горячке, а лицо горело тифозным румянцем.

В этот день она урвала минутку, подбежала к Глебу в казарме и засмеялась сухими губами.

— Вот оно, Глеб, настоящее дело!.. Жили — долбили тезисы о профсоюзах и о новой экономической

политике... Крутились на ежедневной серой карусели. Глохли и слепли до одури на заседаниях. Плодили бюрократизм. Выветривались, превращались в профессиональных чиновников. Новая экономическая политика... Однажды я слышала, как один водник — водолаз — сказал: «Эта новая политика выдумана башковито: вино и пиво, ресторан — распивочно и на вынос. Это я поддерживаю и великолепно голосую»... Нет, Глеб, этого не будет. Нет!..

Глеб засмеялся, любуясь ею.

— Ты не кипятись, товарищ Мехова. Не пройдет и полгода, как закрутим эту знаменитую новую экономполитику. А твоего водолаза посадим в коммунхоз: пусть плодит там всякие рестораны, а из ресторанов вышибает деньгу.

Поля испуганно выпрямилась, и брови ее вздрогнули от злости.

— Этого не будет никогда!.. Партия не может трактовать вопрос так, как трактуете вы. Не можем мы предать революцию, — это было бы страшнее смерти. Ведь интервенция разбита, блокада — бессмысленная затея. Наша революция зажгла весь мир. Пролетариат всех стран с нами. Реакция бессильна. А разве новая экономполитика — не реакция, не реставрация капитализма? Нет, это чепуха, Глеб.

— Вот тебе раз!.. Какая же это реставрация, если это союз рабочего и крестьянина?

— Как? Значит, чтобы опять были базары? Опять — буржуазия?.. Разве ты хочешь, чтобы ваш завод сдали на концессию капиталистам? Об этом говорили сегодня в исполкоме. И Шрамм будто послал доклад в главцемент. Ты будешь рад этому, да? Такая реакция тебе по душе?..

И бледное ее лицо около скул горело румянцем, а лоб и верхняя губа искрились капельками пота.

У Глеба посерело лицо, и, пораженный, он нагнулся к Поле.

— Как, как, товарищ Мехова? Концессия? Какая концессия? Это чтобы рабочие отдали свой завод буржуям?.. Черта с два!.. Я покажу им концессию, сволочам...

— Ага, занозило!.. Вот тебе и закрутим новую экономполитику... Ну-ка, закрути!.. Концессии, рестораны, базары... Кулаки, прожектеры и спекулянты... Может быть, скажешь что-нибудь утешительное про рабкоопы?.. Продналог, кооперация... Может быть, все это нужно... Но только не отступление, Глеб... только не это... только не это!.. Углублять, зажигать всемирный пожар, не бросать завоеванных позиций, а с бою брать новые!.. Вот!..

Она убежала с жарком в глазах, а он, Глеб, стоял взволнованный и думал о том, что говорила Поля.

...В эту ночь Глеб с отрядом стоял в долине, за городом. Все люди были распределены цепью от шоссе — по кривой — до склонов предгорья, а патрули бродили по предместью и будоражили пугливых собак, и по их лаю можно было знать, где шагают патрули.

Глеб и Сергей стояли на опушке леса и следили за факелами в горах.

Вон пламя вспорхнуло рыжей птицей и полетело вверх. Вспыхивали вытянутая рука и плечи человека.

Очень далеко, в ущелье, взметнулся такой же порхающий факел и полетел во тьме падающей звездой.

Выше задрожал и закувыркался третий, потом — еще и еще...

Позади был лес, и он сливался с ночью.

Только деревья рядом, у шоссе, вихрились лохматыми тенями.

...В эту ночь, как и вчера, человек умер от ужаса перед смертью, идущей с гор. И над городом звенит объятая страхом тишина. Город боится по ночам своего шепота и забился в подполье. И в лесу — тишина. Она зыбью плывет из его глубин и пахнет болотом и солодом. И всюду льется, поет шмелиным звоном далекая сказочная капель...

Сергею казалось все призрачным, изменчивым и безграничным. Как культурный человек, он знал ночь при свете электричества, а горы и звездное небо казались такими близкими и понятными, как каменные дома, как бульвары, как пустоты площадей. Днем винтовка не была тяжелой, а теперь она приросла к земле.

Огненная птица упала и забилась в кустах, вспыхнула веером искр и погасла. А в горах и ущельях факелы порхали и близко и далеко.

Глеб сел на траву и равнодушно поглядел туда, где потух факел.

— Его надо поймать, прохвоста... Так и просится на мушку... Садись, Серега!..

— Ведь он совсем близко, Чумалов... Он жжет английский порох. Несомненно он знает, что мы — здесь, знает и держит себя нахально. Впрочем, мы опоздали, Глеб Иванович: он сделал свое дело. Видишь — потухло. Он не будет рисковать...

Глеб спокойно запалил свою трубку и посматривал на блуждающие созвездия в горах.

— Если бы он не думал, что мы с тобой — дураки и трусы, он не стал бы трепаться около нас. Этот телеграфист еще поработает к нашему удовольствию.

Сергей взглянул вдоль шоссе. Оно дымилось пеплом и потухало во тьме. Там, где уже не было видно дороги, черной надгорной тучей громоздилось огромное дерево. И Сергею мерещилось, что в его ветвях вспыхивала спичка и не могла зажечься.

— Всюду — враги, Глеб Иванович. Что удивительного, если они и здесь, вместе с нами?..

Там, за лесом, — вокзал. Но и на вокзале тихо, только ночь пыхтела, как животное, и жевала сонную жвачку.

Где-то впереди по шоссе скрипела телега и звенела колесами.

...Все это — только неизбежные эпизоды борьбы. Будущее тоже полно событий: враги еще долго будут злодействовать в стране под разными масками друзей рабочего класса и партии. Борьба с ними будет жестокой и длительной. Но сейчас вот... очень больно, что работа, начатая с таким напряжением и энтузиазмом, сорвана. Разрушен бремсберг, и вагонетки опять валяются среди камней и кустарников, как в те дни, когда он, Глеб, ходил по ржавому мусору с тоскою в душе. Опять стоят дизеля, и корпуса цехов — пустые и холодные. Опять — винтовка в руках. Опять, может

быть, окопы, переходы, копоть и запах порохового дыма, а не трудового огня.

С его ли силами бороться за организацию трудового фронта, когда все, начиная от машин до гвоздя, разрушено, расхищено, заржавлено, когда нет топлива, нет хлеба, нет транспорта и вагоны громоздятся на путях горами кладбищ, а у пирсов еще долго не будут дымить корабли... Не прав ли предисполком Бадьин, когда смотрел на него, как на дурака, который сам не знает, за что берется? Выскочка. Головотяп. Пустолом. Еще люди не в состоянии крепко держать в руках малое, еще враг угрожает самому существованию рабочей власти — как же можно строить план воскресения завода? Об этом ли думать сейчас, когда рабочий класс обречен на голодный паек и, обессиленный, не может вынести тяжести рабочего дня? Для чего производство, когда хозяйственная жизнь республики парализована на годы и страна вымирает от голода?..

Опять вспыхнул факел, но был уже дальше и выше. Накалились кусты и стали как живые. Огненные нетопыри залетали по горам. За городом, по туманной мути неба электрическими вспышками зарниц задрожали разряды.

— Я же тебе говорил, Серега... Гляди!

— Вот это — совсем хорошо. Такой иллюминации я еще не видел. Выходит, что мы — в сплошном кольце.

— В мешке, дружок. Прыгай в небо!

— В эти ночные часы я думаю, Глеб Иванович, о будущем. Наши дети будут представлять нас великими героями и создадут о нас легенды. Даже наши будни и наше голодное вынужденное безделье в производстве, вот это наше с тобой ночное дежурство возведут в степень, как говорят математики. Все это отразится в их воображении как эпоха героических подвигов и титанических свершений. И мы с тобой, маленькие пылинки масс, покажемся им гигантами. Прошлое всегда обобщается и возводится в степень. Потомки не будут помнить наших ошибок, жестокостей, недостатков, слабостей, наших простых человеческих страданий и проклятых вопросов. Они скажут: вот — люди, которые были насыщены силой и не знали преград. Вот —

люди, которым суждено было завоевать целый мир. И к нашим могилам будут приходить, как к неугасающим маякам. И когда я думаю об этом, мне немного стыдно и радостно за ту ответственность, которую мы несем перед человечеством... Меня давит будущее, Чумалов: ваше бессмертие — слишком тяжелая ноша.

— История работает, как полагается, Сергей Иванович. Мне сейчас важнее всего — организовать труд. Вот, думал, пустим завод, — а тут эта бандитская заваруха... Мешают, сволочи: вот что противно...

— Ты думаешь слишком просто, Чумалов: мозги у тебя уложены по-хозяйски, как кирпичи. А у меня мысли — как птицы в клетке.

Ночь зияла глубиной, а мрак вспыхивал зловещими огнями. И эти огни, летающие тревожно, как совы, и электрические разряды зарниц в тучах были таинственно жутки. Близился великий час. Там, за горами, куда перелетали огненные ножи факелов, в узких ущельях гнездится недобитый зверь. Движется он, невидимый, от казачьих станиц, и бородачи, станичные батьки, рвутся сюда ордой, с гиком, с шашками, сверкающими кровью.

Саранчой выползают станицы, и куркульские восстания дымом и кровью заволакивают поля, камыши, предгорья и ковыльные степи.

Горы и леса кишат зверолюдом. Днем враги прячутся в темных зарослях и пещерах или гуляют по городу в масках друзей революции. Они — всюду: и в рядах бойцов, и в советских кабинетах, и в домах мирных, безобидных граждан. Кто может указать их, назвать имена, раздавить их, как гадов? А наступает ночь — они выползают, распыленные мраком, для предательской работы. Вот они зажигают свои сигнальные огни, и огни летят в саранчовые поля, призывно маячат и хохочут совами.

По шоссе, от гор, металлически звенела телега. Четко цокали копыта усталой лошади.

Глеб и Сергей пошли по дороге — навстречу. Все — и земля и лес — проваливалось во тьму, и оттого, что не было твердой опоры глазам, Сергею казалось все

призрачным, невещественным, и небо и земля одинаково близкими и бездонными, как пустота. И при каждом шаге пугалось и замирало сердце: вот он сейчас опустит ногу, и вместо накатанной дороги — трясина или черная пропасть...

Ясно видна была лошадь. Морда тускло тлела от вспышек зарниц и огней в горах. На телеге чернели тени. Их много, и воз кажется большим и пухлым.

— Стой!.. Кто такие?

Глеб встал на дороге, перед мордой лошади, держа винтовку наготове.

— Раненые...

— Пароль?

— Какой тебе черт пароль?.. Видишь башки в чалмах?

— Как наши дела, товарищи?

— А ты пойди-ка туда, браток, и узнаешь. Засели крысы в норе, а мы жарим... нас — шрапнелью... Ничего — угарно... Зацарапали с полсотни офицерья...

— А как насчет подкрепленья? Ждете?

— На кой черт!.. Мы живо их всех перешьем. Потерь у нас убитыми — плевое дело. А раненых — только первая партия. Остальные — в окопах. Мы — сверху, а они — к кубышке... ни туда ни сюда — ни хвостом ни мордой... чистая ступа, ядренцы!

— Ну, молодчаги, ребята! Трогай!

2

Пленник с пустым рукавом

Горы расцветали огненным садом. Зарницы дрожали над морем сполохами.

Сергей и Глеб с винтовками в руках немыми тенями поднимались по взгорью через кустарники. Хлопьями рвался огонь, брызгал искрами, погасал и опять взвивался пылающей птицей.

Прошли мимо бойни. Ограды нет: разрушена. Может быть, там тоже враги с готовой пулей на прицеле?..

— Шагай, Серега, не задевай кустов, держи крепче винтовку. Мы его сцапаем живьем.

Глеб напрягался и вытягивался в струнку и крался с собачьей ловкостью. Невнятная радость хмелила Сергея. Не отрывая глаз от огня, он улыбался, не зная об этом. Дрожали руки и ноги, будто летел он с высоты в пернатой окрыленности. Клейко смазывала лицо упругая паутина и дрябло рвалась около ушей. На ресницах вспыхивали лучи перламутра. Волны теплого солода клубились в кустах: это дышали остывающие камни и па́рились весенние листья бересты и кизила.

Ночь лжива в расстояниях: то, что близко, кажется далеким, а далекое — близким. Но человек был отчетливо виден, освещенный факелом. Он бежал по горе путаными петлями, кружился, вытягивал правую руку над головою, и фигура его кособочилась. Гимнастерка и фуражка огнились по краям, будто излучались. Левый рукав болтался тряпкой.

— Обязательно живым, Чумалов... во что бы то ни стало...

...Безруких так много... теперь — много безруких. Они всегда вызывали в Сергее тревогу, и в пустом рукаве он чувствовал угрозу и скрытый удар. Брат — тоже с пустым рукавом. Он тоже блуждает таинственным призраком.

Однорукий остановился и чутко прислушался. Стоял он спиной к ним, и лицо его видно было только в профиль. И в этом профиле почудился Сергею знакомый хищный клюв.

Пылающей змейкой вспыхнул огонь и полетел в кусты. Тьма стала густой и топкой, как болото. Забухали редкие шаги по камням, и кусты зашумели, точно от порыва ветра.

— Ну, черт возьми, не уйдешь!.. Вперед, Серега! Не жалей себя! В жизнь не упущу!

Глеб прыгнул в кусты и провалился во тьме. Плиты и щебень трещали под ногами и звонко разлетались осколками стекла. Сергей прыгнул вслед за ним, и ему опять почудилось, что он стал воздушно-легким и с птичьей быстротой летел навстречу дрожащим зарницам и горным огням.

— Стой!.. Застрелю, мерзавец... Стой!..

Сергей не слышал ни топота ног, ни криков, ни выстрелов. Бежал он легко, невесомо, и не было ни свиста ветра в ушах, ни боли от шипов держи-дерева, которые обдирали лицо.

Промчался галопом впереди Сергея бешеный конь. Он лягнул воздух, захрапел и исчез во мраке.

Сергей остановился и прислушался. Копыта, удаляясь, дробили камни. Криков Глеба уже не было слышно.

Дрожали сполохи электрическими разрядами, фосфором пылился туман. И нельзя было понять, где — море, где — небо. Позади — оглянулся Сергей — блуждали по горам факелы. На той стороне — горы еще выше, в зубцах, перевалах и пиках, и по ним тоже роились созвездия. Они вспыхивали, потухали, разгорались кострами и растекались пламенными потоками с вершин по ущельям и ребрам.

Внизу, в лощинке, задыхаясь, бормотали люди, а может быть, грызлись собаки над падалью. Звенели камни, как черепки.

Из двух врагов один должен быть побежден...

...Безруких так много... Почему этот, пропавший во тьме, должен волновать Сергея?

Он запрыгал вниз по обрыву.

...Глеб боролся где-то рядом и рычал. Сергей налетел на него внезапно и увидел, как он давил коленкой грудь распластанному человеку и впивался обеими руками в горло.

— Врешь, негодяй, не уйдешь!.. Крышка, мерзавец!.. Помогай, Серега!.. Обыщи его, подлеца!.. Очищай его карманы... Живо!..

Дрожащими руками, с лихорадочной торопливостью, Сергей обшарил карманы штанов и френча. Нашел только коробку с табаком, спички и корку хлеба. И когда он коснулся култышки левой руки, замер от волнения.

— Я знал это, Чумалов... Это — мой брат... Это — мой брат!.. Я сейчас убью его... Я расстреляю его, Чумалов...

— Не пори горячку!.. Подбери его оружие у меня под ногой... Ну-ка, отряхайся, приятель!.. Становись,

Серега, и держи наготове винтовку... Впрочем, если он — твой брат, так, может быть, отпустить его ради тебя? Ну?.. Что скажешь в его защиту?..

И в этой насмешке Сергей больно почувствовал вражду.

— Оставь шутки, Чумалов!.. Или веди, или я убью его на месте... Ты не имеешь права так со мной разговаривать...

— Да ну, не бесись!..

У Сергея дрожали руки и ноги.

Дмитрий встал, хотел отряхнуться, но рука была закована в пальцах Глеба.

— Опять необычная встреча, Сережа... Все-таки ты не годишься в подметки этому молодцу. Военком Глеб Чумалов! Мы с вами имели честь встречаться в доме моего веселого отца в тот час, когда вы его грабили. Жалею, что тогда не было моего брата Сергея: я бы прострелил ему череп. Моя рука еще способна совершать чудеса.

Глеб заглянул в лицо однорукого.

— Да, нежданная встреча, герой-полковник... В саду у старичка я здорово свалял дурака: надо было вас тогда же заарканить — хорошо клевало. Пошли, ребята!.. Товарищу Чибису гость по нутру...

Дмитрий хотел говорить, но задыхался от потрясения. Он боролся с собою и пытался шутить:

— Мне очень лестно идти с вами, друзья... Особенно с вами, доблестный военком... Но руку мою вы все-таки освободите: я не ребенок и не барышня, чтобы проявлять ко мне такую трогательную заботливость. Побежденный враг пойдет с вами так же гордо и твердо, как и вы, победители... Вы только отстраните от меня немножко моего кровного братца Сережу, а то я не уверен, что он не страдает теперь худшим видом женской истерики. Успокойся, Сережа: ты очень волнуешься, мой друг...

Сергей употреблял невероятные усилия, чтобы не закричать и не броситься на брата в припадке ярости.

А Дмитрий продолжал говорить с издевкой:

— Не правда ли, Сережа, мы с тобой еще ни разу не гуляли с таким удовольствием, как сейчас?.. Этими

моментами надо дорожить... тем более, что эти минуты — последние в нашей жизни... Ты уморишь меня своим бравым видом вояки... Надо полегче... Ведь ты слишком жалкий раб своей партии, чтобы распоряжаться собою в этот час вашей глупой удачи...

Они поднялись из оврага и пошли по дороге по взгорью.

По горам и мутному небу далекими молниями вспыхивали разряды.

— А все-таки ваше дело — дрянь, кустари... Завтра вашими мозгами будут загажены мостовые. Жаль, что я не увижу своими глазами. А тебя, Сережа, я повесил бы публично у ворот своего дома...

Сергей засмеялся и тут же изумился, как он мог смеяться в это мгновение.

— Да, мог ли ты ожидать, Дмитрий, что я поведу тебя на смерть? А вот видишь?.. Как тебя расстреляют — я не увижу. Но уж одно то, что ты пойман... пойман при моем участии... дает мне удовлетворение... Я веду тебя под собственной пулей...

Дмитрий иронически смеялся.

— Ну, ты совсем уморил меня, Сережа... Ты бесподобный комик, ей-богу...

Глеб выпустил руку Дмитрия и взял ружье под мышку.

— Ну как, полковник?.. Наша прогулка под стать чертовой ночи... Если бы увидели нас обыватели, они сказали бы: вот ребята!.. как, мол, они дружно идут!..

Дмитрий смеялся, но в голосе его была заноза. И Сергею показалось, что он вовсе не смеется, а дрожит от тоски и хочет сказать что-то такое, чего не могут выразить человеческие слова.

— Да, да... очень весело!.. Мне жаль, Сережа, что ты не будешь участвовать в этой забавной игре, которая именуется расстрелом. Я бы очень хотел, очень хотел, Сережа... Мы вспомнили бы детство... Ты хорошо помнишь наши детские годы?.. Я желал бы, чтобы ты в тот час сам наставил на меня дуло винтовки... Может быть, ты это сделаешь сейчас?.. Ваши застенки — хуже тех кладбищенских ночей, которых я боялся в младенчестве. Я не хочу, чтобы там

опустошили мою душу... Пойдем со мною, Сережа, до конца: это было бы очень красиво... А? Заманчиво? Романтично?..

Городской патруль шел навстречу с винтовками наперевес.

XIII. ТИХИЙ ХОД

1

На повороте

Опять наступили спокойные, упрямые дни хозяйственных хлопот и будничной работы в отделах, организациях и на заводе. И эти дни были точь-в-точь такие же, как и до восстания казаков и бело-зеленых: опять зашелестели бумагами канцелярии, опять заседания в исполкоме, в совпрофе, в экосо — в угарном табачном дыму, с окурками на полу, с бесконечными прениями, резолюциями и планами. По ночам уже не было видно блуждающих тревожных факелов в горах. Субботние привозы деревенских продуктов — картофеля, муки, зелени, яиц и мелкой животины — загромождали базарную площадь предместья, и в воздухе пряно запахло лошадиным пóтом и перегноем. В горных ущельях, по которым не было проходу ни пешему, ни конному, открывались мирные лесные дороги с тележным скрипом, с дремотной песней землероба.

И опять городские обыватели и деловые люди, в гимнастерках, во френчах, в коже, с портфелями и без портфелей, выползали из ослепших квартир на улицы, и никто не вспоминал об эвакуации, о громе пушек за горами, о пережитых ночных ужасах.

Небесно голубело море в горных берегах. На рейде, за молами, до самого горизонта замахали острыми крыльями рыбачьи белопарусники. По утрам неизвестно откуда появились у каботажей турецкие фелюги и вразнолет чертили воздух тонкими веретенами мачт. Обыватели уже не играли бровями при встречах, не

шептались на перекрестках, у заборов и на панелях, а деловито и громко говорили о новой экономической политике, о валюте и контрабанде.

На главной улице около магазинов, бывших под складами и базами разных хозорганов, гремели дроги, ржали и дрались лошади, и грузчики по целым дням рычали и крякали под тяжестью тюков, ящиков и мешков. Главная улица горела солнцем, пахла весенним небом, чистилась, как курица, в предчувствии новых надежд. Когда-то она цвела нарядами витрин, дышала ароматом духов и шелестом гуляющих модниц, а по ночам волновалась в лучах электрических реклам. Завтрашний день снился румяными улыбками, без пайков, без квартирного уплотнения, без регистраций и перерегистраций, без ущемлений, без карточек и обязательной трудовой повинности.

Бабы и девки с поднятыми выше колен подолами стояли на подоконниках и лестницах, мыли и терли зеркальные стекла, и застарелая грязь рыжими потоками стекала на тротуар. А из темных утроб магазинов несло плесенью и затхлой прохладой погреба. Перед раскрытыми дверями и окнами толпились люди и долго с беспокойным любопытством смотрели в нутро магазинов, на мокрые окна, на голые икры баб. И там, где окна чернели прозрачной пустотой, а внутри стучали молотки и визжали рубанки, на дверях и на стенах фасадов ослепительно белели аншлаги:

В непродолжительном времени
здесь будет открыт рабкооп

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН ЕПО

Здесь открывается кофейня

Торговое т-во «Мануфактура»

А на гладких стенах Городского дома (коммунхоз) — аршинными буквами:

КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ

На руинах капиталистического мира
мы построим великое здание коммунизма

МЫ ПОТЕРЯЛИ ТОЛЬКО ОДНИ ЦЕПИ,
А ПРИОБРЕТАЕМ ЦЕЛЫЙ МИР

На базарной площади сбивались новые лотки и палатки. Там чавкали топоры, вспыхивали золотые стружки, и в городе по улицам пахло сосновой смолой и масляной краской.

Около наробраза с утра до четырех толпились шкрабы с сизыми лицами. Сбитые в кучки, они стояли и сидели на тротуаре, с покорным отчаянием, как слепые. Так толпились они около наробраза каждый день, целую зиму и всю весну. Школы были заняты под учреждения, в школах были разграблены белыми библиотеки и кабинеты, а парты изрублены на топку, в наробразе же нет дензнаков. Почему ж не сидеть и не ждать зарплаты, которой не выдают им давно?..

И когда Сергей выходил с заседания коллегии на улицу, он сразу угорал от нищей толпы шкрабов, от сизых их лиц и мутных глаз, налитых слезной мольбой и покорностью.

— Сергей Иваныч!.. Сергей Иваныч!.. Голубчик, Сергей Иваныч!.. Вы сами учитель... Вы сами должны знать... Как же так, Сергей Иваныч?..

А Сергей пробирался сквозь душную толчею и никого не видел: смотрел вниз, мимо всех, и смущенно улыбался. Улыбался и мучился от смутной вины перед этими тоскующими людьми.

— Ничего не могу, товарищи... Требую, добиваюсь, но что же я могу сделать?.. Я все знаю, товарищи... Но ничего не могу...

Он шел, торопился, но никак не мог выбраться из толпы, никак не мог убежать от этих покорных глаз...

...Опять был массовый воскресник. Опять на бремсберге муравейно копошились тысячи рабочих и гремели молотами, кайлами и лопатами. Важно опираясь на палку, Клейст опять лично руководил массовыми работами. К вечеру бремсберг заиграл ролами, и колеса электропередачи замахали железными спицами в разных направлениях и пересечениях. А ночью завод опять вспыхнул электрическими звездами.

...Рабочие райлеса запрудили улицу у совнархоза. В лохмотьях, патлатые, будто только пришедшие с работ, с топорами за поясом, они толпились у парадных дверей, таращили глаза и кричали, как на митинге.

Двери совнархоза были заперты, и толпа напирала на стены и двери.

— Подавай нам совнархоза!.. Райлеса сюда на аркан!.. Подавай воряг и грабителей!.. Где Чека? Почему не глазами, а задом глядит Чека?.. Давай сюда коммунистов!.. Почему там сидят коммунисты?..

На тротуарах сидели, опираясь спинами о стены, другие рабочие и жевали пайковый хлеб. Они млели от жары, напитанной запахом асфальта и раскаленной пыли, ходили за угол, к воротам совнархоза, толкаясь локтями и плечами.

На ступеньках крыльца появился Жук и замахал руками.

— Товарищи, внимание!..

Он скинул картуз и оглядел толпу с молчаливой угрозой.

— Товарищи, я знаю эту шатию очень великолепно... Я уже здорово закрутил им хвосты. — Он завертел руками и оскалил зубы. — Я их всех вывел на чистую воду, всех обрил под первый номер... Мы, рабочий класс, знаем, как надо брать их за галстуки... Они все золото в обшивку зубов отправили... А здесь обдирают рабочий класс, охомутать хотят нашего брата... Старую эксплуатацию строят... Саботируют, берут измором... чтобы легче было вернуть царское время...

Внезапно он исчез, как сквозь землю провалился, и замолк. На его месте толпа увидела предисполкома Бадьина. Лицо его было неподвижно и жестко.

Первые слова он сказал спокойно и тихо, как у себя в кабинете, но голос его был четкий и гулкий.

— Товарищи, в нашем городе — двадцать тысяч организованного пролетариата. Из этих двадцати тысяч вы, маленькая кучка, пришли сюда, как с базарного толчка, оравой, и позорно дезорганизуете стройные ряды революционных рабочих. Стыдно и преступно, товарищи! В чем дело? Чего вы хотите? Разве нет у вас профсоюза, нет у вас ваших рабочих органов, в которых вы могли бы поставить немедленно все вопросы и разрешить их в спешном порядке?..

Толпа дрогнула, забунтовала и заглушила слова Бадьина:

— Давай сюда грабителей!.. Давай райлесных воров!.. Не пойдем на работы... Мы не острожная шпана...

Бадьин поднял руку. Лицо его не изменилось: оно по-прежнему было металлически неподвижно и твердо.

— Я пришел сюда не для того, чтобы спорить и препираться с вами, товарищи. Все требования ваши, которые будут предъявлены через ваших представителей, через ваши органы, будут удовлетворены. Организованно отправляйтесь по своим местам. Знайте, что каждый прогульный час в эти тяжелые дни для республики наносит непоправимый ущерб на хозяйственном фронте. И вина будет падать только на вас. Вы не смоете позорного пятна, которое вы накладываете на наш пролетариат. У него слишком много боевых подвигов, чтобы он мог снести этот позор. Не сами вы пошли на это унизительное выступление. Это — дело отдельных склочников. Я знаю этих смутьянов. Вот он — только что выступал передо мною — Жук. Я отдам приказ об его аресте.

И не успел кончить Бадьин, Жук, весь всклоченный, бледный, запрыгал около Бадьина и закричал:

— Неправда!.. Неправда!.. Товарищи, это — ложь... Я не могу терпеть этого, товарищи...

Оглушительный рев оборвал крики Жука. Толпа зашаталась, замахала руками, и казалось: пройдет мгновение — и у стены, около двери, разразится бешеный самосуд.

— Бей их!.. Катай, волоки!.. Наш Жук!.. Давай в головку Жука!.. Жук!.. Жук!..

Бадьин по-прежнему стоял на верхней ступеньке крыльца и невозмутимо смотрел на ревущую толпу. Он смотрел не мигая и ждал: пройдет еще несколько мгновений — и люди надорвутся, осядут и успокоятся.

Но он не дождался: помешал Лухава. Он вбежал на крыльцо, встряхнул черной шевелюрой и поднял успокоительно руку:

— Товарищи, внимание!.. Стойте смирно и слушайте!..

Толпа замолчала, отхлынула назад и в стороны по мостовой.

— Лухава!.. Сейчас Лухава всем шкуру сдерет... Крой!..

Лухава заговорил просто, по-свойски, с обычной горячностью:

— Какого черта вы здесь дурака валяете, товарищи? Топоры — за поясом, сумки — на плечах, а одежда и обутки растут на деревьях. Это, товарищи, — прибаутки, а дело выходит такое: через час выступаем. Сбор у совпрофа. Продукты грузятся на подводы. Партком выделил на заведование снабжением товарища Жука. Прозодежда выдается по одной паре. Весь состав райлеса — к черту под ноготь!.. Стройся рядами и — шагай дружно за Жуком!.. Командуй, Жук!

Толпа забушевала у крыльца, и Лухава залетал в воздухе, размахивая руками и ногами. Когда утихомирились и построились в ряды, Лухава махнул рукой, и все пошли по улице — к набережной.

Бадьин и Лухава стояли у стены совнархоза и беседовали, как задушевные друзья, но глаза их обжигали ненавистью друг друга.

— В свое время я уже сообщал куда следует о вашем головотяпстве с ущемлением. Этому мальчишеству надо положить конец, милые товарищи. Какими полномочиями пользовались вы, разрушая без постановления исполкома аппарат райлеса? Об этом опять будет сообщено краевым органам, и я сумею поставить вас на свои места.

Лухава улыбался вприщурку, и колючие искорки в глазах дрожали и смеялись.

— Бюрократ!..

2

Упрямым шагом

Из окна заводоуправления видно, как перед клубом «Коминтерн» комсомольцы и комсомолки, голорукие, голоногие, в трусах, проводят часы физкультуры. А в воздушной дали, в кратерном взлете гор, из невидимого дна воронки до вершины перевала, ввысь на восемьсот метров, натягивается рельсами бремсберг.

И вверх и вниз, навстречу друг другу, минуя друг друга, приближаясь и удаляясь, ползают две вагонетки. Издали они — маленькие, как черепахи, и скользят по рельсам медленно и плавно: пять минут — вверх, пять минут — вниз, а встречаются опять через четверть часа. Вверх — пустая, вниз — с дровами. Видно, как машут спицами колеса на электропередаче, в разных наклонениях и пересечениях. И от перевала до электропередачи, по пологому спуску, поперек горы, по разработанной дороге, подъезжают и отъезжают грузовики и телеги.

Глеб целые дни проводил в заводоуправлении. Спецы, давно уже присланные из совнархоза, все еще не изучили сложной системы хозяйства. Все они были прилизаны и бледны от опрятности, все — бритые по-английски. А что они делали за своими дубовыми бюро, почему говорили в полуголос и полушепот — трудно было понять. Они оглядывали Глеба (так его оглядывали и в совнархозе), а на его вопросы отвечали странными словами, сквозь дым папиросы. Глеб не понимал их, а слышал отчетливо только одно слово, которое возненавидел давно: промбюро.

На ячейке по его докладу решили: потребовать подробный доклад заводоуправления на общем собрании рабочих. Сам же Глеб до изнурения изучал положение дел — взвалил на себя добровольную каторгу — разобраться в цифрах, в нарядах и планах. Он обалдел в первые дни, и работа пропала впустую — ничего не понял в мусоре цифр и таблиц. На вопросы учтиво отвечали бритые спецы, умело скрывая насмешку и презрение вприщурку. И с этими бритыми спецами Глеб сам был учтив, сам говорил в полуголос и в полушепот и задавал дурацкие вопросы, которые вызывали у них улыбку, а другие вопросы, над которыми думал по ночам, тревожили спецов, ставили их в тупик, и они отвечали только одно:

— Промбюро... Совнархоз... Главцемент... СТО...

Глеб смотрел в окно на работу бремсберга, изучал заводские дела, которые надлежало знать только спецам, и считал, сколько будет доставлено дров с лесосек до нового года.

«Одна кубсажень — в полчаса. В день, при двух сменах, — 24 куба. В месяц — 600, а до конца года — 4800. Мало: это не разрешает кризиса. Бремсберг должен работать зимой».

Со дна воронки дрова шли по другому бремсбергу: железные ковши вагонеток одни за другими ползли от завода в горы и из гор к заводу, минуя друг друга: вверх — пустые, вниз — с дровами. Внизу, на электропередаче, они отстегивались от стального каната, отталкивались к ажурной вышке; там они вкатывались на площадку лифта и проваливались в преисподнюю. На дне шахты вагонетки опять подхватывались канатами и исчезали во тьме, а оттуда навстречу ползли пустые и по лифту улетали вверх.

И когда Глеб проходил через пути с вагонетками, он волновался от электрического шороха колес, от бойкой работы. Он бросал на землю дела и таблицы и ввязывался в артельную суету. Видел он, что другие были лица у рабочих — не тифозный отек, а пот и свежий загар.

Ночью он уже не ждал, как прежде, Даши, не запирал дверей и рано ложился спать. И не знал, в какой час приходила Даша. А когда просыпался на мгновение от ее присутствия, видел ее за столом: опираясь головой на руки, она читала настойчиво и очень внимательно. А утром, когда он уходил на работу, Даша улыбалась ему дружески и молодо.

3

Тревога

Нужно было узнать самому, что такое — промбюро, которое было неотразимым заслоном для совнархоза и заводоуправления. Эта тяжелая глыба стояла на его дороге, и его вопросы безответно упирались в ее грани. Глеб решил немедленно ехать и изучить это учреждение на месте. Если и там постигнет его неудача, если и там будут водить за нос, заранее дал себе слово, — направиться в Москву, к Ленину, в ВСНХ и СТО — рассказать, разоблачить, сделать скандал, поднять

всех на ноги, а своего добиться: завод надо пустить — пустить во что бы то ни стало.

Заводоуправление погрязало в бесхозяйственности, бездеятельности и упорном саботаже. В совнархозе — злостный саботаж под видом заседательской и бумажной суетни. Запутывались простые вопросы до головокружительной неразберихи. Шрамм делал на экосо пространные, строго обоснованные доклады, но партийцы и низовые хозяйственники беспощадно критиковали его и с злой насмешкой называли этот отдел исполкома «совнагробом». Глебу было ясно, что в совнархозе шла незримая работа врагов. Трехэтажный особняк каждый день дрожал от подозрительных толп, снующих из дверей в двери, и каждый день, с десяти до четырех, тротуары около стен здания засорялись хороводами необычайно говорливых людей, которые толкались раньше в кофейнях и на бирже. Тихо было в здравотделе, в наробразе, в собесе, хотя толпились люди и у земотдела, и у коммунхоза, и у внешторга.

Перед отъездом Глеб часто забегал в исполком, в совнархоз, в партком — собирал материалы, соображения, планы и постановления. Взял письмо Бадьина к близкому товарищу, члену краевого бюро ЦК, и письмо Жидкого — тоже товарищу, члену краевой КК.

Однажды он брел по улице к набережной, где ждал его заводской катер. Он не торопился — хотелось отдохнуть после хлопот в учреждениях. Шел и удивлялся: улица изменилась до неузнаваемости. Раньше магазины с зеркальными окнами были пустые или под складами всяких отделов и окна были пыльны и грязны. А теперь... тоже склады, как прежде, а вот среди них —

ЗДЕСЬ В НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ ВРЕМЕНИ... ГАСТРОНОМИЯ...

КАФЕ С ПОСТОЯННЫМ СТРУННЫМ ОРКЕСТРОМ...

ТОРГОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО...

ТОВАРИЩИ, УКРЕПЛЯЙТЕ СМЫЧКУ ГОРОДА С ДЕРЕВНЕЙ!

КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ...

В этом лозунге в аршинных буквах на стене Городского дома (коммунхоз) чья-то насмешливая рука замазала грязью первое «не», и все прохожие не могли привыкнуть к новой комбинации слов и смеялись.

КТО ... РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ...

Глеб остановился в тревоге. Да, новая экономическая политика — рынки, продналог, кооперация...

...Вот — кафе и струнный оркестр... А полфунта пайкового хлеба? А дачка — аршин мануфактуры, наусники и дамские подвязки от профсоюза? Почему так быстро начинают обсахариваться витрины? И почему так беспокойно на душе?..

На другой стороне улицы, у окна кофейни, Глеб увидел Полю. Она стояла к нему спиной, смотрела в окно и не могла оторваться. Стремительно пробежал мимо нее человек в новом френче, с портфелем (кто не носит теперь портфелей!), задел ее плечом и оторвал от окна. Но она не заметила и стала на прежнее место.

Глеб перешел мостовую и остановился рядом с Полей. Но она и его не заметила. Там, в дымной, сумеречной глубине, сидели за столиками попарно и группами тени, воскресшие из прошлого.

Через окно призрачно струились далекие скрипки.

За спиной, на тротуаре, — деловой разговор:

— ...твердой валютой... только твердой валютой...

— Товар свежей заграничной доставки... франко... фелюги... процент чистой прибыли...

— Можно прекрасно заработать на комиссии...

— Предлагается партия сухумского табаку...

— Но самая выгодная операция с мукой... Понимаете — голод...

Глеб оглянулся и увидел адвоката Чирского с двумя субъектами в панамах: один из них — бывший крупный винодел побережья, другой — бывший табачный фабрикант.

...Будь оно проклято! На заводе пахнет еще Октябрем, и голова не отдохнула от гражданской войны.

А когда он бывает в городе — будто совершается странный сдвиг и мир изменяет свой облик...

Глеб, играя, потянул портфель из рук Поли. Она дрогнула и очнулась. В испуге взглянула на него, и в ее глазах он увидел задавленный крик.

— Ну вот скажи мне, Глеб... Ты понимаешь что-нибудь? Я хожу по этой улице и глазею на окна, как дура. Что со мной происходит?.. Смотрю до боли в голове, до скрипа в зубах и — ничего не понимаю... Я ничего не понимаю, Глеб...

— Иди в женотдел. Пусть глазеют дураки и прохвосты.

Он взял ее под локоть и повел с собою вдоль улицы, а Поля испуганно смотрела по сторонам, в двери и окна магазинов, и глаза ее дрожали, как капли на ветру.

— Сегодня я не пойду в женотдел. Там — Даша. Твоя жена — редкая женщина: она далеко пойдет, вот увидишь... Впрочем, что можно сказать о других, когда не можешь знать о себе?.. Вчера я была одна, а сегодня — другая.

— Стыдно, товарищ завженотделом! Что за паника? Драться надо, а не плакать и не хромать.

Он говорил грубо, но руку ее прижимал ласково и взволнованно.

— Что со мной делается, Глеб? Может быть, только ты в силах разобраться в этой ералаши?.. Я — точно зачумленная. Чувствую, как подо мною зыблется почва. Ведь я была на фронтах, видела настоящие ужасы... Два раза пережила страх неизбежной смерти. Была активной участницей московских боев. А вот сейчас переживаю такое, чего со мной не было никогда. Точно надо мной кто-то издевается, а мне — стыдно, потому что не могу защититься. Это — так нужно? Это — неизбежно? Это — необходимый результат наших страданий и жертв?.. Так ли это, Глеб?.. Может быть, и ты тоже очумел? Скажи мне откровенно: может быть, Глеб, ты только храбришься по привычке?

Дошли до Дома Советов. Поля остановилась, но не отрывалась от Глеба, и было видно, что ей тяжело оставаться одной и тяжело — на людях. Глеб волновался. От чего больше? — оттого ли, что взбудоражили

слова Поли, или она влекла его к себе, идущая в него из-за Даши и через Дашу?..

...Концессия на завод. Глеб испугался тогда этого нового, зловещего слова. Неизвестно, кем слово было брошено на ветер, и он тогда не мог добиться никакого толку. Был подпольный, косноязычный слух, но он скоро растворился в тумане. А вот улица заговорила горластым языком витрин и суетливой толчеей спекулянтов и торгашей. Это был уже зловещий признак... нет дыма без огня... Слух о концессии должен был родиться неизбежно. Несомненно, в недрах совнархоза уже подготовляли почву для акционерного общества, с привлечением прежних владельцев.

...Поля. Вот она, близко, и в словах ее так много задушевной дружбы, и так она нуждается теперь в его силе. Чуял он в ней большую сумятицу, а войти в ее душу мягко и бережно не мог. Хотелось сказать ей милое слово: накрыть ее как шинелью от холода.

— Я не пойду в женотдел, Глеб. Лучше пойдем ко мне — посидишь немного. При тебе мне не будет так худо. Можешь скоро уйти, но лишь бы было ощущение, что я — не одна. Может быть, ты скажешь такое слово, которое отрезвит меня, и я буду глядеть на все другими глазами...

Она подтолкнула его к зеркальным дверям подъезда.

И вплоть до самой комнаты — по мраморной лестнице, по узкому коридору — она не выпускала его руки и повторяла:

— Так надо, да?.. Так надо?..

В комнатке было светло и пусто. У стены стояла железная кровать, а на кровати — серое одеяло, белая подушка. Над кроватью — Ленин. У окна — столик, а на нем — свалка из книг и бумаг.

Если бы Глеб случайно зашел сюда, не зная, что здесь живет она, все равно почувствовал бы ее по запаху.

Она бросила на стол портфель, не села, а прислонилась к стене, около стола. Глеб прошелся по комнате и остановился около двери в левой стене.

— Кто там, за этой дверью?

— Это — комната Сергея.

Он стукнул в дверь кулаком. Внутри, в пустоте, вздохнуло эхо.

Подошел к двери в правой стене, около Поли.

— А тут?

— Я боюсь этой двери. Тут — Бадьин. Я не люблю его; в нем что-то тяжелое, и мне всегда чудится: отворится дверь — и будет... может быть, черт знает что...

— Он — бабник, этот Бадьин.

— Почему? Откуда у тебя такое заключение?

Поля засмеялась, но глаза смотрели внутрь, и вся она прислушивалась к своей боли.

— Он — бабник. Я еще буду иметь с ним дело при случае.

— Какой ты еще раб, Глеб! Должны же мы наконец произвести революцию и в себе. В нас самих должна быть беспощадная гражданская война. Нет ничего более крепкого и живучего, как наши привычки, чувства и предрассудки. В тебе бунтует ревность, — я знаю... Это хуже деспотизма. Это такая эксплуатация человека человеком, которую можно сравнить только с людоедством. Вот что скажу тебе, Глеб: к Даше ты с этим не подойдешь — будешь бит.

— Я уже и так бит.

— Ну вот. И поделом. Так тебе и надо.

— Это — верно: есть какая-то запятая в любви. Этот орех надо хорошо раскусить. Не могу примириться... Внутри какая-то язва. Не клеится у нас с Дашей... Она по-своему, я — по-своему. Не могу забыть того, что у нее было... Гляжу на нее и чувствую — не в силах взять ее такой, какая она есть. У нее что-то свое, и это делает меня зверем... Иногда думаю о ней — и хочется искалечить ее... Ревность — да!.. Никак не могу перековать себя... А она чувствует это, и между нами — будто ножи... Как-то надо разгрызть этот проклятый орех.

Поля опять встревоженно и растерянно осмотрелась вокруг. Она вцепилась пальцами в кудри и сморщила лицо, точно от головной боли.

— Да, орех, Глеб, крепкий орех... А надо раскусить... И ядро в нем чую — очень горькое и ядовитое. Надо!.. Пусть, черт с ним, если надо... Мы отравля-

лись кровью, но в крови же находили противоядие. А в чем противоядие от будней, которые идут из проклятого прошлого?.. В этом — весь ужас. С собой всегда труднее бороться, потому что в будни душа всегда обречена на одиночество.

Она стояла перед Глебом, такая простая, открытая, растерянная в своем смятении, такая доверчивая и близкая, будто знал он ее давно, будто такая она была всегда, встревоженная и мятежная. Стоит ее обнять, вскинуть на руки, и она ребенком прижмется к нему и будет родной и неотделимой, и от ласки его успокоится и опять засмеется, как недавно.

И с волной молчаливой нежности он прижал ее грудью к себе и щекой погладил ее кудри. А она сначала испугалась и вся съежилась в его руках. Потом дрогнула, обхватила его шею и посмотрела на него сквозь слезы.

— Глеб!.. Милый!.. Если бы ты знал, как мне тяжело! Ты почувствуй меня, Глеб, и не презирай... Ты — самый мне близкий человек, и я тебя очень люблю. Дай мне почувствовать тебя всего... такого родного...

А он, Глеб, все молчал и все прижимался щекою к ее кудрям. И у кровати, когда он уже поднял ее на руки, раздался дробный стук в дверь.

— Товарищ Мехова, можно?

И скрипнула дверь. То была Даша. Вспыхнула красная повязка, а лицо было прежнее — ясное, с прозрачными глазами, с молодым оскалом зубов.

— Вот так здорово!.. И ты тут, Глебушка? Вот непоседа!..

И весело засмеялась.

— Ну, хорошо... Я — на минутку...

Только на одно мгновение блеснул испуг в ее глазах, а за ресницами что-то взметнулось бледной пленкой. Может быть, это показалось Глебу, потому что он сам испугался и сразу не мог овладеть собою. Мехова отошла от него и обняла Дашу одной рукой.

— Ты не ревнуешь, Даша? Твой Глеб — большой ребенок. Это правда: мужик он замечательный, но глупый до последней возможности... Не отличишь в нем дикаря от умника.

Глеб стал между ними и положил руки и на ту и на другую.

— Черт его возьми!.. Этот орех надо раскусить... Пусть сломаю зубы... У Даши теперь всякий орех — как блоха для собачьего зуба, и теперь ей всё нипочем...

Даша усмехнулась и отошла к столу.

— Кое-какие орехи и я грызть научилась, хоть приходилось и зубы ломать... — И деловито стала рыться в своем портфелишке. — Я, товарищ Мехова, — из окружкома. Ведь у нас на носу женская конференция... Ты не забыла? Сегодня на пять часов заседание совпрофа. Ты должна делать доклад.

— Я это помню, Даша. Но было бы лучше, если бы выступила с докладом ты: я ничего не соображаю сегодня.

— Идет, товарищ Мехова. Я доклад сделаю...

Она пытливо посмотрела на Полю и сказала строго и ласково:

— Это ты брось, Поля... Не разводи нюни, голубка. Плакать нетрудно... Ты сумей с сердцем управиться да глаза сохранить зоркими...

И насмешливо уставилась на Глеба.

— Ты можешь продолжать свой разговор с Полей, Глебушка... Я сейчас уйду.

Поля смотрела в окно и смеялась, как больная.

— Нет уж... продолжайте сами разрешать свои проблемы... а я пойду... некогда...

И Глеб вышел, красный от смущения.

В коридоре он встретил Чибиса. По обыкновению, Чибис не подал ему руки и не поздоровался. Шел он упруго, но грузно и смотрел на него не мигая, как на чужого.

— Ну, так вот. Райлес, как тебе известно, отправился в уютную дыру. Он сразу же там покрылся пылью, а пыль столбом поднялась во всех отделах, и все отделы похожи на сумасшедший дом. Жук оказался хорошим дураком. Сегодня я не спал. По ночам я не сплю: сплю только утром и после обеда. Сейчас прилягу на полчаса. А знаешь, этот безрукий — великолепный человеческий экземпляр. Я говорил с ним по

ночам с большим удовольствием. Буржуазия умела давать молодежи высокую культуру. Нам нужно очень многому и очень много учиться. Чтобы овладеть культурой, надо знать, как ею пользоваться, а это не так просто, мой дорогой.

— То-то я гляжу, почему это Жук перестал бродяжить и трепать языком в эти дни...

— Он — неплохой рыбак. Его нужно только держать в крепких руках. Из двух десятков расстреляем верную половину. Я передаю дело в резтрибунал. А за ущемление нам все-таки попадет. Головотяпство. Во время партийного съезда... Раз головотяпство — обязательно склока. Как ты думаешь, кто кого съест?

— Я думаю, что Бадьина голыми руками не возьмешь — хороший деляга, но бюрократ и... бабник...

— Да-с. Что такое будни?.. Это — склока, а склока — это героизм, превращенный в обывательство. Самое веселое время у меня — ночь. Приходи ко мне, и мы с тобой забавно проведем время. Ночью видишь больше, чем днем.

— Я слышал, товарищ Чибис, что Ленин тоже не спит по ночам.

— Не знаю.

— Ну, так как же, товарищ Чибис? На улицах, выходит, — кафе с постоянным оркестром? Опять завоняло с заднего двора?

— А ты испугался? Поезжай обратно в армию: еще помуштруй себя и поучись политграмоте. Меня это нисколько не тревожит. Нужно уметь смотреть на солнце и на кровь одинаково не моргая. Не надо бояться, что солнце сожжет глаза, а кровь отравит душу.

Он поднял ресницы и усмехнулся, и Глеб увидел в глазах его младенческую ясность и огненную точку, которая беспокойно билась в зрачке и не могла остановиться.

Чибис пошел по коридору, тяжело вскидывая правое плечо, и Глеб впервые почувствовал, что этот человек смертельно устал, что в своем переутомлении он уже давно разучился спать и не знает уже разницы между днем и ночью.

XIV. ВСТРЕЧА ПОКАЯННЫХ

1

Через Голгофу — в Каноссу

В этот солнечный день Поля опять пережила бурную встряску, как в ночь ущемления и в дни борьбы с бело-зелеными. Опять она горела восторгом и радостью, и на лице ее не было ни раздумья, ни боли, ни растерянности.

Вместе с нею в катер сели — Жидкий, Чибис, Глеб и Сергей.

Чибис поднял руки и скомандовал:

— Режем, братва! Держись крепче! Давай ход, военмор!

И уронил руку на плечо матроса, чумазого, с исковерканным лицом, в шрамах, с паклей в руках.

Далеко, на рейде, в знойных струях, стоял пароход, как огромная глыба, растущая из воды. Это был первый пароход с «покаянными».

Пристани рвались в зеленой зыби на куски и стекали в бездну жирными потоками нефти. Впереди, у носа, ломался бурун с хрустальным звоном. Позади, за кормой, у спины Глеба, снежно пенилась выше головы непадающая волна. У молов два дельфина перекатывались один за другим чугунными колесами. Искры стреляли от круглых спин и больно кололи глаза.

На набережных и массивах каботажей пестрели несчетные толпы. Давно не было пароходов. Они ушли вместе с белыми. Люди проголодались без кораблей, и теперь прибытие пароходов было настоящим событием.

Сергей смотрел на черную махину корабля и грыз коготь на мизинце. Глеб бил его по руке, но он не мог оторваться.

— Вот оно. Через Голгофу — в Каноссу... Таков путь контрреволюции...

Жидкий покосился на Сергея, и ноздри его раздулись.

— Брось, Сережа! Это — интеллигентский бред. Так сейчас говорят только сменовеховцы.

А Сергей говорил сам с собою, а может быть, всем сразу:

— На этом корабле их — триста... и четырнадцать офицеров... Когда их не принимали в Туапсе, они сказали: «Пароход не пойдет обратно: пусть направят нас туда-то. Выйдем на берег — пусть нас расстреляют...» Это — великолепно. Сейчас они несут в себе страшно много энергии. Ее надо взять. Взять и — преобразить.

Жидкий вытаращил глаза на Сергея.

— А сколько они взяли у нас? Сколько проглочено нашей крови, наших сил — ты это учел?.. От этого голова кружится.

— Ну и что же?

Поля взглянула на Сергея и засмеялась. Она цвела весенней радостью, а ресницы и брови искрились солнцем.

— Ах, Сережа! Как бы тебя расклевали наши горластые делегатки, если бы услышали твою мудрость!..

Глеб глядел на дельфинов. Вращались два маховых колеса одно за другим — вспыхивали и тонули. Острыми мечами на спинах резали воду. И когда исчезали в глубинах, вода плавилась густо, без волн, без всплесков. Так же могуче и крылато в железном полете мчались маховики у дизелей на заводе и потрясали электрическим насыщением. Их было много когда-то в легком воздушном движении, а теперь — только два. Их жизни воплощаются вон там, в кратерной впадине гор: вон ползают черепахами две вагонетки — и вверх, и вниз, и ближе — по магистрали, вереницей навстречу друг другу, минуя друг друга, одна за другою, длинной цепочкой, много других вагонеток. А вот эти заряженные животной кровью колеса расточительно уносят в морские недра драгоценную солнечную энергию...

Пристани уже далеко. Горы, мерцающие медью в изломах, в фиолетовой мгле, колыбельно качаются — плавают в море. Это играет катер на зыби, и корабль вздымается и падает, закрывает полнеба и

громоздится небоскребом. И Чибис, и Жидкий, и Поля — все кажутся маленькими и четкими, как в выпуклом зеркале. И он, Глеб, — маленький, только сердце — большое, больше его самого.

Сергей не отрывал влажных глаз от парохода и кусал мизинец.

В утробе корабля грохотали перезвоны металла.

Сверху, с борта парохода, смотрело множество пепельных лиц. Люди глядели вниз немигающими глазами, махали тысячами рук и выли. В высоте, за каруселями канатов и лебедок, сизый вихрился дым. Внизу, на волнах масляной зыби, плескался, трещал пулеметом маленький катер с красным полотном на корме — грозная пылинка огненной РСФСР.

Англичанин в позументе — должно быть, капитан — стоял у трапа, опирался на парапет и бесстрастно смотрел вниз на летающий катер в волнах.

Далекая набережная струилась и цвела маковым полем.

А в утробе парохода грохотало железо глухим потрясающим громом.

2

Беззубые волки

Серые люди сбивались потной, вонючей толпой. Это были восставшие мертвецы, — тиф, цветущий плесенью. И нельзя было различить, где офицер, где солдат.

Жидкий говорил с англичанином в позументе и сам был похож на англичанина.

Чибис стоял в желтой коже и говорил бесстрастно и отчетливо:

— Офицеры — вперед и ближе! Остальные — назад!

Толпа очистила место на палубе. И место это показалось лобным.

Торопливо пробрались сквозь толпу бравые оборванцы с голодной водянкой и грязью в лицах.

Поля озорно усмехнулась.

— Смотри, Глеб: это — удавленники. Они целовали ручки у дам. Протухли, как жужелицы...

Голос Чибиса был ровный и тусклый:

— Вы — наши враги. Вы нас ненавидите. Вы тысячами истребляли нас — рабочих и крестьян. Вы ехали и надеялись, что найдете здесь не смерть, а жизнь. Зачем вы приехали в Советскую Россию?

С серебряной щетиной на челюстях вышел старик.

— Мы не боимся ответа... о нет!.. Мы — только мучительно уставшие люди... Разбитый враг — не враг. Разве мы пережили меньше, чем вы? Кроме родины, у нас ничего нет, и нет вне родины. Мы — прокляты, и в проклятии — наше искупление. Пусть требует от нас родина мук, смерти... Мы — готовы, мы — покорны. Вы не лишите нас этой радости...

И когда говорил, не смотрел на Чибиса, а торжественно поднимал голову к солнцу.

Чибис молча и пристально смотрел на него сквозь ресницы.

Все молчали, и в этом молчании было нестерпимое ожидание.

Закричал и забился маленький офицерик-юноша:

— Я был обманут... Я был слеп... Я — убийца, да... Дайте мне оправдать жизнь... Пусть умереть, но — оправдать...

Чибис небрежно отмахнулся от его выкриков.

— Прекрасно. Но чем вы докажете, что говорите правду?

Офицерик подбежал к Чибису и разорвал ворот рубахи.

— Застрелите меня сейчас... Застрелите!..

Чибис опять холодно отмахнулся.

— Идите на место! Вы можете уехать назад, не сходя на берег.

Офицер выбросил вверх руки. Рукава рубашки сползли к плечам.

— Вы не можете меня убить... не можете... Я хочу жить... жить!..

Его подхватили под руки и увели в сторону. И там он кричал надрывно одно и то же:

— Жить!.. Жить!..

Поля морщилась и усмехалась, и глаза ее были большие и круглые от радости.

— Какие слабые нервы у этих жужелиц!.. На кой черт они сдались нам, Глеб? Скажи им, Сережа... Они меня не поймут...

Сергей возмущенно говорил в затылок Чибису:

— Имейте мужество, Чибис, говорить слова, достойные нас... Возьмите более трудную роль — говорить с врагами как с людьми...

Чибис рассеянно обернулся и сказал сквозь зубы:

— Я сейчас вас отправлю на берег, товарищ Ивагин. В чем дело?

Толпа жадно смотрела на Чибиса и зябко сутулилась в молчании. Облезлые солдаты карабкались на рупоры вентиляторов, обнимали мачту, глядели обалдело на людей, которых не разгадать...

Глеб смотрел на смердящую людскую груду, на потные ослизлые лица — не жалко было никого, только любопытно и смешно.

...Волки... Вот они, эти волки. Рыскали они с кровью в глазах по просторам республики. Три огненных года полны великих страданий. В борьбе он научился ненавидеть этих людей, потому что смерть была над ним в бурях и непогодах, и ночи войны багровели пожарами, а дни отравлялись кровью и дымом. А теперь — вот они, эти волки... Глаза их потухли, и челюсти стали беззубы...

Он слушал Чибиса и улыбался: хорошо!.. Только мало — надо больнее, больнее.

Из кучи офицеров вышел скуластый человек. Голова его дергалась, и лицо искажалось тиком.

— Вы здесь — насчет издевательства... Вы думаете — вы поразили и... эк... (дернул головой) превзошли?.. Вы — мла-денцы... эк... А мы давно уже отравлены... и уже не чувствуем... Вы не знаете ужаса человеческого распада... эк... Я кончил...

И вяло отвернулся.

Чибис усмехнулся, вглядываясь в офицера. Смелость и вызывающий тон оживили лицо его любопытством.

— Вы правы. Но вы напрасно храбритесь. Вы в достаточной степени знаете, какую боль мы умели на-

носить вам. Не правда ли? Нас нельзя упрекнуть в несправедливости и легкомыслии.

Разболтанный человек отошел не оглядываясь.

Офицеры молчали, и лица их были серы, как у мертвецов.

Чибис взглянул на солнце, неожиданно улыбнулся и поднял руку.

— От имени трудящихся... призываем отдать ваши силы Республике Советов...

Дальше ничего не было слышно. Началась свалка. К Чибису рванулись люди с сумасшедшими лицами. Кричал Чибис, кричала Мехова, кричал Сергей... И Глеб кричал, а что кричал — ни слова не помнил. Солдат с голым плечом лежал брюхом на палубе и плакал навзрыд. Кто-то сипло ругался, задыхаясь от радости.

У Сергея дрожали руки и ноги. Чтобы успокоиться, он отошел в сторону.

Мачты стеблями качались в небесах. Антенна от мачты к мачте играла гуслями. И кружились лебедки весенними каруселями. Море и воздух волновались огненной зыбью. Верил Сергей, что жизнь — бессмертна и птицы в вихрях полета расцветят воздух взрывами крыльев...

Жидкий говорил с англичанином в позументе. Тревожно вздрагивала трубка во рту капитана. Силою воли он старался держать себя чинно и важно. Быстро, как автомат, приложил он дощечкой ладонь к козырьку и зашагал по-верблюжьи к рубке, потряхивая тяжелым задом. Жидкий смотрел ему вслед и смеялся. А когда увидел Сергея, подмигнул ему и раздул азиатские ноздри.

3

Красное знамя

Глеб стоял в толпе казаков. Это были фронтовики кубанских и донских станиц.

Казак в рваном бешмете, босой, бородатый, держал в руках обрывок красного полотна. Толпа смердила

потом и грязью и давила Глеба со всех сторон. Одеты все были по-разному: одни — в черкесках, другие — в рваных рубахах, третьи — в каких-то странных халатах... Кое-где виднелись и турецкие фески.

— Сия знамня — красная... Хай она тряпка, но твой взгляд, товарищ, привычный до красного воздуха... Ты гляди, хлопче, сердцем... Говорю открытой душой, товарищ: это наша доля, наша кровь — сия знамня... Я — казак, пластун... и это — все пластуны... Кубани и Дона — вояки... Но все — одной страдной дороги... Разве же не так, хлопцы? Не так я говорю, друзья мои?..

И толпа потряслась одним вздохом:

— Пппральпо, козаче... так точно!..

Казак скомкал красную тряпку и опять раскинул ее перед Глебом. И на солнце она коробилась комками и корками.

Глеб взял полотно и пощупал кровавые пятна.

— Подожди, брат... Вот чертовщина!.. Ведь это — рубашка! С убитого, что ли? Почему она заляпана кровью?

— Ну да ж... казачья кровь... И вот с кровью своею идем до дому...

Горячо переливались глаза у казака. Почему он от этого казался рыжим?

— В Галлиполи сказали: довольно, хлопцы!.. до дому! А он был головной, казак Губатый... Изловили его и нас... И барантой погнали до бойни.. Пороли шомполами... И меня и их... Нас до мяса, а его, Губатого, — до костей... Он загнил, а мы очухли... Тут сказал Губатый: «Снимай с меня сорочку!..» Сняли. «Рви до полотна... Это, каже, ваша знамня до крови, хлопцы... То моя и ваша кровь... Я подыхаю... Берите знамня моей крови... То будет ваша знамня, то будет путь до воли, до большевицкого брата...» Так сказал казак Губатый, наш батько. И сия знамня — нам до смерти... Я хоронил ее на груди, хоронил от подлых глаз...

Глеб снял шлем с головы и без шлема стал таким же, как все.

— Замечательный флаг, верно... Это — кровь доро-

гая... Вы еще не забыли те чертовы дни? На всю жизнь останутся в памяти... Как рубцы от ран... Мы лупили Деникина и Врангеля... Какое у нас знамя?.. Такое же... политое кровью... А только вот... глядите, какой заводище... исполин!.. Он — еще холодный... Двинули с мертвого места, а он — еще слепой... Кто его зажжет своей кровью?.. Только мы — люди труда... И нас невозможно победить...

— Ну да ж... Мы все — до труда... Этим заморским, чужим и нашим чекалкам кровь трудовая — отрава!..

4

Девушка у борта

Девушка стояла у борта и смотрела на город. Сзади она казалась подростком, с черными волосами, горящими глянцем.

Сергей вспомнил, будто видел ее в толпе. По глазам догадался, что это была она.

И когда опять увидел ее на борту, подошел к ней, молчаливый, и вместе с нею смотрел на город. Ничего: в молчании бывают незабываемые минуты внутреннего общения.

Маковое поле пестрело на набережной... Когда ветер ползает по макам, не выносят ветра маки. Играет кошкой ветер с лепестками — боятся лепестки щекотки. Отрываются они без боли и, умирая, смеются вместе с ветром. Блекнет и пустеет набережная. Люди насмотрелись и расходятся по домам. Город и горы дышат каменным жаром. Улицы, пепельно-голубые, в волнах прозрачной зелени, воздушно взлетают в горы трубами завода. Животной жизнью дышит зеленая морская зыбь. Льются в море расплавленные дома. И горы, и город, и море дрожат в знойном опале и дыме. Чувствует ли это девушка у борта?

Это чувствовал Сергей и спрашивал девушку взглядом. Где он видел эту девушку раньше? Нигде. А может быть, видел во сне.

Она взглянула на него и улыбнулась.

Потом сказала будто не ему, а себе:

— Вот ждала я... Ехала и ждала... И вот теперь... все это переживала... Как вы умеете мучить!.. Мучить и потрясать радостью... Именно: и то и другое одновременно... Вы — страшные люди, коммунисты...

Сергей ответил, не глядя на нее:

— Зачем же? Это — проще и глубже: мы люди беспощадного действия, и наши мысли и чувства — это то, что называется необходимостью и правдой истории. Мы слишком простые и искренние люди и — только. За это вы нас и ненавидите.

— О нет... Мне кажется, тут — и зверь и величие творчества... Почему?.. Среди вас так много высоких подвижников, но много страшных людей, которые уже не чувствуют проклятия крови...

— Пусть так. Но мы идем в века. О нас забудут как о страшных людях, но будут знать и помнить как творцов и героев.

Помолчали. Девушка смотрела на волны. Потом сказала тихо:

— Я слишком много страдала... Я научилась прощать вплоть до оправдания...

— Мы тоже прощаем. Вы испытали это на себе... Как боремся, так и прощаем беспощадно.

Смятение, страх, восторг волновались в глубине ее глаз. Она протянула руку Сергею. Рука была маленькая и дрожала.

— Помогите мне понять и полюбить вас. Вы не откажете мне в переписке с вами? Вы не откажете?

Сергей отодвинулся от нее отчужденно и холодно.

— Я ничем не могу помочь вам: поможет вам только упорная работа. Надо переключать себя на новые токи и добиться того, чтобы стать в новые отношения к миру. Вот сойдете на берег и, может быть, родитесь заново...

Она прижалась к перилам, убитая его словами.

— Ах, родиться во второй раз так же страшно, как и умереть...

Он ничего не ответил ей, отвернулся и пошел навстречу толпе.

5

Корабль его величества в плену

Поля шла впереди толпы. За ней гурьбой — матросы, за матросами — орава казаков и солдат.

Душно. Палуба полыхает жаром и гарью. От солнца она готова вспыхнуть огнем и дымом. Жидкий и Глеб взлетали над толпой и падали в густые пучки растопыренных рук.

Англичанин в позументе строго говорил что-то Чибису. Трубка прыгала у него в руке, а Чибис стоял перед ним и бесстрастно смотрел на море.

...Большевики — хозяева на корабле его величества. Это стадо бродяг, изъеденное вшами, голодом, — грозная сила, которая может в одно мгновение взорвать корабль и проглотить его железный порядок...

Поля вскочила на ящик и сдернула с головы алую шлычку. Ее волосы рассыпались золотом. Она взмахнула руками, как крыльями.

— Да здравствует всемирная пролетарская революция!..

— Урра!.. рра!..

Молоденький офицерик кричал, надрывался и хлопал в ладоши.

Капитан дрожал в ознобе и хрипел потухшей трубкой.

Чибис махнул картузом и зашагал к парапету.

— Товарищи, — к трапу!..

Толпа сразу умолкла, повяла в тревожном вопросе. Только красная тряпка с темными корками крови вспыхивала над головами. Девушка смотрела на Сергея сквозь улыбку и слезы. А Сергей с грустной радостью помахал ей рукой.

В утробе парохода грохотало и лязгало железо, а палуба пылала пожаром.

XV. НАКИПЬ

1

Будни

Все лето не было дождей, и небо над заливом было ржавое, а море за молами мрело блистающими миражами. В этих миражах таяли парусники, фелюги и дальние песчаные отмели. У берегов море было зеленое и прозрачное — в зыби, в нефтяном перламутре, в цветах медуз, в водорослях. Плыли на город тихие бризы в запахах моллюсков и сероводорода. И уже не было горизонта: и море и небо плавились в один воздушный океан. А горы дымились жаром и в ущельях жирно клубились зелеными отеками лесов. Склоны и ребра мерцали в сиреневой мгле и в море уже не отражались: целые дни у берегов, по всему размаху полукружия, барахтались, кувыркались в воде густым засевом люди и ползали по массивам каботажей, по скалам и прибрежной россыпи гальки и раковин.

Город нестерпимо пылал камнями и железом, мостовыми и пылью площадей. Люди задыхались от духоты и слепли от блеска тротуаров, стен и горячего воздуха. А на бульварах, в тени, сохло во рту, обжигал лицо суховей, и листья акаций пахли горячей прелью. Улицы были пустынны и дрожали зеркальной далью; казалось, что люди бежали из этого адова пекла и жизнь остановилась в своих делах и безделье. И только кое-где медленно шагали полуголые, обожженные тени с портфелями и изнуренно боролись с тяжестью собственных ног.

Магазины нарядно играли витринами. Кафе рокотали из зияющих дверей глухим многоголосьем, цоканьем игральных костей, призрачным пением скрипок и вздохами рояля.

Впервые в эти дни в столовой нарпита, в Доме Советов, запахло мясным борщом, помидорной подливкой и зеленью. Но застарелый запах шрапнели еще нудно

и тошнотно ползал по столам, по стенам, по посуде и отравлял аромат мяса и жареного картофеля с луком.

В час обеда в столовой Дома Советов встречались все ответработники города. И в обеденных испарениях комната шумела разговорами, звоном тарелок и ножей. Раскрытые окна горели уличным солнцем, а воздух внутри угарно синел пылью и табачным дымом.

Бадьин обедал всегда за одним столом со Шраммом и завздравотделом, тучным доктором Суксиным (за глаза его обидно звали — Сукинсын), всегда молчаливым, всегда робким и испуганным, всегда потным, глухим и рассеянным. Обрюзглый, небритый, с конской щетиной на черепе, он растерянно смотрел в глаза Бадьину и никогда не понимал, что говорил предисполкома, что говорили собеседники, всем услужливо поддакивал, не горлом, а чревом:

— Ддо-о... До-до-о...

И тяжело ему было говорить потому, что язык у него был непомерно велик: не умещался во рту и при разговоре выползал, как слизняк.

Часто садился вместе с ними продкомиссар Хапко, похожий на деревенского кулачка — выпуклый, по-воробьиному прыткий и пристальный. Он ел долго — дольше всех: некогда было — все смотрел по сторонам, строго и подозрительно. Он следил за всеми, кто как ест, часто вскакивал из-за стола и совал нос в кухню, в посудную, к соседям, которые пообедали неряшливо, к советским барышням, которые перекидывались с кавалерами крошками хлеба.

Голос его был с трещинкой, и он визжал, как нож на точиле.

В кухне:

— А ну, вира!.. Почему малые порции? Воруете, сволочи... Я вас живо скручу в бечеву... Майна!.. Завтра же потребую ревизии эркаи...

В зале, у столов:

— Майна, товарищи!.. По-вашему, продком — для того, чтобы вы задарма по столу и по полу хлеб кидали вразброс?.. А ну, барышнешки, шасть! Здесь — не шантан, и нема отдельных кабинетов...

И в столовой, как он только появлялся, вспыхивали ссоры и крикливый базарный скандал.

За ужином их не было в зале: собирались они в комнате Шрамма (а комната Шрамма была в коврах, шкурах и мягкой мебели). Иногда они засиживались до рассвета, а что они делали в комнате Шрамма — никто не знал, только по утрам уборщицы Дома Советов видели бутылки под столом, выметали шкурки от колбас и коробки от консервов, и утренний воздух комнаты смердил окурками и дрожжами.

И вот однажды несколько вечеров подряд стал дежурить у дверей комнаты Шрамма человек кавказского облика, с выпученными красными белками и крючковатым носом. Это был Цхеладзе. Когда-то он храбро партизанил и его отряд первым с боями ворвался в город. А теперь Цхеладзе затерялся в штатах продкома. Босой, в зашарпанной гимнастерке времен партизанства, он терпеливо и молча стоял у двери и по целым часам слушал спрятанные внутри голоса. Глубоко за стеной раздавались шаги; Цхеладзе поворачивал горбатые лопатки к двери и отходил в сторону.

А когда отворялась дверь и кто-нибудь из четверых выходил в уборную с размякшими глазами, Цхеладзе засматривал в распах двери, в нутро комнаты, и ловил голодными белками тайну уютного шраммова гнезда. Его не замечали, — проходили мимо и не догадывались, почему из вечера в вечер стоит здесь этот грузин. Разве мало людей в коридоре Дома Советов? Разве Цхеладзе чем-нибудь отличается от других обычных людей, которые толкутся в Доме Советов?

А открыл и поймал его около двери продкомиссар Хапко.

Цхеладзе не успел отойти (у Хапко — воробьиная походка) и носом к носу столкнулся с Хапко.

— Майна?.. Ты что здесь, чертова морда? Шпионишь?..

Цхеладзе забунтовал, и белки его вспыхнули ненавистью.

— Какой-такой майна? Ты шьто дэлаишь?.. Шьто за полытыка строишь?.. Скажи, пожжалста...

Хапко вцепился в его гимнастерку и размахнулся кулаком. Цхеладзе запутался в собственных штанах — крутым поворотом шарахнулся вбок и ударился головой о стену.

— Вира!.. Это тебе — не царский режим, сволочь поганая!.. Я, брат, тебя за эти проделки завтра же из партии вышвырну...

Пришитый к стене, с растопыренными руками, оглушенный, Цхеладзе со злой растерянностью смотрел на Хапко.

Из комнаты вышел Бадьин.

— В чем дело?

— А шпионит, кинтошка... Для того тебе, чертова морда, существует советская власть, чтобы ты разводил тут сыск на советских ответственных работников? Бери у него, предисполком, партбилет, и — вира!..

Бадьин в упор смотрел на Цхеладзе ночными глазами.

— Я тебя достаточно знаю, Цхеладзе. Хапко лжет. Ну, была пьянка. Он выпил спирту и спьяну сдурел.

Хапко, пораженный, пискнул, захлебнулся и шлепнул себя по черепу ладонью.

— Майна!.. Предисполком!.. Да ты что — спятил?

— Говори, Цхеладзе. Я заранее знаю, что ты скажешь. Говори прямо — честно и твердо.

У Цхеладзе задрожали губы и лицо вспотело от натуги и страдания.

— Да, я хадыл... хадыл и слушал, да!.. Хадыл, слэдыл, как ты рабочий полытыка строишь... Шьто дэлаишь?.. Зачем сволочь разводышь?.. Как ты рабочего чалавэка чюишь?.. Ты шьто знаишь?.. Голод знаишь?.. Кровь знаишь?.. Разруху знаишь?.. Пачему пазор нэймеишь?.. Эх товарщь!..

Бадьин стоял перед Цхеладзе и слушал его внимательно и строго. Хапко смеялся пьяно, со свистом. Бадьин положил руку на плечо Цхеладзе.

— Товарищ Цхеладзе, иди домой. Завтра ты получишь командировку в дом отдыха. Тебе надо немного подбодриться. Ты видишь: я не делаю секрета из своих поступков, и тебе нет надобности устраивать наблюдение за товарищами. На этот счет у нас дело

поставлено превосходно, и кустарничать нечего. Иди! Видишь, я не скрываю от тебя: согрешили.

Он отвернулся и пошел от него в комнату Шрамма. А Хапко еще раз по-хозяйски строго оглядел Цхеладзе с ног до головы и, в подражание Бадьину, ткнул руки в карман тужурки, — от этого стал еще короче и круглее.

— Ничего, брат, я тебя скоро возьму на абордаж...

Разбитый и сутулый, Цхеладзе пошел по коридору неустойчивой поступью, как больной, шаркая плечами по штукатурке.

Около двери Жидкого он остановился. Не заметил, сам ли отворил дверь, или она была открыта, почувствовал только, как чья-то рука подхватила его под мышку и втащила в комнату. Он остановился у порога и увидел, как лампочка над столом погасла за мутной тенью. Эта тень молча прошла мимо него, и лампочка опять вспыхнула и осветила грязную пустоту маленького гостиничного номера в пятнах сырости и плесени.

— Ну, иди посиди немножко, Цхеладзе. Расскажи, что там такое случилось.

Жидкий опять взял его под руку и провел к столу, усадил на табуретку, а сам не сел — стал перед ним, немного изумленный, с бледными ноздрями и вздрагивающими бровями от скрытой усмешки. Цхеладзе взглянул на него с мольбой и злобой в зрачках. Он в бешенстве ударил кулаком по коленке, встал, пристально, сквозь слезы, опять взглянул на Жидкого и опять сел.

— Товарщь Жидкий!.. Стрэлят нада... совсэм стрэлят, товарщь Жидкий... Минэ стрэлят, тэбэ стрэлят... Скажи минэ, какой абарот жизны?.. Скажи минэ, как надо дэлат рабочий дэла?.. Я кровь лыл, дэсят ран был... А гдэ моя кровь? Гдэ голод? Гдэ разруха? Гдэ партыя, товарщь Жидкий?.. Нэ могу тэрпэт такой граз и подлыст... нэ могу тэрпэт...

Жидкий молча прошелся мимо Цхеладзе, встревоженный, с похудевшим лицом и утомленными глазами. Раз за разом он вскидывал руку и ерошил волосы. Он подошел к Цхеладзе и положил ему руку на плечо:

хотел душевно, без слов, успокоить его, но ласки своей выразить не мог, и от этой своей непривычной нежности смущенно и стыдливо засмеялся.

— Чудак ты, Цхеладзе!.. Чего ты ревешь из-за пустяков? Ну и черт с ними!.. Делай свое дело и знай, что ты для республики дороже, чем все они вместе взятые. Плюнь на них, если ты не можешь взять их сам за грудки, или бей их по линии партии, не щадя сил...

Цхеладзе опять с отчаянием и мольбою посмотрел на Жидкого, отмахнулся и уронил голову на руки.

Жидкий заходил по комнате и уже не смотрел на Цхеладзе. Думал и грыз ногти то на одной, то на другой руке.

— Тут — иное, Цхеладзе: это — не твое. Твое — это слишком мелко... Тут — страшный водоворот. Надвигается еще более ужасная страда, чем гражданская война, разруха, голод, блокада... Перед нами — враг скрытый, который бьет не винтовкой, а всеми прелестями и соблазнами капиталистического торгашества. В наших руках — вся система народного хозяйства. Это — много. Но выползает из утробы обыватель. Он начинает жиреть и перевоплощаться в разные формы. Он уже свивает себе гнездо и в наших рядах и надежно баррикадируется революционной фразой и всякими красными атрибутами большевистской доблести. Базар, кафе, витрины, сладкий кусок, уют, алкоголь... Люди после боевой обстановки срываются с цепи... Тут может быть и паника, и надрыв, и бунт... И не от усталости — нет: от здорового революционного протеста, от слишком развитого классового инстинкта, от боевой романтики. И тут как раз старые методы борьбы — уже не оружие. Враг — подлый, хитрый и неуловимый. Нужно выковать новые средства для новой стратегии. Тут простым возмущением и бунтом не возьмешь: это уже реакция и истерика. Тут надо перешерстить себя до нутра, перекалить, перековать в себе большевика для длительного осадного положения. Романтика бурных фронтов умерла. Теперь не нужно романтики: теперь нужны только спокойные, холодные, упрямые люди, с крепкими зубами, с бычьими мускулами и

здоровыми нервами. Надо быть большевиком до конца, Цхеладзе. Успокойся, товарищ, и давай вместе подумаем над многими вопросами, которые требуют большой мозговой работы...

Цхеладзе напряженно слушал, и низкий лоб его морщился толстыми складками под наползающими вихрами. И силился осмыслить слова Жидкого, перемолоть их.

Он яростно рванул себя за мокрые вихры и закрутил головой.

— Н-ны-как нэ панымаю... Ты шьто трэбуху разводышь?.. У минэ душя прастой и слава прастой... Скажи: зачем голову морочишь?.. Как ты минэ отвечаишь — страдал я, да? был зэлоный партизан, да? белогвардейцев бил, да? слово свое, кровь свой рабочий имэю, да? А гдэ мая кровь, а?.. Сабаки скушали... Скажешь нэт, да? Савсэм чалавэк падлец пришел... Панымайшь?.. Ничего нэт... Шябашь!..

Он встал и быстро вышел из комнаты.

Жидкий долго прислушивался к шагам Цхеладзе и опять заходил по комнате, не переставая грызть ногти то на одной, то на другой руке.

...Не мог изжить того, что было. А было такое по внешнему ходу событий, что бывало и раньше. И в прошлом налетали товарищи из краевого бюро ЦК, и в прошлом была суровая критика работы окружного комитета. Это — естественно и необходимо. Неизменно, как раньше — сосредоточенное молчание и почтительная настороженность ответработников к холодному и официальному товарищу из краевого центра, и так же неизменно бездушно начинался ритуал заседания.

— Дорогие товарищи!..

Но то, что совершилось недавно под шаблонной формой делового приличия, было так неожиданно и больно!..

Пресловутое дело об ущемлении... О нем говорилось меньше всего... Каждое заседание в присутствии белобрысого интеллигента из краевого бюро было взрывами склоки между ним, Жидким (тут и Лухава), и Бадьиным. Уничтожающая критика белобрысым

товарищем работы окружкома... Краевая КК... Намеки о переводе на низовую работу...

Простая тут склока или борьба разных сил? Товарищ из Краевого бюро ЦК назвал это склокой, и все называют склокой. Так просто! И все по своим углам следят за исходом этой борьбы. Сплетничают. Сами разделяются на враждебные лагери...

Уйти из этой борьбы побежденным, когда знаешь, что правда с тобою, — это слишком тяжело; это нельзя допустить, потому что это — конец. Раз сорвался — будешь раздавлен. Борьба — до конца, неустанная, настойчивая, пристальная, где нужно пользоваться всяким оружием, где нужно использовать все промахи и слабые стороны противника. Бадьин бьет умело: он в совершенстве пользуется бюрократическим аппаратом, административным опытом и собственным нюхом. Его надо ловить с другой стороны. Не всегда можно быть сильным, опираясь на живые массы. Массы — палка о двух концах: можно быть и вождем масс, а можно превратиться в жертву, в раба и демагога. Он, Жидкий, — близок массам, а Бадьин — над массами, оторван от масс. Но товарищ из Краевого бюро ЦК все-таки ставил Жидкому в пример Бадьина. Этих слов не забыть никогда:

— Вы — еще сравнительно молодой член партии: у вас нет необходимой крепкой выдержки, нет отчетливого понимания момента, нет продуманного подхода к делу, и потому вы срываетесь на головотяпство. Товарищ Бадьин прошел огромную школу партийной и советской работы, и вы многому могли бы у него поучиться. Почему вы не сумели контактировать своих действий и дать правильный анализ объективной обстановки, а форсировали события, которые должны были принять другое направление и иные формы? Все это я говорю потому, что бюро ЦК все-таки ценит вас как способного работника и знает вашу преданность партии...

Все-таки... Этот белобрысый интеллигент взял на себя слишком ответственную роль, чтобы от имени партии быть его ментором. Все эти залетные орлы не так страшны и не так значительны, как они кажутся на местах.

Ясно одно: романтики нет... романтика умерла — она в прошлом. Торжественное революционное действо отошло в историю, и потрясающие гимны замолкли. Не действо, а — действие. Надо переключить себя на иные токи, чтобы уметь всякий факт сделать послушным и верным орудием в повседневной борьбе.

Он, Жидкий, знал, что делалось в комнате Шрамма, знал, почему комната Шрамма в коврах и мягкой мебели, знал, что Шрамм не видел мошенничества в райлесе, — знал это Жидкий, но не бил тревоги, чтобы не вносить дезорганизации в партийную работу. Он выжидал удобного случая, чтобы нанести быстрый и меткий удар. Романтики — нет; романтика — это вчера. А сегодня — холодная расчетливость.

Почему бы сегодня не разворошить всю грязь обывательских будней, которые скрывались за дверью комнаты Шрамма? Почему бы не раскопать всех ордеров на колбасу, окорока, консервы и на спирт из здравотдела?.. Почему бы не схватить за горло Шрамма, как врага?.. А с ним...

Он вышел в коридор, кусая ногти, и побрел в ночную глубину, где мутным отблеском на стене молчала открытая комната Чибиса.

2

Трудный переход

Глеб добился включения в повестку дня экосо доклада о необходимости частичного пуска завода. Лабазы — пустые. Есть клепка на сто тысяч бочек. Можно было немедленно двинуть в ход перемол клинкера и пережиг цемента в одной из печей. Готовый камень лежит отвалами в тысячах кубах на каменоломнях. Надо только тронуть другую магистраль бремсберга. Первая магистраль пусть работает по доставке дров.

Доклад делал сам Глеб в присутствии инженера Клейста как эксперта. Шрамм холодно и тускло возражал: опять говорил о производственном плане,

твердо сколоченном аппарате, о промбюро, о главцементе. Бадьин сидел в обычной позе, опираясь на стол, молчал и смотрел исподлобья на Глеба, на Шрамма, на инженера Клейста, и нельзя было понять, какую линию ведет он в этом вопросе: на стороне ли он Глеба, или на стороне Шрамма. Жидкий и Лухава кратко и решительно высказались за принятие доклада и предложили резолюцию: «Безоговорочно приступить к подготовительным работам по восстановлению производства».

Бадьин откинулся на спинку кресла и впервые улыбнулся Глебу коротким дружеским взглядом.

— Других предложений нет. А резолюцию товарища Лухавы голосовать не будем: против нее нет возражений.

Шрамм, напряженный, как восковая фигура, упрямо промычал чревовещателем:

— Я возражаю категорически и неуклонно.

— Резолюция принята, и товарищ Шрамм по существу не возражает.

Бадьин не глядел на Шрамма и говорил холодно и деловито:

— В условиях новой экономической политики производственные силы нашей республики свидетельствуют о своем возрождении и росте. Вопрос о пуске завода становится вопросом актуальным. Мы должны приступить к напряженному хозяйственному строительству. Продукция завода даже при настоящем уровне производительности труда дает возможность удовлетворить строительные нужды больших городов и промышленных районов. Вопрос решенный. Он требует только детальной разработки. Ты хочешь что-то сказать, товарищ Чибис?

Сквозь прищуренные ресницы Чибис смотрел на Шрамма из темного угла за столом и томился в дремоте и скуке.

— Вот. Я тоже говорю, что Шрамм не возражает. Шрамм не может возражать, и если кажется, что он возражает, то не верьте своим ушам. Шрамма уже нет: Шрамм — анахронизм.

И опять застыл в слепой скуке и усталости.

Глеб увидел, как рыхло дрогнуло и постарело бабье лицо Шрамма и глаза налились мутью.

Лухава внес предложение:

— Командировать товарища Чумалова в промбюро для скорейшего проведения решения экосо и добиться усиленных нарядов непосредственно для нужд завода.

Глеб подошел к инженеру Клейсту, взял его под руку и засмеялся.

— Еду, как дважды два... Эх, и подниму же я бучу там, в промбюро!.. Пошли, Герман Германович!.. Это, товарищи, не техноpук, а золото... Замечательный спец Социалистической Советской республики... Знай наших!..

Через день Глеб уехал в промбюро, возвратиться же обещал через неделю.

На заводе шли работы по ремонту корпусов, рельсовых путей, машин и механизмов внутри разных отделений. С утра до четырех часов знойный воздух между заводом и горами, горячо насыщенный цикадами, пылью и зеленью, грохотал металлом, хрипел токарными станками и вагонетками и низкой струной пел в окнах электромеханического корпуса.

А бремсберг по доставке дров не переставая изо дня в день гремел вагонетками, и стальные канаты по-прежнему играли флейтами на ролах. На набережной гремели вагоны, кричали «кукушки» и выстрелами бухали в пустые короба дрючки и поленья.

В сверкающей гавани стояли в непонятном ожидании одинокие унылые пароходы.

Даша пропадала в женотделе, на собраниях, в командировках. Лизавета каждую неделю собирала баб в клубном зрительном зале, и там, за открытыми окнами, до полуночи разноголосо кричали они и будоражили тишину задумчивых зорь и горных лесных ущелий.

И когда в потемках расходились они по домам, еще продолжали кричать, и крики их были похожи на прежние ссоры из-за кур, из-за яиц, из-за домашних порух.

— Лизавета — неправильно... она неправильно, бабочки...

— Не бреши, Малашка... Она, Лизавета, — правильно... Мы все, бабы, дуры...

— Ну, ежели все дуры, так я не хочу быть дурой... Я вот возьму и обрежу волосы... Бабьи косы, милые товарки, для бабы — аркан: на то и косы, чтобы мужики крутили нас, как скотину...

— Ничего подобного... Вот собьемся, сорганизуемся и покажем... И мы силу берем... Вот — Даша всем нам пример...

— Ну да! Поглядите, что стало из хлопцев, а девчата — косомол!.. Раньше было боязно греха и людей, а сей день — косо-мол!

— Ну и времечко, товарки!.. Выйдешь за ворота — тут тебе и работа... И все так-то по-новому: и комсомол, и партия, и женотдел. За собой не поспеваешь...

Через ячейку и клуб сколотили две группы по ликвидации неграмотности, и когда открыли занятия — за столами оказались только одни женщины. Своей речью Даша очень их растрогала: она отметила, что они, не в пример мужчинам, являются активными борцами за просвещение и тем самым доказали свою пролетарскую сознательность. Дело не в том, чтобы научиться писать и читать, а в том, что это — начало большой работы над собою. Это открывает перед ними двери к государственной деятельности. Знание — большая сила: без знаний нельзя управлять страной. Женщины хлопали в ладоши и чувствовали себя больше и лучше, чем дома, умнее и богаче, чем с детьми и на кухне...

Каждый день утром и вечером заходила Даша в детдом имени Крупской к своей Нюрочке и видела: тает девочка, как свечка. Кожа на ее личике пожелтела и покоробилась, будто у дряхлой старушки. Смотрела Нюрочка на мать опечаленными, бездонными глазенками, и чуяла Даша: увидели эти глазенки что-то большое и невыразимое. Теперь уже больше молчала Нюрка, думала и лицом и глазами и была равнодушна, когда расставалась с ней Даша.

И Даша впервые за этот год переживала непереносную боль, но боль эту глубоко хоронила в душе. Никто не замечал в ней этой боли, и только товарищ Мехова однажды задержала на ней внимательный взгляд и тревожно спросила:

— Что с тобой, Даша? У тебя есть какая-то заноза...

— Ты видишь больше, чем нужно, Поля.

Поля смолчала и опять пристально вгляделась в Дашу. И в ее глазах Даша увидела что-то похожее на опечаленные глаза Нюрки.

— Я не знала, Даша, что ты способна притворяться и лгать.

— Ну, пускай есть заноза, товарищ Мехова. Зачем тебе знать, какая у меня заноза? Это никого не касается.

— Да, вот это самое, Даша... Мы крепко организованы и плотно спаяны, но страшно чужды друг другу в своих личных жизнях. Нам нет дела до того, чем живет и дышит каждый из нас. Вот что ужасно... Впрочем, ты ведь не любишь, когда говорят об этом...

...Тает Нюрка, как свечка, — единственная, родная Нюрка, и никто не может сказать, почему она тает. Зачем доктора, если они не в силах сказать ясного слова, если они не властны вырвать ту немочь, которая точит ребенка? Впрочем, не в докторах дело. Она, Даша, знает лучше всех докторов в мире, почему Нюрка гаснет, как звездочка утром. Не только молоко матери нужно малютке: малютка питается сердцем и нежностью матери. Коченеет и блекнет малютка, если не дышит мать на ее головку, не греет ее своей кровью и не насыщает ее постельку своей душою и запахом.

Вина только на ней, на Даше, и этой вины не изжить никогда. Впрочем, не в ней была эта вина, это была необходимость — та сила, во власти которой находилась она сама, Даша, — та сила, которая отрицала смерть и которая пробудила ее к жизни через страдания и борьбу.

Было одно: Нюрка гаснет, как искра. Была Нюрка — и не будет Нюрки. Трепыхала она когда-то но-

жонками на ее руках, у груди, ползала, училась ходить и лепетать первые слова. Росла. И вот когда Даша впервые пережила ужас смерти, муки ее были непереносимы: пожертвовать Нюркой, переступить через нее не было сил. Мать готова была предать революционерку. И только муки товарищей и страшная и прекрасная смерть Фимки ослепили ее душу и погасили неотступный образ дочурки. И она не мыслью, а всем существом постигла тогда, что есть другая, более могучая любовь, чем любовь к ребенку, — и эта любовь открывается человеку в последний, смертный час.

А вот сейчас увидела Нюрку, с лицом дряхлой старушки и с бездонными глазами, опечаленными смертью, — опять, как давно, не может она перешагнуть через ее труп. Да, Нюрка — это жертва ее жизни, и жертва эта — убийственный для нее упрек. И такой разговор был у нее с Нюркой в один утренний час:

— Нюрочка, тебе больно, дочка, да?

Нюрка покачала головой: нет.

— А что тебе нужно, скажи?

— Ничего мне не нужно.

— Может, папу хочешь повидать?

— Я хочу винограду, мамочка.

— Еще рано, голубка, — виноград не поспел.

— Я хочу с тобой... чтоб ты никогда не уходила и чтобы — близко... и винограду... и тебя и винограду...

Она сидела на коленях у Даши, вся тепленькая, родная, неотделимая от нее.

И когда Даша положила ее в постельку, Нюрка долго глядела на нее глубокими глазами, сосредоточенная в себе, и лепетала в тоске:

— Мамочка!.. Мамочка!..

— Что, доченька?..

— Так, мамочка!.. Не уходи, мамочка!..

Вышла Даша из детдома и не свернула, как обычно, на шоссе, а нырнула в густые заросли кустов, бросилась на траву, где было одиноко и глухо, где пахло землей и зеленью и ползало солнце горошинками, и долго рыдала, разрывая пальцами перегной.

Один раз ночью, в отсутствие Глеба, приехал к Даше на автомобиле Бадьин. Она услышала, что фырчит за окном мотор, и вышла из комнаты. Столкнулась грудь с грудью с ним на крылечке. Бадьин хотел тут же обнять ее, но она сурово оттолкнула его.

— Товарищ Бадьин, здесь тебе нечего делать. Ты эту тактику брось!..

Бадьин опустил руки и стал тяжелым и рыхлым.

— Даша!.. Я ждал, что ты встретишь меня немножко теплее...

— Товарищ Бадьин, уезжай сейчас же. Слышишь, товарищ Бадьин? Иначе я поставлю вопрос о тебе в партийном порядке.

Она крепко захлопнула дверь и щелкнула запором.

3

Кошмар

По утрам, когда Поля шла в женотдел, и после четырех, когда возвращалась домой, она торопилась пробежать этот путь с мучительным нетерпением. Шли люди навстречу, шли впереди, и они отражались в глазах размытыми тенями, и не лица она видела, а только ноги — в ботах, босые, в обмотках, в брюках, в подолах, в чувяках, в спущенных женских носочках, — много ног, мотыляющих вперед и назад, неутомимых и пыльных. Она не могла поднять головы, чтобы твердо и спокойно взглянуть на витрины, на открытые двери, на людей, у которых был другой облик, чем раньше. Женщины уже стали не такие, как недавно, весной: зацвели наряды — шляпы в букетах, прозрачный батист, модные французские каблучки... У мужчин — манишки, галстучки и шевровые ботинки. Опять заструились запахи духов, и голоса зазвенели громко и радостно. В кофейнях, в сумраке, сизом от табачного дыма, толпились и барахтались призраки. Среди глухого далекого рокота голосов звенела посуда, звякали кости в азартной игре, и неизвестно от-

куда, из глубины табачной дыры, струились едва уловимые звуки струнного оркестра.

Откуда все это пришло? И почему пришло так быстро, нахально и жирно? Почему щемящая тоска в душе и сумятица в мыслях?..

Будто попала она в чужую страну, и ушло из души что-то дорогое, невозвратимое, без чего нельзя жить. И еще — стыд, позор и неосознанный страх. Боялась — подойдет к ней кто-нибудь из рабочих или из этих вот оборванцев, изъеденных голодом, с гнойными глазами, и спросит в упор:

— Ну? Так вот до чего вы достукались? Вот чего вы хотели? Бей их, подлецов и обманщиков!..

И эта постоянная боязнь дурманила ей голову галлюцинациями.

Однажды, в конце августа, на набережной, на рельсах и на угольной пыли каботажа, она увидела большую толпу оборванных, волосатых людей. Они грудой лежали, сидели, копошились вповалку — мужики, бабы, детишки.

Пищали, захлебывались, надрывались от плача грудные младенцы, кто-то глухо стонал. Бабы искали вшей в головах друг у дружки, мужики — в рубашках и в очкурах штанов. И лица у всех — в водянке.

Прохожие — деловые люди — с любопытством и строгим изумлением останавливались и нюхали воздух.

— Что это такое? Голодающие?

А из пыльной, вонючей свалки сипло мычали:

— Бя-ада, братцы! Занес вот бог — все одно горе мыкать... Може, дай бог, оклемаемся, отудобим... С Волги... с голодающей земли.

И до самого окружкома Поля больно несла в себе этот дрожащий сиплый голос, затерянный в стоне, в смердящих телах, и этот жалобный писк грудного младенца.

— Бя-ада!..

И потом каждый день по улицам города бродили целыми семьями и в одиночку эти голодающие мужики с овчинными лицами, в дерюгах и лаптях, с детишками на руках, и пели слабыми, икающими голосами:

— Помогите... голодающие... помираем...

По ночам Поля спала в кошмарах, часами мучилась бессонницей и в эти часы слышала то, что слышала днем, — ясно, назойливо, мучительно: играл струнный оркестр, далекий и манящий, чакали игральные кости, и под окном, на улице, жалобно плакали тусклые голоса:

— Помогите!.. Братцы!.. Бя-ада!..

Она вскакивала с кровати, шлепала босыми ногами к окну, с бьющимся сердцем, с сверлящей болью в голове, и смотрела в ночь. Тишина, пустой мрак и безлюдье. Прислушивалась и опять возвращалась в постельную духоту. Засыпала. Опять просыпалась от странных, потрясающих толчков. И опять — далекие скрипки, щелканье костей, смех, надрывная мольба и писк грудных младенцев.

И вот в одну из этих знойных, бессонных ночей случилось то, чего она ждала давно, как неизбежного.

Где-то распахнулась дверь и сразу ахнула голосами и хохотом, и эти голоса раскатились по коридору, зарокотали и поплыли далеко, переплетаясь в невнятных перекликах.

Потом голоса и шаги растаяли в ночной тишине. Очень далеко певуче цыкали капли, и из тьмы струились призрачные скрипки. Поняла: это пели за окном унылые песни телефонные провода.

— Братцы милые!.. Помогите!.. Бя-ада!..

Не заснуть.

...Песни рабочих масс, толпы в водоворотах и потоках, красные лица, красные знамена. Красная гвардия в горящем ливне штыков. Товарищ Ленин на Красной площади. Издали видно, как вспыхивают его зубы, как вытягивается подбородок и призывно выбрасывается рука с растопыренными пальцами, а под шапкой-ушанкой морщатся щеки и скулы. И кажется, что он смеется. И ничего не осталось в памяти, только эта призывная рука, белый оскал зубов и морщины на щеках... Как давно!.. Будто сон, будто образы раннего детства... Норд-ост подметает на улицах пыль... пыль и пепел... Почему раньше не было пыли, а теперь знойные дни и ночи задыхаются пеплом? В ком-

нате Сергея — тоже тишина, а в тишине — шелест бумаги. Иногда задумчивые шаркают шаги. Милый Сергей, он тоже не спит: свою бессонницу он отмеряет прочитанными страницами.

Раздался тихий стук в дверь, в какую — не поймешь.

— Ну? Кто это?..

Голос Бадьина пробасил дружески, с улыбкой:

— Полячок, ты спишь? Оденься и выйди на минутку: дело есть.

— Не могу, Бадьин. До завтра.

— Нельзя, Полячок. Поднимайся и выходи.

Щелкнул ролик, и дверь отворилась. Распахнулся мутный свет в пустоту коридора. Как? Почему так случилось, что она забыла этой ночью запереть дверь? Мельком увидела, что Бадьин необычного вида: половина — белый, половина — черный.

— Ну вот, так лучше. Ты слишком тяжела на подъем.

Он затворил дверь и щелкнул ключом. Стены опять потухли во мраке, и мрак стал бездонным. И вместе с мраком, сгущая мрак, сам — мрак, невыносимо тяжелой громадой шел к ней он, который должен был прийти неизбежно.

Задыхаясь от страха, она прошептала, отбиваясь руками от тьмы:

— Что тебе надо, Бадьин?.. Что тебе надо?..

И не успела опустить рук: страшной тяжестью он обрушился на кровать и придавил ее к подушке.

— Молчи, Полячок... молчи, молчи!..

Она не боролась, раздавленная тьмою, — не могла бороться: зачем, когда это было неизбежно и неотвратимо?..

Клубилась в искрах бездонная ночь. Где-то далеко шумела большая толпа, и необъятными размахами грохотал гром. Да, это — норд-ост. Это — не дождь и не гром: это — норд-ост. Теперь небо — сухое и прозрачное, и звёзды ярко и четко переливаются ослепительными пучками радуг. Был Бадьин или не был? Может быть, это — обычный кошмар? Ведь кошмары — всегда реальны, как жизнь. Не потому ли они

так страшны и потрясают душу? Был Бадьин или не был?..

Она лежала неподвижно. Рубашка была смята в мокрый комок. И долго не могла почувствовать своего тела: будто есть только голова, а тела нет. Всюду — пустота и бесконечность: черная бездна. И нет ее, а только — голова, и голова невесомо плавает в этой бездонной пучине. А там, во тьме и за тьмою,—гром и рев бури. Так хорошо и спокойно, и нет ничего — нет времени...

Шаги Сергея зашаркали к ее двери и остановились. Почему Сергей подошел к ее двери? Услышала Поля эти шаги, и дрогнуло сердце. Тело вдруг задрожало и закричало в ужасе. Бадьин... Да, его дверь — рядом, за изголовьем. Он был и ушел.

В глубине, около сердца, ныла тоска, как страшное предчувствие смерти. Что такое?.. Почему такая невыносимая боль?..

— Ой!.. Ой!..

Она закорчилась на кровати, сползла на пол и вдруг онемела от страха. Опять густел и падал на нее огромной тяжестью мрак.

Босая, в одной рубашке, она выбежала в коридор, схватилась за ручку двери в комнату Сергея и забилась, ища спасения от неотвратимой беды.

— Сергей! Сергей!! Скорее... пожалуйста!.. Сережа!

Царапалась и толкалась в дверь и, как сквозь сон, чувствовала, что дверь дышит под нею и никак не может отвориться.

И когда она распахнулась, Поля обхватила шею Сергея и задохнулась от рыданий — маленькая, беспомощная, с ребрышками ребенка.

Дрожали руки и ноги Сергея, и билось сердце от потрясения. Он отвел ее на кровать, укрыл одеялом, налил стакан воды. Зубы ее стучали о стекло, и вода струйками текла по подбородку.

— Это — мерзко, Сергей... Это — страшно... Я не знаю, что произошло, но произошло что-то непоправимое, Сергей...

Он сел около нее на стул и мягко, робко поправлял подушку, одеяло и гладил ее руки, волосы, щеки.

— Ну, не надо... Успокойся, Поля... Я знаю... Если бы ты крикнула, я вышиб бы дверь и удушил его...

— Ты не знаешь, Сергей... ты не знаешь... С ним нельзя бороться... от него нельзя спастись...

— Не будем говорить, Поля. Выпей еще воды и засни. Я буду сидеть около тебя, а ты спи: тебе непременно надо заснуть. Это — норд-ост... Давно не было норд-оста... Завтра будет свежо и прохладно...

— Сергей!.. Сережа, ты такой близкий мне и родной!.. Я знала, что это случится, Сережа... и я не могла... Я не знаю, что будет, Сергей...

Он сидел около нее и неудержимо дрожал. Задрожал он впервые с того момента, как только услыхал голос Бадьина. И тогда же почувствовал, что пол заколебался под ним, и с первым грохотом норд-оста все вещи покинули свои места и залетали, как птицы.

— Я знала, Сережа, что это не пройдет даром... Ты видел эти лица, эти голоса?.. Братцы, помогите... Бя-ада! И кости и скрипки в кафе... и витрины... Революция, превращенная в торгашество... И это... Все это — одно, Сережа...

— Да, все это одно, Поля... Надо пережить эту страшную полосу. Мы должны пережить, дорогая моя Поля... Должны пережить во что бы то ни стало... в борьбе...

Она уснула рука в руку с ним, а он сидел, склонившись над нею, не шевелился и смотрел на нее пристально, с печальной любовью, до самого рассвета.

4

Затор

На заводе после отъезда Глеба шла ремонтная горячка. Окна и крыши корпусов еще зияли разбитыми стеклами; в бетонных стенах еще чернели дыры в обрывках ржавой арматуры, а внутри, в сумеречных чревах, под звездами электрических лампочек стонало и барабанило эхо от молотов и сверл, от скрежета, звона и чавканья металла.

Работали все наличные рабочие силы — двести человек. Ремонт вращающейся печи требовал особого внимания. Нужно было произвести переклепку стальной обшивки и заново выложить внутри огнеупорный слой. Заново нужно было отливать мелкие металлические части на дробилке, на мельнице, на самотасках, на сложных передаточных механизмах. Большая порча была в резервуарах для жидкого теста, где надо было делать новые вращающиеся мешалки и менять целые системы труб, причудливых цилиндрических решет и всяких переплетающихся, легких в линиях и рисунках, деревянных и металлических приспособлений. Меньше всего работ было в электромеханическом корпусе и в машинном отделении. Там был Брынза. Жил Брынза — жили и машины.

Люди, голубые от пыли, суетились, ползали около печей, прыгали по переплетам, по кружевам перекладин, лестниц, парапетов, винтили, резали, пилили железо и медь, опутывались тенетами проводов, орали и задыхались от пыли, от духоты, от внезапной бурной трудовой встряски.

На второй магистрали работа шла спокойней и тише. Меняли рельсы в разных местах, чинили виадуки и очищали пути от камней и щебня.

Завод по-прежнему стоял в пыли и запустении, но уже всюду чувствовались его дыхание и первая машинная дрожь. В механических корпусах непрерывно день и ночь пыхтели и рычали дизеля.

И каждый день строго и важно обходил все работы инженер Клейст во всем белом, и впервые лицо его вздрагивало сдержанной улыбкой волнения. Так же юлили около него старые техники и десятники, и так же небрежно отдавал он им приказания, дергая головой в такт своим словам. Но с рабочими был попрежнему сух, молчалив и проходил мимо равнодушно, отчужденно и слепо.

Глеб поехал на неделю, а пропадал целый месяц. Со второй же недели работы без него пошли с перебоями и к концу совсем прекратились. Заводоуправление перестало выполнять утвержденный план и удовлетворять материальные сметы, а в совнархозе

нельзя было добиться никакого толку. Опять — промбюро, главцемент, госплан...

В заводоуправлении чистоплотные спецы были откровенны с Клейстом.

— Бросьте, Герман Германович, чудить. Завод не может быть пущен. Неужели вы не понимаете? Для чего им, собственно, завод? Ведь смешно, Герман Германович... Предположим, что завод пущен и продукция поступила на склады. Что же дальше? Рынок? Но его ведь нет. Раньше нашим цементом питалась главным образом заграница. А теперь? Строительство? Но ведь строительства тоже нет и не может быть, потому что нет ни капитала, ни производительных сил. Тарарам произвели здоровенный — в этом надо им отдать справедливость. А вот силенки-то нет, опыта-то нет, средств-то нет для созидательной работы. И не может быть при отсутствии частного капитала и частной предприимчивости. На национализированном коне далеко не ускачешь. Воленс-ноленс приходится обращаться к варягам.

Клейст холодно и важно слушал спецов, курил папиросу, не спорил, а заметил коротко и веско:

— Я пришел сюда не для разрешения вопросов из области политической экономии и общей системы государственного хозяйства в России. У меня — скромная задача: потребовать от заводоуправления выполнения производственного плана на ближайшее время. Ремонтные работы прекращены по вине заводоуправления.

Спецы смотрели на свои руки и прятали улыбки в учтивой предупредительности к Клейсту.

— Заводоуправление здесь ни при чем, Герман Германович: оно получает все инструкции от совнархоза. Обратитесь непосредственно в это учреждение.

Это были новые люди, присланные из совнархоза, но эти люди, под покровом лояльности, надежно несли в себе прошлое. И он нес это прошлое, но оно стало далеким и мертвым: это прошлое перегорело в огне настоящего, и от него остались только одни головешки. Между ним и этими людьми уже не было понимания. И он видел, что глаза их потухали от его

неожиданных слов, и в улыбках их были скрытая насмешка, недоверие и трусость. Этот странный чудак или слишком хитер, или выжил из ума от панического страха перед большевиками...

Клейст шел в совнархоз. И там встречали его так же почтительно и приветливо, как своего человека, и улыбались так же, как в заводоуправлении, — загадочно, многозначительно, через золотые зубы, через пристальные намеки в глазах.

Так же важно и холодно он излагал цель своего прихода, и тут, как и в заводоуправлении, ему давали учтиво-официальные ответы сквозь дымку скрытой насмешки.

— Да, выполнение ваших смет задержано, Герман Германович: вероятно, они будут пересмотрены. Видите ли, мы не можем вопреки промбюро и главцементу... Пока нет соответствующих условий... Предсовнархоз, как сведущий и осмотрительный человек (а в глазах — пристальный игривый смех), ведет твердую линию... Шутить он не любит... Тут слишком все поспешно... Что скажет главцемент... Есть основания предполагать, что в промбюро и особенно в главцементе вся эта затея с заводом не встретит сочувствия... Мы ждем авторитетных указаний.

Клейст уже без техников и десятников бродил один по заводским корпусам, по рельсовым путям, подолгу осматривал пустынные площадки и постройки, разобранные механизмы, мусорные остатки прерванных работ и угрюмо бил палкой по камням, обломкам и брошенным материалам. И только один человек встречался ему в этих молчаливых прогулках — сторож Клепка, с бровями и бородой, как хлопья цемента.

Глеб приехал с задранным шлемом, весь грязный и мятый с дороги, но с прозрачными, будто вымытыми глазами. Он не зашел домой, а пронесся прямо на завод, пробыл там короткое время и, бледный от ярости, широко зашагал на бремсберг. Везде — пустота, сор и разлом, как в первые дни его приезда из армии.

Задыхаясь от бешенства, он бегом промчался в заводоуправление.

Опрятные спецы, оглушенные горластыми ругательствами, в изумлении и растерянности застыли на местах: кто шел — остановился, кто сидел — встал, кто писал — не поднял головы. Глеб с порога же начал глушить всех сплеча:

— Какая это дрянь, скажите мне, учинила это подлое дело?.. Я хари всем побью за это предательство... Где директор?.. Я сейчас всех мерзавцев отправлю в Чека за саботаж и контрреволюцию... Вы думали — меня нет, так можно вести старую тактику?.. Вы думали, что без меня ваш паршивый номер пройдет?.. Чертовы куклы, я вас всех посажу на аркан!..

Он бегал из комнаты в комнату, кого-то искал, никого не видел, швырял стулья, сметал бумаги со столов и толкал людей, которые стояли у него на дороге. Кукольно-нежные машинистки испуганно корчились на стульях и прятали свои прически в клавиатуре.

А люди стояли и сидели немые от испуга и, когда он убегал от них, панически переглядывались и прикладывали ладони и бумаги ко рту.

Когда немного прошел бешеный порыв, Глеб бросил в одной из комнат шинель и сумку и ворвался в кабинет директора. С таким же тревожным изумлением, но стараясь быть спокойным, встретил его директор Мюллер, с серебряной щетиной на черепе, с серебряными стрижеными усиками, в золотом пенсне. Он встал и протянул ему руку через стол.

— Что это вы там расшумелись, товарищ Чумалов? Вы так ругаетесь, что лопаются стекла.

Глеб не сел и руки Мюллера не заметил. Стал боком к столу и с угрозой спросил:

— Кто распорядился прекратить работу на заводе?

Мюллер развел руками от покорного бессилия.

— Вы мне не ломайте дурака, а режьте прямо. Какая это скотина угробила всю работу на полном ходу?

Мюллер вздрогнул, сверкнул стеклами пенсне, и лицо его стало дряхлым и ржавым.

— Прежде всего, я просил бы вас, товарищ Чумалов, быть осторожнее в выражениях. Заводоуправление здесь ни при чем. Мы прекратили работу потому,

что совнархоз не нашел возможным продолжать ремонт за отсутствием необходимых средств и без санкции высших хозяйственных органов.

— Дайте мне распоряжение совнархоза... Всю переписку... сейчас же! Снюхались с совнархозной шатией: думали, что за моей спиной удастся передернуть карту? Думали, что в промбюро меня отошьют, а вам под горячую руку будет удача? Шалите, голуби, я вас здорово посажу под колпак.

— Какие же у вас основания, товарищ Чумалов, возводить на нас такие тяжелые обвинения? Я протестую самым категорическим образом: вы необдуманно говорите оскорбительные вещи. Мы же не маленькие дети: мы не можем выходить из пределов инструкций и предписаний, исходящих сверху. Мы были устранены от участия в этих событиях: все склады опечатаны совнархозом, все документы изъяты из дел представителем совнархоза... Будьте любезны устраивать скандал не нам, а совнархозу.

Глеб повернулся к Мюллеру и ткнул кулаком в стол.

— Вы мне, пожалуйста, не заливайте сруды. Я великолепно знаю все ваши махинации. Вы, друзья, забыли дело с райлесом. Вы узнаете на своей шкуре, как стреляют прохвостов. Вы меня принимали за дурака и водили за нос, а я вам буду ломать башки и ребра. Имейте в виду, что с утра рабочие приступают к работам. Ремонт должен быть закончен через два месяца, а с осени завод будет на полном ходу. Поняли?

Мюллер пожал плечами, смущенно улыбнулся и хотел что-то сказать, но подавился сухим языком.

На площадке около завкома толпились рабочие, сутуло грудились в кучки в бездельной скуке, сидели в холодке на земле у стены, выходили и входили в двери. Курили. Гуторили разноголосо и хохотали. Громада стоял на высоком крыльце, в открытых дверях конторы, размахивал костлявыми кулаками и надрывался от чахоточного возбуждения.

— Как есть это, товарищи, временно, повинны мы, как рабочий класс, отнестись сознательно и так и

дале... Мы ячейкой и собранием вынесли резолюцию, и как совпроф и профстрой есть наши родные организации, таким образом мы всяко сумеем защитить наши интересы и дадим ход на предание ревтрибуналу... и всякую нечисть и сукиных сынов пришьем...

Толпа волновалась, кричала и аплодировала.

И только Савчук, в драной рубахе, расталкивая людей, размахивая руками, кричал как оглашенный:

— Бить их надо, идоловых душ. Почему лимоните? Терпеть не могу...

Глеб сбежал по широкой бетонной лестнице вниз и сразу увяз в гуще пыльных и потных лиц, в криках, в бестолковщине...

— Вот он, Чумалов!.. Ах ты, барбос, сукинова сына!.. Хо, теперь он, вояка, покроет... Хо-хо, да черт же тебя унес на нашу голову в недобрый час...

А среди этих радостных выкриков — другие, угрюмые голоса:

— Как же это так, товарищ Чумалов? Ведь что же это такое?.. Этак ежели будем работать, так лучше к черту в зад...

— Шутки, что ли? Мы знаем, чьи это проделки...

— Ха, эти старые шкуродеры спят и видят царский режим...

— Хозяевов ждут, черти поганые...

— Да что там голову морочить... К ногтю их — и никаких гвоздей...

Обдавали махоркой, по́том, и от тесноты и дыхания было угарно и душно. Глеб растолкал людей и поднялся на крыльцо к Громаде.

— Товарищи, работы пойдут полным ходом. Завтра по гудку каждый принимается за свое дело. Все эти махинации распутаем живо и сумеем кое-кого посадить на мушку. Еду в совнархоз. Потребуем, товарищи, беспощадной расправы с контрреволюцией. В промбюро я провел все наряды. Привез с собой топливо. Пошлем людей за клепками. Пускаем в первую голову дробилку и перемол клинкера.

Рабочие бросились к Глебу, подхватили его под руки, радостно затискали и оглушили ревом. Кто-то

поддел его под ноги, кто-то облапил поперек тела, и вдруг множество жестких рук швырнуло его в воздух.

— Забирай круче, братва!.. Даешь Чумалова!.. Гоп!.. Подавай выше... Гоп!..

— Да бросьте вы, черти полосатые!.. Перестаньте, идолы!.. — Глеб смеялся, болтал ногами и руками в воздухе, над головами рабочих, но видно было, что ему приятно, что этот бурный восторг друзей он считает вполне естественным и неизбежным.

Он стал на ноги, стиснутый утомленными товарищами, и сразу же столкнулся с Савчуком.

— Идолова ты душа... Глеб!.. Подавай на полный удар бондарню... Теперь не могу... Бить буду!

Глеб перемигивался с кем-то из рабочих и кому-то показывал кулак.

— Громада!.. Где Громада? Толкай его сюда, ребята... Едем, Громада!..

В совнархоз Глеб не поехал, а слез с линейки у дверей исполкома.

По лестнице на второй этаж он тащил Громаду под мышку. А Громада хрипел, задыхался и таращил глаза от изнурения.

— Ох, какая же ты дохлая курица, Громада! Голова ты садовая! Для похода ты — рваный сапог... Ну, набирайся духу для боя...

— Ты же знаешь, товарищ Чумалов, как я есть в удушливом разе, но всякому спецу покажу сорок очков вперед...

— Овва, горы своротим... Верно!..

И как только лохматый дядя увидел Глеба, отворил дверь еще издали и отодвинулся в сторону вместе со стулом.

Бадьин был не один: у него сидели Шрамм, Чибис и Даша.

Она взглянула на Глеба и ахнула глазами от изумления, и в них широкой волной плеснула тревога и радость. А Глеб увидел в глазах ее не радость — что-то другое, не виданное раньше, глубокое, как вздох.

Бадьин рассеянно взглянул на него исподлобья и опять опустил глаза на стол, на бумаги, которые ворошил волосатыми пальцами: слушал Шрамма.

Чибис сидел, как всегда: не то скучал, отдыхая, не то думал о чем-то своем, что не будет сказано вслух никому.

...Зачем тут Даша? Даша — у Бадьина. Неужели правда — ее загадки и шутки об одной постели в станице? Было это или не было? Почему в глазах у нее — тьма? Глаза ее — сухие, круглые, сожженные жаром, как в лихорадке. Опять душа ее — глубокий колодец, и, как вода в глубоком колодце, она далека для него и недоступна. И впервые он вспомнил в эту минуту слова Моти: не будет у них прежней жизни, не будет одного гнезда.

Он не подошел к ней, а она осталась сидеть в стороне и уже не смотрела на него — была как чужая.

Шрамм говорил глухим голосом:

— ...И не моя вина, если были злоупотребления в райлесе. Я выполнял пунктуально инструкции руководящих огранов. Почему тогда РКИ не замечала никаких ненормальностей, а теперь нагромоздила в актах целые кучи криминалов? Аппарат нашего совнархоза был до сих пор образцовым, работа проходила блестяще. И вдруг оказывается, что это — не работа, а чуть ли не сплошное уголовное преступление. Я этого не понимаю и требую тщательной и беспристрастной ревизии.

Бадьин холодно посмотрел на него и усмехнулся.

— Ты не понимаешь... Это — ясно, почему ты не понимаешь. Аппарат совнархоза — образцовый, схема выполнена великолепно. И потому, что этот аппарат образцовый, он являлся прекрасной защитой для преступлений. Ты передал всю работу в руки чужого, враждебного нам элемента. Ты не мог видеть из-за твоего образцового аппарата непрерывного грабежа в райлесе, не видел, что рабочие оставались без хлеба, без одежды, без инструментов, что агенты открыто занимались спекуляцией за счет государства. Ты не понимаешь, почему у тебя под носом совершаются мошеннические сделки по захвату народного имущества, как, скажем, недавняя сдача в аренду кожзавода бывшему владельцу. Ты не понимаешь, что в одном из твоих отделов был разработан, например, целый

концессионный план насчет цементного завода, чтобы вырвать его из рук государства и передать прежним акционерам. Ты этого не понимаешь, а я вижу в этом тягчайшую экономическую контрреволюцию.

Шрамм оставался в прежнем нечеловеческом напряжении. Только глаза его наливались мутью, и голос был в хриплых трещинах от утомления.

— В последнем случае я мог только разделять точку зрения сведущих людей, которые с цифрами в руках доказывали невозможность эксплуатации завода в ближайшие десятилетия. Все материалы по этому вопросу направлены в центр: ставить же этот вопрос на разрешение экосо я не был вправе. Вопрос же о кожзаводе был разрешен в положительном смысле в исполкоме.

Бадьин блеснул широкими зубами и обменялся взглядом с Чибисом.

— Я знаю, как он был разрешен в исполкоме. Там не было известно из твоего доклада о фальшивых цифрах и подставных лицах. Об этом мы поговорим с тобой в другом месте.

Он взял бумагу со стола и быстро пробежал глазами.

— Возьми, товарищ Чумалова. Сейчас же пройди в коммунхоз: пусть сегодня же он отдаст распоряжение об освобождении всех домов и немедленно оборудует их под ясли.

Даша подошла к столу и не взглянула ни на Бадьина, ни на Глеба, а Глеб увидел, что в глазах Бадьина одним коротким мигом вспыхнула пьяная капля. Челюсти Глеба до боли раздавили зубы и тинькнули в ушах.

— Товарищ Бадьин!..

— Ага, наконец-то!.. Где же ты пропадал до сих пор, черт тебя возьми? Ну, докладывай, докладывай, пожалуйста... Ишь как рожу испек: должно быть, здорово жарили...

И дружески улыбался Глебу.

А Глеб стал бок о бок с Громадой перед Бадьиным и угрюмо, с суровой отчужденностью, залпом отбарабанил:

— Товарищ Бадьин, я и член завкома Громада спешно прибыли, чтобы узнать: по чьему распоряжению и на каком основании прекращены работы на заводе? Там — полная дезорганизация и развал. Такого безобразия оставить нельзя. Я бы хотел знать, какая это сволочь развела саботаж и контрреволюцию? Рабочие неспокойны. Такая злостная бесхозяйственность хуже бандитского налета. Вот здесь товарищ Шрамм: пусть он ответит, как мог совнархоз допустить такую уголовщину?

Бадьин опять блеснул зубами в дружеской и странно веселой улыбке.

— Об этом я знаю. Из главцемента получена в совнархозе телеграмма о прекращении работ впредь до выяснения вопроса о целесообразности пуска завода.

— Я знаю, чья это работа, товарищ Бадьин. Но в совнархоз была послана из промбюро строгая директива — принять все меры к организации работ. Там этот вопрос обсуждался, и документы у меня на руках.

Голос у Шрамма был чужой и хриплый.

— Есть промбюро, но есть и главцемент.

Глеб в бешенстве заметался около стола. Щека его дергалась в неудержимой судороге.

— Товарищ предисполком, я ставлю вопрос на ребро: так работать нельзя. Пускай Шрамм хоть черта съел, но за такие дела надо дать ему хорошую вздрючку. Это — не шутка, товарищи. Мы еще насчет этого разбоя поговорим... А Шрамм не подходит к рабочему двору. Это — дважды два... Об этом будет доложено окружному комитету. Тут прямая угроза, товарищи, всей нашей хозяйственной политике. Товарищ Бадьин правильно подчеркнул: экономическая контрреволюция... вот! Надо положить этому конец. Дело райлеса — это одна малая болячка. Тут дело похлеще. Надо, товарищи, взять кого следует на аркан. Генерально поднять пыль во всех учреждениях. Довольно валандаться со всей этой белогвардейской шайкой: пора по-настоящему, взять ее за жабры. Должен сказать, товарищ Бадьин, что все резолюции экосо и наряды

проведены полностью. Завтра рабочие приступают к работам. Мы срываем печати со складов и все берем на учет. И еще заявляю, товарищ Бадьин: мы требуем безоговорочно нового состава заводоуправления. Мы поднимем и Москву, ежели на то пошло.

Он вытащил пачку бумаг и бросил на стол.

— Вот вам все документы. Нас били промбюро, так и мы же бьем этим промбюро.

Лицо у Шрамма было мертвенно бледно, а глаза тусклы и грязны, как у трупа.

Чибис быстро встал и вышел стремительным шагом, без прежней тяжести в ногах.

Бадьин опять исподлобья взглянул на Шрамма и опять улыбнулся веселой игрой в глазах.

— Ну как, Шрамм? Придется, вероятно, и совнархозу посидеть на одной скамье с райлесом? Картина занятная, поскольку дело принимает крутой оборот.

В коридоре Глеб натолкнулся на Дашу. Она, должно быть, ожидала его. В ее мерцающих глазах дрожал мучительный крик. Она стояла перед ним спокойно, как обычно, и сказала тихо, с надломом:

— Ты вот приехал, Глеб, а Нюрочка умерла... Ее уже похоронили, а ты не поспел... Сгорела Нюрочка, а тебя не было... Нет больше нашей Нюрочки, Глеб... родной мой!..

В первый момент Глеб почувствовал страшный удар в груди, а потом стало тихо, точно он вдруг оглох. Сразу же похолодело внутри и растаяли ноги, как при падении с высоты. Он не отрывал глаз от Даши и долго не мог выговорить слова.

— Как?.. Да не может же быть!.. Как?.. Нюрочка?.. Да не может же этого быть!.. Даша! Что же это такое?..

Даша стояла, опираясь спиной о стену, и Глеб увидел, как она, немая, плакала, задыхаясь и глотая слезы. Они текли по щекам на дрожащий подбородок и падали на грудь. Она не вытирала их и как будто улыбалась от беспомощности и покорности. Рядом, тоже у стены, Громада задыхался от хриплого кашля.

XVI. ПЛЕВЕЛЫ

1

„Пускай сердце у нас будет каменное“

Чистка заводской ячейки назначена была по распубликованному расписанию через неделю, шестнадцатого октября, и Сергей ждал этого дня с прежней думающей улыбкой и не испытывал ни волнения, ни тревоги, ни обычных вопросов, которые мучили его по ночам. Было только одно — удивление перед собою: почему он не забывает ни на миг о дне шестнадцатого октября (помнит о нем даже во сне). Знает, что это некий грозный рубеж в его жизни, — и все же глух душою к этому грядущему событию. Будет ли он исключен или оставлен в партии? Этот вопрос пролетал в мозгу странно легкой волной и потухал. А мозг спокойно, привычно исполнял свою обычную дневную работу и по ночам томился от пережитых впечатлений и неожиданных воспоминаний о былом. Но воспоминания были — как неясные сны: горы и море в солнце, птицы и далекие белопарусники, детские переливы криков, умирающая мать, лукаво улыбающийся отец, который лепетал что-то о стоицизме...

Как обычно, шел Сергей, кудрявый и лысый, с туго набитым портфелем, немного сырой, сосредоточенной походкой. Всегда был занят, всегда пунктуально выполнял задания дня. И не было мига, чтобы не помнил о шестнадцатом октября.

Как-то после его доклада о работе политпросвета Жидкий посмотрел на него с ласковой насмешкой и положил ладонь на его пальцы.

— Боишься, Серега? Верно: зададут тебе перцу — держись...

— Почему же? За что? Я не испытываю ничего похожего на боязнь. Это — будто вне меня и меня не касается...

— Ничего, не робей — защитим. Не так страшен черт, как его малюют.

Лухава, который, по обыкновению, сидел на подоконнике, уткнув подбородок в колени, вскинул голову.

— Врешь, Жидкий, ты сам боишься этой чистки. И я боюсь. Ничего не боюсь, а этого боюсь. Очень вероятно, что Сергей будет исключен. Где у тебя сила помешать этому?..

Жидкий раздраженно выпрямился.

— Он не будет исключен. Почему — не ты, не я, а он? По каким признакам? Интеллигент?.. Это — ерунда... Это — не мотив... У нас есть возможности к протесту, если бы это случилось. Работы комиссии идут безобразно — исключают по ничтожным мотивам. За эту неделю исключено уже до сорока процентов ответработников и почти такой же процент рядовых членов. Вот например, Жук... рабочий... А мотив: склочник и деклассированный элемент...

— Жук?.. Он исключен?..

Сергей вытянулся к Жидкому в изумлении, но сделалось это как-то само собою, и слова Жидкого не трогали его, как что-то далекое и малозначащее.

Лухава необычно спокойно и необычно твердо сказал с официальной небрежностью:

— Комиссия не обязана сообщать тебе факты, и ты не имеешь права вмешиваться в ее работу и критиковать ее методы. Для исключенных есть только один путь — обжалование.

— Пусть так. Но я буду действовать и ни перед чем не остановлюсь. Я дойду до самого ЦКК. Тот, кто чистит, ни черта не понимает в своей работе. Это ведет только к разрушению организации. У нас есть основания к протесту. Я этого дела не оставлю...

Лухава крутнул головой, усмехнулся.

— Осел!.. За это и тебя исключат или переведут, в лучшем случае, на низовую работу.

— Не пугай, сделай милость. Окружком не может быть пассивным зрителем в этом деле. Если мы будем хлопать глазами, нас надо гнать... к черту!..

А в женотделе Поля, похудевшая, с мукой в глазах, не могла удержать судорожной дрожи в руках и лице.

Даша сидела поодаль за столом и писала. Она не видела Сергея, не видела Меховой — какое ей дело до того, о чем они будут говорить и волноваться? В последние дни Поля часто видела ее с заплаканными глазами.

Мехова взмахом руки позвала Сергея и указала на стул против себя.

Она отвернулась и вздохнула.

— Сергей, не поможешь ли ты мне разобраться во всем том, что происходит сейчас? Я окончательно обалдела. Даша совсем перестает меня понимать: она стала очень груба и не может говорить со мной, как прежде. Я чувствую, что я буду исключена из партии, Сергей...

Даша молчала — не слышала, что сказала Поля.

Сергей тоже молчал: не знал, что сказать. Хотелось мягко коснуться ее души, а слов, нужных, сердечных, не находил. И о себе хотелось сказать что-то очень простое и очень значительное, и тоже не было нужных и важных слов.

— Я буду говорить то, что вижу и чувствую. Ты понимаешь? И меня исключат... То, что происходит, что совершается... что распинает меня и революцию... я не смогу лгать...

Даша перестала писать и подняла голову.

— А что же такое происходит, товарищ Мехова? Я что-то не возьму в толк... Работа идет в женской организации лучше, и мы научились выступать общим фронтом не хуже мужчин. Что же случилось, товарищ Мехова?

Поля вздрогнула от голоса Даши и быстро вскочила на ноги.

— Как ты смеешь это говорить? Ты не знаешь, что случилось, да?.. Ты не знаешь, что кровь рабочих и красноармейцев... море крови... слышишь? — море крови пролито только для того, чтобы отдать эти площади с невысохшей кровью для базаров и кафешантанов? Чтобы смешать все, все в одну грязную кучу?.. Ты этого не знаешь, да?..

Сергей еще не видел Полю в таком потрясении. Лицо ее стало как у припадочной: оно побледнело,

пот липкой росою покрыл лоб и верхнюю губу, а глаза стали сухими и острыми.

Даша опять наклонилась над бумагой и усмехнулась понимающей, снисходительной улыбкой.

— А я думала — что... Так неужто ты, товарищ Мехова, думаешь, что, кроме тебя, все такие дураки и оболтусы?

— Да, да!.. Дураки!.. Предатели!.. Трусы!..

И потом вдруг утихла, жалко улыбнулась Сергею, вскинула ладони к глазам и заплакала.

— Почему я не умерла тогда... в те дни... на улицах Москвы... или в армии?.. Зачем мне было знать эти мучительные позорные дни, дорогие товарищи?..

Неудержимой улыбкой задрожало лицо у Сергея, и никак не мог он выдохнуть застрявшего воздуха в легких. Прыгали губы, как чужие, и в глазах растаяли и Поля, и окно, и стены в тягучее волокнистое месиво. Должно быть, устал. Должно быть, не может переносить чужих слез. Должно быть, Поля взяла у него последние силы в ту ночь, когда она ворвалась к нему, убитая страхом.

Даша стояла около Меховой и обнимала ее.

— Поля! Как тебе не стыдно, родная? Ты слезами и припадками хочешь доказать свою силу? Ты — не барышня, а коммунистка. Пускай сердце у нас будет каменное, а не банная мочалка... Ты зашилась, Полюха, — иди домой и успокойся. Можешь на меня положиться: меня хватит еще надолго.

Она возвратилась на свое место и опять заскрипела пером.

Поля растерянно и долго смотрела на Дашу, потом на Сергея и молча села на стул. И необычайно спокойно ответила сквозь зубы:

— Я никуда не пойду. Я пришла работать, — и буду работать до конца.

— Ну да... Я же знаю тебя, Поля: мы ведь с тобой работаем не первый день, моя роднуша...

Даша писала, не поднимая головы, и улыбалась.

2

Чистка

Мехова проходила чистку вместе с Сергеем в заводской ячейке: Сергей — как прикрепленный, а Поля — как пропустившая чистку в своей ячейке по болезни.

Собрание открыли в клубном зрительном зале: было много народу — навалила беспартийная масса. Коммунисты грудились в передних рядах, а беспартийные — сзади. И оттого, что стены комнаты проваливались зеркалами и из этих провалов напирали новые толпы, а за толпами — новые провалы и новые толпы — казалось, что люди сбились тысячами. А в зале было только человек полтораста.

Глеб сидел четвертым в комиссии за столом, перед сценой. Люстра в пятьдесят лампочек пламенела бриллиантами висюлек и ожерелий.

Члены комиссии были из других организаций. Двое в солдатских шинелях и картузах. Третий — портовый рабочий, похожий на татарина, партизан. Один из военных был скуластый, смуглый до черноты. Другой — костлявый, с пепельным лицом, и борода веничком. Он постоянно хватал ее тремя пальцами и осторожно доил. Когда он поднимал глаза, то глаз не было видно — они были бесцветны. Все время, когда говорил с вызванным к столу коммунистом, не смотрел на него и будто говорил не с ним, а с кем-то другим. И партбилеты будто не смотрел, а только мял тонкими окоченелыми пальцами.

Сергей услыхал шепот позади:

— Вот шерстобит, идол!.. Загрызет, истинный бо...

И когда костлявый человек назвал Громаду, не понял Сергей: этот ли человек выдавил из себя голос или тот — другой, рядом...

— Товарищ Громада... ваша автобиография?

— Моя ахтобиография такая, товарищ... Как рабочий пролетарий с малых лет, но как нас великолепно эксплуатировали капиталисты, дискустировать тут нечего...

А сзади шепот:

— Э-эх, вот так чешет!.. Молодцом, Громада!..

— Когда вступил в партию?

— При советском режиме, так что по учету время — год.

— А почему не вступал раньше?

— А какой шкет идет в объявку мастером преждевременно?.. Вы, товариш, заводским не были шкетом? Пройдет шкет выволочку в три этажа и так и дале... ну, и научится жарить.

— Я спрашиваю: почему поздно вступил в партию?

— Так я ж и доказываю: как есть наш враг — несознательность... и так и дале... но в Рекапе вступил скоровременно... зря не дискустировал...

— В красно-зеленых не был?

— Быть не был, товарищ, но с горами дело имел. За горами не был, а в горы братву и белых солдат уснащал... и так и дале... Мы с Дашей вместях винты нарезали...

— Значит, в красно-зеленых не был. Предпочитал сидеть дома и ждать погоды...

Громада почуял в вопросах этого костлявого человека опасность. В каждом слове его таилась неприязнь и жалила незаметно и больно. И когда почуял это Громада, осунулся, и в глазах его вспыхнула капелька ненависти. Может быть, заметил это сухопарый, а может быть, надоело ему возиться с Громадой — он поцарапал что-то карандашом на бумажке и отмахнулся от него.

— Можете идти... Кто хочет сделать какое-нибудь заявление насчет товарища Громады?

— Громада?.. Хо, Громада — козырь!.. Громада себя не жалеет... Совсем подыхает, а закручивает активно...

— Следующий... товарищ Савчук!..

Толпа забеспокоилась и зашептала, насторожилась. Савчук, в длинной холщовой блузе без пояса, лохматый, в ободранных штанах, зашлепал босыми ногами, задевая руками и боками за людей, а они с улыбками глядели ему вслед и хватали его за рубаху.

— Тю, скаженная бочара!.. Держи ровнее!..

Савчук стал перед столом угрюмо и не знал, куда деть свои длинные руки.

— Ты меня, товарищ чистильщик, о жизни моей не тревожь...

— Почему? Это — необходимо: на этом основана вся сущность проверки.

— Подлую мою жизнь не тревожь. Нет тебе до нее интересу, ежели я сам заховал ее к черту в зубы... Шабаш!.. Я — бондарь и делаю бочки... Это — вообче... Сейчас не делаю... Еще до бондарного цеха дело не дошло. А запоют пилы — ну, тогда почин будет для новых бочар...

— Вы вот тут пишете, что кое-кого за это время били по башкам и еще будете бить почем зря. Кому это вы били башки и о каких башках вы говорите?

Все напряженно ждали: грохнет Савчук какую-нибудь орясину, не рассчитав удара, и будет потеха и скандал. На лбу и на шее у него надулись жилы, а глаза заиграли смехом и злобой.

— Я их, идоловых душ, громил и буду громить, сволочей... Вот тут на скамьях слесаря сидят — и их бил... Они меня дюже нюхали, зажигальники... Один стал черт: что в лоб, что по лбу... И тогда, при старом режиме, в ахтанабилях форсу задавали, и сейчас они тем же махом банки ставят нашему брату...

— Кто ставит банки? Партийные и советские товарищи, что ли? Говорите конкретно.

Из передних рядов послышался одинокий голос, разбитый кашлем:

— Да гоните его в шею! Что он голову морочит!..

Зал вздохнул от ропота.

— Говорите точнее, товарищ Савчук. Башки разные бывают: одни надо действительно бить, а другие беречь пуще своей.

Савчук упрямо пробасил:

— Бил и буду бить... И вы мне не указывайте... Хозяевов богато, а командирами хоть трамбуй мостовую...

Сухопарый был слеп и глух: он ни разу не взглянул на Савчука и даже будто не слышал и не замечал его.

Глеб чужим голосом оборвал Савчука:

— Ты, друг, оставь хулиганить. Ты не с Мотей воюешь.

Савчук взглянул на Глеба налитыми кровью глазами.

— Замолчь, Глеб!.. Я — не какой-нибудь обормот... Меня крутить нечего... Я — на виду...

Неожиданно закричала женщина откуда-то издали, из-за голов:

— А того не высказывает Савчук, как лакал самогон да своей Мотьке ломал кости каждый день...

— Да все они, мужики, барбосы: бабы туды и сюды — и с горшком, и с мешком, и корми, и молчи, и детей годуй...

Мотя вскочила со своего места и заметалась в проходе.

— А неправда... неправда и неправда!.. Ежели Савчук меня бил, так и я его била... (Хохот.) Вы все не сто́ите Савчуковой подметки...

Люди притихли растерянно и смущенно.

— А где, Мотя, у Савчука подметки?.. Он босиком шагает — гляди...

А Мотя взволнованно огрызалась направо и налево:

— Вы не смеете Савчука... да, да!.. Он, Савчук, лучше вас всех. Не давайся, Савчук!.. Никого не бойся, Савчук!..

Улыбались члены комиссии, улыбнулся неожиданно весело и костлявый.

Поля вздрагивала и ежилась в ознобе. Сидела около Сергея и не отрывала глаз от стола.

Очарованная, смотрела она на костлявого члена комиссии и улыбалась одними губами, а лицо у нее было как у больной — в темных пятнах.

А Сергей волновался от смутной радости. Не все ли равно — в нем ли колыхалась эта радость, или она насыщала его из недр этой залитой светом толпы? Пела и младенчески смеялась радость в каждой клеточке тела, и все — и эти люди, и хохочущие шепоты сзади, и люстра в гроздьях огненного винограда — все было необыкновенно ново, полно глубокого смысла и значения. Сознание схватывает только отдельные звуки и жесты или только одну волну общего вздоха, и все

так ясно и просто. Это — разорванные миги, и эти миги играют яркой жизнью. А почему эта игра в общем сплетении мигов — огромный и сложный процесс? И сложный процесс — это великая человеческая судьба, и судьба эта — трагедия. Отец говорит иначе. Может быть, отдельный миг поглощает собою целую историю? Может быть, самое важное — не время, а миг, не человечество, а человек?

...Почему уши у Поли кажутся лишними? Они цветут, как лепестки. Когда она дышит, ноздри раздуваются и бледнеют по краям. В горячих каплях крови, разлитых по жилам, — боль и страдание. И в этих каплях крови — весь смысл и разгадка человеческой жизни, вся ее радость и простота.

— Товарищ Сергей Ивагин!

Встал. Шаг, два, три... Остановился. Так просто и тревожно...

Говорилось само собою. Слышал свой голос, а видел чужой нос, твердый, как клюв.

— Скажите, тот полковник, который недавно расстрелян, — ваш брат? Вы с ним часто виделись до его расстрела?

— Два раза: один раз у постели умирающей матери, а другой — когда мы вместе с товарищем Чумаловым схватили его как сигнальщика.

— Почему же вы не постарались помочь арестовать его после первого вашего свидания?

— Очевидно, не было повода.

— Почему вы не ушли из города в восемнадцатом году вместе с Красной Армией, а остались у белых? Разве вы были гарантированы от расстрела?

— Нет, какая же гарантия? Я в бегстве не видел особого смысла. И здесь можно было работать.

— Так. Вы тогда ведь не были коммунистом? Ну, тогда понятно.

— Что понятно? Какой смысл в этом вашем «понятно»?

— Товарищ, я не обязан отвечать на вопросы. Мы не устраиваем дискуссий. Вы — свободны.

Сергей не сел на свое место, а пошел между рядами рабочих в глубину зала, и с ним вместе, по бо-

кам и навстречу, шли еще несколько Сергеев, которые смотрели на него пристально, выпученными глазами в красных, набухших веках. И словно не по полу он шел, а по зыбкой, узкой доске, — и все вниз, вниз... И никак не мог удержать своих ног. И словно не ноги шли, а ползла под ним эта зыбкая доска, и ноги едва успевали переступать по волнующейся ленте. Сотни, бесконечные вороха лиц и шершавых голов в дыму и огненном тумане плывут, громоздятся со всех сторон...

И потом сразу все исчезло, как видение. Здесь, в коридоре, было пусто и вздыхала певучая тишина. Только где-то далеко играли юношеские голоса.

...Комиссия по чистке. Костлявый человек, спокойный в лице и движениях, непроницаемый в мыслях, без улыбки и боли (у него, кажется, нет и морщин на лице)... Были в его власти Громада, Савчук и он, будет и Поля, и Глеб, и Даша — все будут...

Звенели голоса за дверью, звенели клеточки мозга...

И как только он отворил дверь, его ослепили красные пятна знамен и полотен: пылали стены, летали надписи белыми птицами. И всюду — на окнах, в углах — пучки горных цветов.

Ребята — все в трусах, у всех — голые ноги и руки. Девчат можно было узнать по красным повязкам и приподнятым грудям.

Ряды, фигуры, ритмические движения...

— Раз — два — три — четыре...

Переплетались в петлях, в узлах, в сложных звеньях.

— Раз — два — три — четыре.

Сергей смотрел на эту музыку движений, и где-то близко, у самого сердца, волнами билась кровь:

— Раз — два — три — четыре...

...Сергей опять направился в зрительный зал. Он остановился у двери, прислонился к косяку — дальше не мог шагнуть. Столик за ворохами голов и плеч и четыре головы над ним казались недостижимо далекими, и эти головы в зеркалах и множество отраженных люстр были невыносимо ярки и жутки. Поля стояла у стола, маленькая, как девочка, без обычной повязки. Голос ее задыхался, рвался, дрожал и кричал от боли:

— ...и этого я не могу пережить, потому что не могу

понять, не могу найти оправдания... Мы боролись, страдали... Море крови и голод... И вдруг — сразу... воскресло и заулюлюкало... И я не знаю, где кошмар: эти ли годы борьбы, страданий, крови, жертв, или этот праздник жирных витрин и пьяных кафе?.. Зачем тогда нужны были горы трупов? Ведь не для того же, чтобы мерзавцы и гады опять пользовались благами жизни — жрали, грабили, улюлюкали?.. Этого я не могу принять и не могу с этим жить... Мы жертвовали собою, умирали, чтобы позорно распять себя... Зачем?

— А вы не находите, товарищ, что эта ваша лирика похожа на то левое ребячество, о котором недавно говорил товарищ Ленин?

Голос костлявого человека был спокоен, строг, без интонаций, и от этого вскрики Меховой были похожи на рыдание. А толпа горбатых спин и пыльных затылков кряхтела, лезла вперед и будоражилась.

— Вы — завженотделом, руководите организацией женщин, а говорите перед рабочими и теми же женщинами несообразные вещи. Это никуда не годится, товарищ.

Издали было видно, как дрожали губы у Поли и глаза лучились слезами. И как только она пошла по рядам пьяным шагом без цели и необходимости идти, люди смотрели на нее угрюмо и провожали долго, не отрывая от нее взгляда.

— Кто имеет заявление насчет товарища Меховой?

И вся толпа сразу охнула, загалдела, замахала руками.

— Какого черта!.. Почем зря!.. Верно!..

— А я бы подчеркнул, товарищи комиссия, как кучерявая есть недоносок... как мы не доросли еще насчет коммунизма... а гнать надо наипаче бабенок... и барышнешек тоже...

И когда отхлынула волна криков и осели спины и затылки, Сергей увидел Глеба, который стоял за столом и пристально смотрел на костлявого члена комиссии. Он порывался что-то сказать, шевелил губами и челюстями, но член комиссии не поднимал головы и был неподвижен.

Даша стояла впереди, перед столом, и пристально,

напряженно провожала Мехову испуганными страдальческими глазами. Потом она протянула руку Глебу и встретила острый, призывный взгляд его, кричащий о помощи.

— Товарищи, — слово... Так нельзя поступать...

Сергей вышел вслед за Полей в коридор и не слышал, что говорила Даша. Поля быстро, неустойчивой походкой пошла к выходной двери, и голова ее, отброшенная назад, моталась на плечах, как у слепой. Он робко позвал ее, и голос его глухо охнул в ночной пустоте коридора. Она не оглянулась и с разбегу всем телом упала на тяжелую дверь.

Сергей опять стал в дверях залы и впервые услышал громкий, молодой вскрик костлявого человека:

— Вот это я понимаю... Вот это — член партии!.. Это — настоящий работник и партиец. Наша партия может гордиться такими товарищами. Идите, товарищ Чумалова... Желаю вам всего хорошего.

И Сергей увидел, как костлявый встал со стула и потряс руку Даши.

3

Ничтожный элемент всеобщего

В своей маленькой комнатке в Доме Советов Сергей сидел под лампочкой и читал «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина. Он старательно отчеркивал целые абзацы и делал на полях неразборчивые пометки. Вставал и в глубокой задумчивости ходил по комнате от стола в угол, к умывальнику, по натоптанной пылью дорожке. Думал и не мог оформить, о чем думал. Сердце жгла тоска, мучительная до стона. А в голове холодно, как будто со стороны пролетали чужие мысли.

— Принцип энергетики вовсе не противоречит диалектическому материализму, ибо материя и энергия — это различные формы одного и того же процесса космического становления. Все дело — в методе, а не в словах... Диалектика — энергетична... Формы соотношений элементов материи мира — закономерны и

бесконечны... В формуле «материя и энергия» вызывает спор только буква «и»... Она статична и требует диалектической подстановки... Впрочем, надо подумать, надо разобраться... Какая-то путаница...

Опять садился, брал книгу, опять отчеркивал абзацы и делал неразборчивые пометки на полях.

В соседней комнате — у Поли — тишина. Поля была дома: матовое стекло двери, когда он шел по коридору, искрилось инеем от электричества внутри, и на мгновение он увидел кудрявую размытую тень на стекле. Он уже взялся за ручку двери, но тень закачалась, смылась со стекла и исчезла. Решил: не надо. Если она нуждается в нем, она постучит к нему в дверь или сама зайдет к нему, как заходила обычно.

С книжкой в руках, он на цыпочках подходил к двери и слушал. Тишина — ни шагов, ни домашнего шелеста. Должно быть, она лежала на кровати, с такими же глазами, с какими ушла из ячейки завода, а может быть, спала, утомленная волнениями пережитых дней. Если спит — это хорошо: завтра она может стать на ноги крепко. Она только немного устала (теперь так много уставших людей); ей нужно только отдохнуть. Была на войне — была счастлива: там научилась громко смеяться. Была в женотделе, в напряженной работе — тоже смеялась. А вот — новая полоса, отдача — и вдруг осела от ушиба. Ей надо только отдохнуть немного и понять. Не надо спать: она может позвать его, когда он будет ей нужен.

Чистка... Всё это было очень давно. Всё это так ничтожно: разве крошечный факт может иметь какое-нибудь значение в общем процессе свершений? В открытое окно влетали золотые и серебряные бабочки в мохнатых шубках, трепыхались, бились у лампочки, улетали в глубь комнаты и пели слабо натянутой струной. От этого комната казалась огромной, и думалось о том, что он — один, а впереди — много неведомых перемен. Подходил к окну и смотрел во тьму. Октябрь, а тепло, но в этой теплой и темной ночи — уже сладкие, странные запахи осеннего тления: и болотом пахнет и опавшими листьями. И в этой

каменной городской тьме (еще не было фонарей по улицам) тоже была тишина, только далеко, на вокзале, угрюмо вздыхали гудки и толкались вагоны. И там, под горами, за заливом, путаными гирляндами лучились электрические звезды. Это воскресал к жизни завод. Потом огненные редкие капли дрожали в порту, на пристанях и пароходах, и вспыхивали пламенные струи в бухте от этих мерцающих звезд.

Было мгновение, когда Сергей забылся в дремоте, и перед ним засеменил босыми ногами и засмеялся радостным смехом отец.

Он топтался со стулом в руках и невнятно бормотал, торопясь и захлебываясь, жуткую неразбериху. И оттого, что ничего нельзя было разобрать в этой смешливой болтовне отца, Сергею было страшно. Он сидел, лишённый движений, хотел подняться и — не мог. Отец грозил ему пальцем, теребил бороду и радостно смеялся.

Сон. Глубокими, редкими толчками билось сердце. За дверью, в комнате Поли, низким басом рокотал голос Бадьина. Громыхала и свистела железом кровать. Голос Поли был рваный — не то она плакала, не то смеялась.

Сердце билось глубокими редкими толчками. Сутулый, с надутыми жилами на лысине и висках, Сергей подошел к двери. Послушал, постоял с поднятым кулаком, готовым к удару. Судорога исказила лицо, и кулак медленно опустился и мягко разжался. Дрожа от озноба, он изнуренным шагом пошел к постели. Постоял, опять прислушался. Начал старательно, медленно раздеваться, потом потушил лампочку и зарылся с головою в одеяло.

4

Щепки

Утром, в обычный час, Сергей проснулся мгновенно и так же мгновенно встал на ноги. Сразу подошел к умывальнику и мылся недолго, но обильно. С полотенцем в руках стал у окна (окно было открыто всю

ночь). В комнате было холодно, и от этого было бодро и упруго на душе.

Небо было глубокое, как летом, и воздух прозрачный и золотой в далях. Горели солнцем панели внизу, крыши мокро блестели ночной росой и голубели отраженным небом. На хребтах гор, над заводом ослепительно пламенели клубастые сугробы. И очень далеко, в лощине, разрезая каменные отвалы и заросли молодого леса, стекающего с гор, вползал на подъем красной гусеницей товарный поезд: четко чеканились маленькие кубики с черными квадратами дверей и играли спицами колеса. Огненными охапками вылетал из трубы пар и долго не угасал, широко перекатываясь розовыми облаками. И запах осени — сладкий бродильный запах тления — холодный и металлический, ядреными волнами вливался в окно.

...Чистка. Зеркала повторного отражения со множеством толп и люстр. Его смущенные, наивные ответы... Ах, это было так давно и так ничтожно! Тело насыщено здоровьем, и хочется тяжелой физической работы для мускулов. И у окна он вскидывал вверх и в сторону руки, просящие движений: раз — два — три — четыре...

...Поля. Прошла мутная боль через сердце.

Она не пришла к нему — не хотела его дружбы. То, что было ночью, хотела она и на этот раз сохранить только в себе. Его боль — только его боль. А ее боль только делает ее ближе и роднее. Не скажет он ей о своей боли, и она о ней никогда не узнает. Она — сильна, она умеет смеяться, она встретит его сегодня и приласкает улыбкой, как друга. Милая, родная Поля!..

Он взял портфель и вышел в коридор. Комната Поли плотно затворена, и там — тишина. Спит. Пусть спит: ей надо отдохнуть и успокоиться.

В парткоме Сергей прошел в комнату комиссии по чистке.

Хотя был ранний час, но темная комната с окном в решетке уже густо смердела махоркой. Стояло несколько человек у стола, и лица у них были измятые, как после тяжелой болезни. Не видя Сергея,

столкнулись с ним двое — служащие из ОНО — и, как слепые, минуя его, молча, с улыбками избитых, запутались друг в друге в дверях. А услышал Сергей только горластые крики Жука:

— Бить надо, шлепать расстрелом, товарищи дорогие... Самих по шеям из Рекапе... Что вы понимаете в рабочем человеке? Утробу свою, шкуру только холите, а на рабочий класс вам начхать... Как ты меня чистил, чертова морда, ежели рожа моя для тебя — на щеколде?.. Что ты — кашу со мной кушал, что ли?.. Что ты мне очки втираешь, ежели ты сам — рваная щиблета?..

А сухопарый сидел за столом, глухой и замкнутый, и бесстрастно перебирал исписанные бумажки в толстой папке для дел. И как только Жук выкрикнул последние слова, он поднял голову и посмотрел на него.

— Товарищ, если вы считаете себя коммунистом, почему не обладаете должной выдержкой? Я вам уже сказал, что...

Жук рванулся к нему с искаженным лицом и ударил кулаком по столу.

— Ежели ты, дохлый черт, квасишь мне сопатку, так я должен сказать тебе спасибо? А этого не хочешь? Я вам покажу, где раки зимуют...

Человек небрежно сказал смуглому и скуластому члену комиссии, который сидел против него:

— Товарищ Начкасов, найди дело Жука и отложи для пересмотра на сегодняшнем заседании комиссии.

Потом безучастно взглянул на Жука.

— Сейчас вы себе окончательно отрезали всякую возможность к обратному вступлению в партию, товарищ Жук. Вы в достаточной степени доказали, что вы — вредный, разлагающий элемент. Я ставлю вопрос об исключении вас навсегда. А если вы будете продолжать орать, я позову дежурного партийца из ЧОНа и он вас выведет силой. Оставьте эту комнату.

И опять начал бесстрастно разбирать бумаги.

Жук ляскнул челюстями, увидел Сергея и, потрясенный, подошел к нему, точно искал защиты.

— Вот какие дела делаются здесь, Сережа, доро-

гой товарищ!.. Постоим, поглядим, поучимся настоящему делу...

Он махнул рукою и, убитый, отошел в сторону.

Стоял у стены против стола Цхеладзе. Он выкатывал огромные белки в кровавых подтеках и, не мигая, вглядывался в одну точку в ворохе бумаг. Сергей всегда видел его немым, и был он незаметен в работе, а когда-то командовал отдельной группой красных партизан и с боем вступил в город. Цхеладзе наткнулся глазами на что-то острое, вздрогнул, шагнул к костлявому человеку.

— Товарищ... Зачем шютишь?.. Давай смотреть своим глазам... Зачем слова — давай дэло...

В глазах сухопарого вспыхнуло изумление.

— Я вам уже сказал, товарищ: вы исключены из партии за склочничество. Мне некогда шутить с вами. Жалуйтесь!

Цхеладзе опять застыл в прежней позе и опять заработал челюстями.

— Хе, вот как дела делают, Сережа, дорогой товарищ!.. Гляди — вникай...

Сергей подошел к столу и справился о постановлении комиссии. Еще вчера понял, что он — исключен. Не знал, за что, и если бы поставил вопрос прямо о мотивах исключения, не смог бы ответить, но твердо был уверен, что он исключен.

— Да, вы исключены.

— Какие мотивы?

— Я не могу сейчас читать вам протокол. Получите своевременно выписку и узнаете. Если недовольны, можете жаловаться.

И ни разу не взглянул на Сергея.

И как только услышал эти слова Сергей, сердце заледенело и замерло.

— Так ведь это же для меня — политическая смерть. Уясняете ли вы это, товарищ?

— Да, уясняю. Это — политическая смерть.

— Но за что же?

— Значит, были серьезные мотивы.

Сергей хотел уйти, но никак не мог сдвинуться с места: не слушались ноги — они были во много раз

тяжелее его самого. За окном было не солнце, а красное зарево от пожара. И только подумал, что солнце так светит в знойную гарь, — увидел голубое небо и серые громады станционных лабазов вблизи. Как он отошел от стола — не заметил, и зачем стоял в комнате— не давал себе отчета.

Жук мял его руку и смеялся с хрипотцой в горле.

— Вот оно, Сережа, какая отличная работа. Пляши, бюрократия!.. А Савчука вот из вашей ячейки выперли, Мехову выперли, тебя выперли. Теперь им вольготно: дело пойдет ходором, в двадцать две горы... Ну, я ж им покажу, как рыбу удят рыбаки...

Цхеладзе опять укололся и, вздрогнув, растопырил веером пальцы.

— Товарищ... Зачем шютишь?.. Зачем, скажи, пожжалста, пустой слова гаваришь... Давай смагреть сваим глазам, шьто пишешь...

И опять вспыхнули от изумления глаза у сухопарого человека. Он наклонился близоруко над бумагами и сказал устало, сквозь зубы:

— Товарищ Начкасов, покажи Цхеладзе постановление.

Цхеладзе, как пьяный, шагнул к Начкасову. Смуглый член комиссии подал ему исписанный лист и ткнул пальцем в середину.

Ошалело, с безумным накалом в глазах, Цхеладзе взвизгнул:

— Паш-шел вон, мерзавец, сукин сын!..

Он не взглянул на бумагу, взмахнул рукою и ударил себя кулаком около уха.

— Ты минэ чыстыл... вы минэ чыстыл... Я вас тоже чыстыл... Нн-а!..

И комната взорвалась грохотом и дымом.

Цхеладзе лежал на полу. Из расколотого черепа выползала кровавая жижа.

Костлявый член комиссии, бледный и слепой, вскочил на ноги и испуганно смотрел на тело Цхеладзе.

Сергей не помнил, как вышел из комнаты. А когда очнулся, увидел около себя Жидкого, который тыкал ему в зубы стакан с водой и кричал:

— Пей, черт тебя дери!.. Не реви, как баба!..

Пойми: ведь не здесь же решаются дела. Ведь есть люди и выше. Пусть меня вычищают из партии, но этого безобразия я не прощу...

Сергей сидел на стуле и захлебывался от рыданий.

XVII. ТОЛЧОК В БУДУЩЕЕ

1

„Будем крыть дальше"

Пуск завода назначен был в день Октябрьской годовщины. Торжественное заседание горсовета решено было устроить в клубе, чтобы связать его с торжеством первой большой победы на трудовом фронте.

Партийная чистка уже закончилась, но коридоры Дворца труда задыхались от людей, от сырого бурого дыма, от угарной растерянности, от настороженного и покорного ожидания. Люди сбивались в кучи, говорили придушенными голосами, но были одиноки, похожи на больных.

В совнархозе и заводоуправлении невидимо и спокойно уже много дней производила ревизию РКИ.

Шрамм по-прежнему сидел в своем кабинете с плотно затворенными дверями и принимал с одиннадцати до двух. И там, за дверями, было тихо и строго. Аппарат работал так же сложно и многолюдно, мощно и спокойно, как и в прошлые дни. Только опрятные спецы были немного бледны, мутны, с тревожными пристальными глазами. И в сутолочной толпе служащих, склоненных над книгами и бумагами, не видно было ни волнения, ни испуга, будто совсем не было тут РКИ и будто никто не знал, что такое РКИ и что такое ревизия.

Глеб разрывался между заводом и заводоуправлением. Он носился из корпуса в корпус, из цеха в цех, терялся в пыли, в свалке материалов и никак не мог вытерпеть, чтобы не схватиться за инструменты и не броситься в работу. В слесарном цехе напоролся на

скандал со слесарем Савельевым. А слесарь Савельев — один из старых рабочих — был угрюм, нелюдим, молчалив. Он часто отрывался от верстака, ревел от кашля и плевал черной густой мокротой. В такой час Глеб вырвал у него инструменты и накричал на него:

— Что ты возишься здесь! Чужому дяде работаешь, что ли?

Савельев, ошарашенный, пялил на него глаза и задыхался от кашля.

— Не плеваться должен, не моргать глазами, а работать... Нам каждая минута стоит дороже жизни...

Глеб гремел металлом, играл тисками и весь был в лихорадке.

Савельев напер на него плечом и затряс бородой.

— Да ты что же понимаешь о себе? Я сколь годов работаю — и токарь, и слесарь, и черт-батька. Ты еще не сосал мамкину титьку, а я уж в грудях носил кучи опилок. А туда же — в командиры...

— А мне начхать на твою бороду! Вас много найдется, чтобы закручивать волынку и тыкать на свой рабочий стаж. Ты только о своей шкуре хорошо понимаешь, а общее рабочее дело и производство для тебя — собачий аркан.

Рабочие, не отрываясь от работы, смеялись и кричали в восторге:

— А ну, а ну, Чумалов!.. Закручивай крепче!.. Приводи старичье в православие...

Глеб опомнился, бросил инструменты и захохотал.

— Тьфу, черт меня дери! Ведь вот какой дурак! Не серчай, друг... У меня руки чешутся, и я бешусь... от зависти, Савельев... Извини, брат, ежели обидел...

И побежал в другие отделения.

Ремонт печей и дробилки подходил к концу. Бремсберг был уже на ходу, и каждый день по нескольку раз на электропередаче весело махали спицами колеса в разных наклонениях и пересечениях, и ролы перезванивали на путях, как далекие кузнечные молоты. Только по-прежнему молчала воздушная канатная дорога к пирсу с застывшими в полете вагонетками и тускло горела ржой предохранительная сетка. И башенные часы с белым саженным циферблатом, не ра-

ботавшие три года, опять закрутили свои стрелы и по ночам, освещенные дуговыми фонарями, четко чеканили время за целую версту.

В бондарном цехе тоже шла подготовка к работам. Ремонтировали верстаки, очищали мусор и грязь, подвозили клепки на вагонетках. Савчук, весь в поту и пыли, как черт, горланил и матерился (бондари — первые певуны и матершинники) и вместе с другими барахтался в ворохах мусора и перегнивших стружек, в бунтах клепок и обручей.

Каждый день Глеб забегал в машинное отделение и сразу делался другим. Здесь был густой небесный свет, блистающая чистота стекол, изразца, черного глянца дизелей с серебром и позолотой и нежный, певучий перезвон рычагов, молоточков и стаканчиков. Эта строгая и молодая музыка металла мягко и властно ставила душу на место. Будто и в сердце стучали и пели эти нежные перезвоны. Подолгу смотрел он из-за латунной ограды на гигантские маховики, легкие в полете, на рыжие широкие шкивы, которые крылато струились и трепетали за маховиками, как живые, и терял свою обособленность. Здесь, около маховиков, неуловимых в движении, было тревожно от их безмолвия, только влажные, горячие волны полыхали в лицо, в руки и грудь и потрясали Глеба глубинным дыханием. Очарованный, он растворялся в этом чугунно-пернатом полете, в горячих воздушных волнах и стоял без дум, без опоры, без расстояний.

Обычно пробуждал его к жизни Брынза. Он брал его под руку и молча отводил к стеклянной стене, где бездонно голубел между дымами далеких хребтов морской и воздушный простор.

Уже не тот был Брынза, который встретил его весною. Была та же засаленная кепка лепешкой над носом, те же грязные острые скулы, подбородок и бурые усы. Но глаза были уже холодные, немигающие, с серебром и позолотой, как дизели. Уже не кричал он и не надрывался больше, а чутко прислушивался к звону и шепоту машин.

А разговор у них часто начинался так:

— Ну, командарм?

— Ну, милый друг?

— Ну, а дальше?

— Будем крыть дальше, Брынза!

— А шеи не сломаем?

— Да ты что? Ошалел, что ли? В партию тебе надо, родной, чтоб ты видел дальше своих дизелей.

— Ну, ты, командарм, проваливай дальше. Что такое — партия, если для меня существуют только машины? Есть партия, есть и машины. Я не знаю, что такое партия, но я знаю, как живут машины. Раз есть машины, они должны неизбежно работать. Я не люблю болтунов.

Он обрывал слова и уверенным шагом, немного сутулый, не оглядываясь, нырял в сумеречные переулки между дизелями и больше оттуда не возвращался.

Однажды, при осмотре ремонтных работ внутри корпусов, седых от цементной пыли, под грохот, суету и крики рабочих, Глеб встретился с Клейстом. Ожидающий его взгляд уже не раз удивлял Глеба. Эти глаза утомленно горели волнением и тревожным вопросом. Клейст мягко взял его под руку, и они молча вышли на виадук. Плечом к плечу прошли на площадку, к ажурной вышке, где они встретились памятным вечером. Вправо внизу чавкали дизеля, и низкими струнами пели скрытые в недрах динамомашины. На крышах корпусов ползали кукольно-маленькие скрюченные фигуры рабочих. Галками кричали железные листы, и молотки били дрябло, как барабаны. Окна зданий не чернели уже провалами вырванных рам и дырами разбитых стекол: они жирно переливались лазурью, тусклыми огненными осколками и зеркальными оттенями.

Воздух был по-осеннему прозрачный и звонкий и по-летнему горел солнцем и зеленью, а над заливом, в ослепительных искрах, белыми вихрями реяли чайки. И всюду — и в воздухе, и под ногами, в каменных породах, — дрожал далеким прибоем невнятный подземный гул. Очень близко, неизвестно где, пронзительно сверлил железом ржавый блок.

— Ну как, Герман Германович? Выходит так, что если дурак сказал: я — сила, он уж — не дурак. Мы,

коммунисты, мечтаем очень неплохо, товарищ техно-рук. В день годовщины Октября мы с вами сразу двинем всю эту махину. Надо поздравить вас как директора завода. Сегодня ночью утвердили вашу кандидатуру. Телеграфировали в центр.

Клейст улыбнулся сквозь судорогу в лице и, не теряя важности, крепко пожал руку Глеба.

— Я прошу вас, Глеб Иванович, забыть мое тяжкое преступление перед вами и другими рабочими. Сознание, что я виновен в смерти и муках людей, не дает мне покоя... Мне кажется, что я не выдержу этого ужаса.

Клейст с надеждой смотрел в лицо Глеба и не мог удержать дрожи в руках.

Лицо Глеба осунулось и стало упрямым и страшным. Это продолжалось только одно мгновение.

— Герман Германович, что было — то было. Тогда люди держали друг друга за горло. Но вы вспомните другое: если бы вы не спасли моей жены, от нее не было бы сейчас и костей. А теперь вы — наш работник, великая голова и золотые руки. Без вас мы ни черта бы не сделали... Глядите, какую работу провели мы под вашим руководством...

— Голубчик, Глеб Иванович, я отдам все мои знания, весь мой опыт, всю мою жизнь нашей стране. Для меня уже нет иной жизни, и нет для меня ничего, помимо борьбы за наше будущее.

Впервые увидел Глеб, как глаза Клейста залились слезами.

Глеб пожал его руку и засмеялся.

— Что ж, Герман Германович, будем друзьями...

— Да, будем друзьями, Глеб Иванович...

И он ушел твердою походкой, опираясь на палку.

2

Пепелище

Вскоре же после чистки Даша перекочевала в Дом Советов. Поселилась она у Меховой, потому что получила от нее такую записку:

«Я чувствую, что очень больна, Даша, хотя хожу, ем, разговариваю — и вообще по внешности со мною ничего не произошло. Но я ничего не вижу, не осязаю. Днем я — затравленный зверь, а ночью — сплошные кошмары. Пройдут еще сутки, и я, кажется, не выдержу. Несомненно, я — больна. Только ты одна можешь поддержать и выправить меня. Как друга, прошу тебя: поживи со мною, помоги мне собрать разорванные куски и стать на ноги. Я сижу сейчас у Сергея (полночь) — каждую ночь сижу. Он очень устал, но по-прежнему бодрый, мягкий, ласковый и ухаживает за мной, как за ребенком. Он готов не спать ради меня целую ночь. А когда я ухожу, он провожает меня не через коридор, а через дверь в мою комнату. Я боюсь, что он надорвется и свалится. В душе у меня зреет какая-то перемена. Какая — не знаю, а знаю одно, что стоит тебе побыть со мною несколько дней, и все опять будет хорошо, все будет опять на своем месте».

И Даша в тот же вечер с узлом под мышкой ушла в город той же бегущей походкой, как она обычно ходила по делам женотдела. Домой она пришла только за постелькой.

— Ну, Глебушка, хозяйствуй пока один...

Глеб изумленно встал с табуретки.

— Опять двадцать пять... Опять — новое дело... Ты хоть толком скажи, в какие страны направляешь лыжи?.. Командировка, что ли?

— Будешь в городе, забегай к Поле. Просит меня пожить с ней. Чувствует себя очень нехорошо.

— А сколько времени ты будешь ее врачевать?

— Не знаю. Надо сделать все, чтобы восстановить ее в партии.

— Да, это — верно. С этой чисткой здорово поголовотяпили...

— Ну, пошла! Ты меня, Глебушка, все-таки скоро не жди: не знаю, как обернется. Может быть, это даже к лучшему для нас обоих...

Они смущенно умолкли, и в их улыбках дрожали недосказанные слова.

— Ну... пошла... До свиданья пока...

— Ну что ж... иди, ежели надо...

Он проводил ее до калитки, а за калиткой опять взял ее за руку. Даша потянулась к нему губами. Он обнял ее и поцеловал. Чувствовал Глеб, что Даша уходит не просто, как уходила обычно на работу или в командировку, в отъезд: Даша уносила с собою все прошлые годы. Может быть, Даша больше уже не возвратится; может быть, сейчас вот, в последнем ее взгляде, — вздох о минувшем и радость перед новой дорогой. Уже не может он сказать ей властного слова:

«Я не позволю тебе оставлять дом. Мне это надоело. Жена ты мне или приблудная баба?.. Я не хочу поступаться своими правами. Почему ты предпочитаешь мне Мехову?.. Да и вообще ты слишком много берешь на себя. Твоя свобода — не безгранична: у тебя есть обязанности к мужу... Достаточно того, что ты пожертвовала Нюркой... Твое прошлое висит как проклятие между нами, а все эти Бадьины и прочие невыносимы для меня, как враги... Не доводи меня до скандала... Ты можешь найти работу и на заводе...»

Нет у него власти на такие слова, потому что эту власть она, Даша, отняла у него давно. И не просто жена стояла перед ним, а равный ему по силе человек, который взял на свои плечи все тяготы этих лет. И не просто жена была Даша, а женщина без привязанности к мужу. Вот она сейчас уйдет и, может быть, не вернется и будет ему так же далека, как и другие женщины. Ну что ж! Жили они до сих пор в одной комнате, спали сначала раздельно, а потом — на одной постели. Но ни на один миг не мог забыть Глеб самого главного — нет прежней Даши, — есть иная, новая, которая завтра может уйти и больше не вернуться никогда.

Порвалась последняя нить их супружеской связи — Нюрка. Умерла дочка, маленькая Нюрка, и были дни, когда общее горе крепко сблизило их. Была чистка, настали дни больших забот: у него — по заводу, у нее — по женотделу, и когда они встречались ночью в своей комнате — чувствовали, что мечта о личном счастье — иллюзия. После чистки заболела Мехова, и на

Дашу возложили временное заведование женотделом. А в парткоме, при встречах с нею, все говорили:

— Ну вот... Даша теперь — на своем месте... Даша будто всегда была завженотделом.

И ей и всем было ясно, что она скоро из «врид» превратится в настоящую «зав».

Расставаясь с ней, Глеб хотел сказать ей какое-то большое, задушевное слово и не мог: не знал, что сказать, а сказать нужно было обязательно. Не скажется сейчас — не скажется никогда. Даша умела слушать его слова, она была к ним чутка и пристальна, но не принимала она его такого: слишком много в нем было от старого мужа — и чрезмерная требовательность к ласкам, и истязающая ревность, и настойчивое желание пригвоздить ее к домашнему гнезду.

— Ну что ж, Дашок... В нашей домашней жизни я ничего не понимаю... Какая-то у нас волынка... Измучился я до последней степени...

Даша смотрела себе в ноги и старалась раздавить каблуком гладкий камешек, который ускользал при каждом нажиме башмака.

— Я не знаю, кто из нас больше измучился, Глебушка... Такой, как я прежде была, мне не быть. И бабой только для постели я не гожусь. Зачем же терзать себя понапрасну?.. Давай отдохнем друг от друга... подумаем...

— А ты просто скажи, Даша: не любишь больше... отвыкла... Слаще без мужа жить...

Даша взглянула на него исподлобья и сильно покраснела.

— Ну а если это — правда, Глеб?..

Глеб понял, что слова его оскорбили ее.

— Тогда и я скажу: пора кончать. Тут уж никто и ничто не поможет...

— Да... Все порвалось, все спуталось... Надо както по-новому устраивать любовь... А как — я еще не знаю. Подумать надо... Поразмыслим и договоримся. Одно важно: надо уважать друг друга и не накладывать цепей. А мы еще в кандалах, Глеб. Я люблю тебя, родной, но тебе надо перегореть... и все возвратится.

Она вздохнула и опять смущенно улыбнулась.

— Ну, я пошла...

Глеб побледнел и со стоном прижал кулак ко лбу. В сердце горела тоска.

И не успела отойти Даша несколько шагов, вышла из своей калитки Мотя. Она шла сырой утиной походкой, с огромным животом и туго налитыми грудями. Лицо было в бурых пятнах, а глаза — в синих кругах, покорные, утомленно-суровые. Она еще издали махнула рукою и улыбнулась.

— Ну, ну!.. Замахала шагалками, холостая... Ой, и наколошматила бы я тебя по загривку!.. Бабе детей надо рожать, а она гуляет чертякой... Она, видишь, от мужа удирает со своим барахлом. А я бы всех баб таких прикрутила арканом к мужней кровати и приказала бы: роди, сукина дочь!.. Ничего тебе больше не надо — знай одно: спи с мужем и роди!.. Вот оно, мое брюхо: теперь буду носить кажний год, так и знай... Я буду мать, а вы — сухопарые галки.

Даша подошла к ней, обняла свободной рукой и засмеялась.

— Ух, и чертова же ты квочка, Мотя!.. Поглядишь на тебя — завидки берут: не баба, а — утроба...

И пошлепала ее ладошкой по животу.

— Ага, то-то!.. Приду к тебе в твой проклятый женотдел, заголюсь, стану посередке и буду кричать: подходи, бабы, кланяйся, целуй — я богородица!..

Обе смеялись, и Глеб смеялся.

Даша шла к пролому с постелькой под мышкой. Ждал Глеб: вот оглянется она и махнет ему рукой. Красная повязка мелькнула раза два в распахе пролома и потухла за бетоном.

...Каждый день уходила Даша. Каждый день приходила поздним вечером. Часто бывала в командировках и пропадала ночами и днями. Было еще неспокойно в казачьих станицах: шайки бандитов бродили по горам и камышовым зарослям в балках, и ее поездки нудно лежали на сердце. Но вот сейчас сразу все оголилось, стало все скучным и чужим — и его комната, и улочка в палисадниках, и эта стена, которая отре-

зала от него Дашу. Зачем теперь пустая комната, зачем палисадник и дворик в две квадратных сажени? Она говорила с ним каким-то странным, чужим языком. Она ушла и, может быть, не вернется. Умерла Нюрка. Нет Даши, и Нюрки нет: остался он один. Чертова жизнь! Она — как дробилка, хрумкает все — и судьбу, и привычки, и любовь...

Мотя смотрела на него сбоку, и в глазах ее, затруженных материнством, искрами дрожали слезы.

— Ой, Глеб!.. Как же мне вас, милых, жалко!.. Какая у вас несчастная судьба!.. Сгибла ваша дочечка Нюрочка... И ты — как бугай... без семьи и без теплого места... Теперь ты не жалуйся, Глеб... Ежели пошли по огню — понесли сами огонь... И Нюрочка меж вами вспыхнула пылинкой... Ой, как же мне прискорбно, Глеб!

Он отвернулся от Моти и стал набивать трубку.

— Ничего, Мотя... Огонь — неплохая дорога... Ежели знаешь, куда шагают ноги и глядят глаза, разве можно бояться больших и малых ожогов? Мы — в борьбе и строим новую жизнь. Все хорошо, Мотя, не плачь. Так все построим, что сами ахнем от нашей работы!..

— Ой, Глеб! Ой, Глеб!.. Наработал в своем гнезде на свою шею...

— Овва, построим новое гнездо, Мотя... В чем дело? Значит, старое гнездо было плевое... Ну как? Скоро родишь?

Она засмеялась одними глазами, и в лице ее затрепетало счастье.

— Ну да!.. Через месяц, Глеб... Ты будешь кумом — так и знай...

— Обязательно буду кумом. Только уговор такой: как увижу попа — посажу его в вагонетку и спущу по бремсбергу в дровяной склад. Эх, и сварганю же я твой родильный праздник, Мотя, — шишки завоют!..

Мотя радостно смеялась. Глеб пошел не домой, а вниз по улочке, к заводским корпусам.

3

Норд-ост

Конец октября обрушился событиями.

Ночью 28-го был арестован Шрамм и немедленно отправлен в краевой центр. В эту же ночь были произведены аресты среди спецов совнархоза и заводоуправления. А 30-го партийцы взбудоражились: Жидкий отзывался в распоряжение краевого бюро ЦК, Бадьин назначался краевым предсовнаркомом, предчека Чибис перебрасывался куда-то далеко в Сибирь.

Этих событий ждали давно: об этом говорили в тихих беседах, передавали глухие слухи и волновались. Каждый новый день был насыщен смутным ожиданием. Но все эти события потрясли внезапностью и тем, что они совершились.

Каждое утро в обычный час Сергей шел в окружком с растрепанным портфелем, шел сосредоточенной походкой, сутулый, с неугасающим вопросом в глазах. Каждый день он точно и пунктуально выполнял партийные задания, работал по агитпропу, по политпросвету, не пропускал ни одного заседания, где присутствие его было необязательно, и никогда ни с кем не говорил о своей судьбе — о чистке, о своем исключении, о хлопотах по восстановлению себя в партии, точно все это было совсем неважно, а важно и неотложно было только то дело, которое он должен был выполнить по намеченному плану. И с того часа, когда он был в комиссии по чистке, он ни разу больше не заглядывал туда, не ходил ни к кому из ответственных товарищей за помощью, не волновался и не жаловался. Только голова его в длинных кудрях стала будто больше и тяжелее, и в глазах лихорадкой неугасимо горело страдание.

Он получил на руки коротенькую выписку из протокола комиссии и прочел ее внимательно, как читал все другие бумаги:

Слушали:	Постановили:
Ивагин Сергей Иванович, член РКП(б) с 1920 года, партбилет №... интеллигент.	Исключить, как типичного интеллигента, разлагающе действующего на парторганизацию.

Выписку принесла Даша. Он сидел за столом в агитпропе и старательно работал над тезисами для докладов в ячейках по вопросу о рабочей кооперации. Даша посматривала на него и удивлялась: почему он так спокоен и беспечен? Почему он молчит и думает о чем-то далеком?

— Товарищ Ивагин, надо немедленно обжаловать постановление комиссии. Плевательную тактику — по боку.

Он улыбнулся ей влагой в глазах и вынул из портфеля мелко исписанную четвертушку бумаги.

— Я уже обжаловал, товарищ Чумалова. Это у меня — копия, на память. Я передал Жидкому. Партком ходатайствует со своей стороны.

— Если тебе надобно насчет отзыва, я напишу в одну минуту, товарищ Ивагин. Это — головотяпство: тебя нельзя было исключать.

— Если ты находишь, товарищ Чумалова, что это необходимо, напиши и передай Жидкому.

Он встал со стула и со стыдливой улыбкой протянул руку Даше.

— Но я ни на одну минуту не забываю, товарищ Чумалова, что я — коммунист, член партии, который свою работу должен выполнять без перебоев.

— Это так, товарищ Ивагин, но ты должен бить, тормошить, а не сидеть на стуле.

— Пока в этом нет нужды. Если же потребуется, встану со стула и пойду куда следует.

Даша опять пристально взглянула на него, и опять у нее брови дрогнули от удивления. Она усмехнулась и быстро вышла из комнаты.

На днях Полю отправили в санаторий. С тех пор как поселилась в ее комнате Даша, Сергей не заходил к ней. Она не звала его и не отворяла двери в его комнату. Она забыла о нем, и его бессонные ночи угасли

в ее памяти. Он часто слышал прежний ее смех и звонкий голос, и голос этот переплетался с голосом Даши. Одиноко шагал он из угла в угол, и было грустно ему вдвоем со своим сердцем, а в душе дрожала радость, что в комнате Поли опять играли колокольчики.

Значит, нужно одно: партия и работа для партии. Личного нет. Что такое его любовь, скрытая в незримой глубине? Что такое его вопросы и мысли, ноющие под черепом? Все это—отрыжка проклятого прошлого. Все это — от отца, от юности, от интеллигентской романтики. Все это должно быть вытравлено до самых истоков. Все эти больные клеточки мозга надо убить. Есть только одно — партия. Будет ли он восстановлен, или нет — это не изменит дела: его, Сергея Ивагина, как обособленной личности, нет. Есть только партия, и он — только ничтожная частица в ее великом организме.

В этот день он еще раз пережил прежние боли.

В комнате Жидкого было необычно тихо и душно. Сидели: Бадьин, Глеб, Даша, Лухава и Чибис.

Сдержанно говорил Жидкий:

— Против плана нет возражений? Принято. Итак, план празднования в окончательном виде таков: с утра отряды манифестантов собираются по районам...

Лухава грубо оборвал Жидкого:

— Не надо! Все это мы знаем наизусть. Дальше.

Глеб встал со стула и протянул руку к Жидкому.

— Брось, Чумалыч: вопрос исчерпан. Не о чем больше говорить. Крышка!

— Как это так — крышка? Я все-таки протестую против пункта: чествование героев труда. Это надо исключить. Какие герои труда? Какие это великие подвиги совершили, чтобы — в герои труда? Чепуха! Я не только о себе говорю... Прошу записать мое особое мнение...

Он заволновался и заходил по комнате.

— Чумалыч, не может быть никаких особых мнений. Что ты городишь ерунду? Олух ты этакий!

Чибис сидел, как обычно: не то дремал, не то отдыхал, скучая, не то думал о чем-то своем, чего он никогда не скажет никому.

Бадьин опирался грудью о край стола и молчал, глухой и тяжелый: толкни — не столкнешь, ударь — не почувствует удара. А Даша улыбалась, и лицо ее вспыхивало румянцем.

Бадьин со скрипом в глянцевых складках тужурки ощупал глазами Глеба. Потом отвалился на спинку стула и положил ладонь на его грудь.

— Это у тебя что такое?

И похлопал пальцами по ордену Красного Знамени.

— А это — то самое, которое...

— Ну, и не притворяйся, пожалуйста, строгим спартанцем. Если бы ты был, скажем, Сергеем Ивагиным, стыдливым интеллигентом, тогда было бы понятно и правдоподобно. А тебе это совсем не идет.

Лицо Глеба налилось кровью, и глаза стали мокрыми. Он отшагнул прочь от Бадьина и глубоко засунул руки в карманы.

— Прошу, товарищ предисполком, мне не указывать. Я возражал и буду возражать против предложения товарища Бадьина. Если нужно, пристегните ему героя труда: пусть идет дальше командовать с этой новой нашивкой.

Жидкий стучал карандашом по столу и раздувал ноздри, будто сдерживал смех.

— Кончено, кончено, товарищи!.. К порядочку!..

Лухава остро, с огоньком смотрел на Глеба и Бадьина и весело смеялся.

И впервые в глазах Бадьина увидел Глеб чугунную ненависть. Тогда, весною, в его глазах так же мутно наплывала густая волна, но там было другое: там была настороженность. Тогда было любопытство и что-то другое, чего он не мог понять. И сейчас так же, как и весной, в час первого свидания с ним, Глеб почувствовал потрясающий удар до глухоты в ушах.

— Глеб! Очухайся!.. С цепи ты, что ли, сорвался?..

Даша смотрела на него строго, с дрожью в веках. И когда Глеб увидел эти ее глаза и бледное лицо, сердце его обожглось болью и яростью... Даша... Бадьин... Даша, его жена... Она была с ним тогда, в станице... Ночь в одной комнате и на одной постели. Тогда Дашины слова не были шуткой...

Жидкий опять стукнул карандашом по столу и закричал:

— Да к порядку же, черт вас подери!.. Успокойся, Чумалыч! Все решено и кончено.

Чибис щурился и смотрел сквозь ресницы.

— Садись, Чумалов! Выдержанный член партии, а валяешь дурака. Садись.

Бадьин по-прежнему мутно глядел на Глеба и сидел неподвижно и тяжело:

— В чем дело, товарищ Чумалов?

Глеб задыхался. Сердце замирало и заполняло всю грудь. И оттого, что не было уже воли над собою, он взмахнул кулаком и всей грудью рявкнул от наслаждения:

— Бабник!.. Грязный кобель!..

— Глеб!.. Ты очумел, Глеб!..

Все стали вдруг маленькими, растерянными и оглушенными. Только Чибис сидел по-прежнему безучастно, со скрытой улыбкой в ресницах.

Бадьин сказал спокойно и холодно, как у себя в кабинете:

— А-а, только-то? Напрасно ты не устраивал за мной слежки, как покойный Цхеладзе: ты узнал бы больше. Даже Сергей Ивагин знает больше, чем ты... Он — здесь, Сергей Ивагин: он может рассказать интересные вещи... Но он не решается, по своей стыдливости, делать скандал. Как видишь, ревность всегда близорука.

Сергей, не отрывая глаз от Бадьина, потрясенный и разбитый, пытался крикнуть что-то жгучее и неотразимое. Он шагнул к нему, но сразу же рванулся к Жидкому. У него затряслись губы, и он, отмахнувшись, выбежал из комнаты.

С гор дул норд-ост, и воздух между морем и горами был очень прозрачный, весь насыщенный небесной глубиной и солнцем. А над заливом огромными лохматыми вихрями из невидимых жерл выбрасывались облака. Над городом они разбивались на клочья и размытыми ворохами плыли к далеким хребтам. Там, за городом, на взгорьях, густела осенняя мгла. Только огненные пятна пламенели на склонах гор, летали по

ребрам, тухли в ущельях и вспыхивали в известковых обрывах. Море дымилось метелью — снежной поземкой, безбрежной рекою без волн, а между молом и пристанями и у городских каботажей воздух вспыхивал полотнами радуг. У бетонных массивов набережной волны взрывались смерчами и седым ливнем хлестали по домам.

Как всегда, Сергей шел по панели набережной с открытой головой, кудри его трепыхались от ветра и били по щекам. Ветер с гулом и визгом нес его к городу, и шел он легко, без усилий, без тяжести в ногах. Навстречу ему ползли одинокие люди, согнутые под напором ветра, и он не видел лиц, а только — мятые лепехи картузов и головы женщин, туго обтянутые теплыми платками.

У каменных стен каботажей бултыхались турецкие фелюги и рыбачьи баркасы и чертили воздух веретенами мачт.

...Зачем он приходил в окружком? Только для того, чтобы сказать страшные слова в лицо Бадьину и все же промолчать? Кому нужны его слова? И что он, собственно, мог сказать после Чумалова? Разве это пригнало его из города на портовую сторону и заставило бороться с норд-остом? Нет, он думал об отце и робко искал его все эти дни. Отца уже нет в библиотеке, и где он живет — Сергей не знает. Верочка недавно разыскала Сергея и, когда говорила, дрожала и не сводила с него глаз, залитых слезами.

— Сергей Иваныч!.. Если бы вы знали!.. Я не могу... Он — такой изумительный!.. Он болен, Сергей Иваныч... очень... Он лежит на голом полу... Я принесла ему постельку... а он... а он не хочет...

Не все ли равно, что будет с отцом? Жизнь производит безошибочный отбор, и процесс этого отбора — неотвратим. Где его, Сергея, место в этой великой работе истории? Может быть, он будет раздавлен, а может быть, его душа будет такой же, как у предисполкома Бадьина. Удары этих лет так сильны и дни так беспощадно жестоки, что старые раны кровоточат и каждый новый час наносит новые раны. Не все ли равно, что будет с ним, когда каждый миг требует

всего его, без остатка? Работать — только работать. Пусть — будни, но ведь будни — это мечта, переложенная на упорную трудовую повинность. Восстановят его в партии или нет — это не важно: это не изменит его судьбы. Он должен работать — только работать. Он связан неразрывными связями со всем миром, со всем человечеством.

...Девушка у борта прошла через его душу и осталась навсегда в его сердце. Где она? Не все ли равно. Вот — Поля Мехова. Она вросла в него бодростью и волнениями и теми ночными часами, когда он без сна сидел у ее изголовья. Пусть не будет рядом Жидкого, Чибиса, Бадьина... Не будет Лухавы и Даши, Глеб пойдет в будущее как деятель истории, как победитель... Но и он, Сергей, — сила, он — тоже необходимое звено в цепи великих свершений...

Внизу, под отвесной стеной массивов, плескались и хлюпали волны и высоко взлетали зелеными грохочущими фонтанами. Под стеной была высокая площадка для причала катеров, и наплески волн мыли и шлифовали бетон. А у самой стены, на площадке, лежали вороха водорослей, мусора, раковин и медуз. За эстакадой, где ветер кружился вихрями пыли, Сергей взглянул вниз и остановился.

У самой стены, прибитый к мусору и водорослям, лежал трупик грудного младенца. Головка повязана белым платочком, ноги — в чулочках, а ручек не видно: заботливо запеленаты в белую простынку... Трупик был свежий, и восковое личико — спокойно, совсем живое, как во сне. Тут, между каботажами, — тихо, и волны плескались навстречу друг другу, отраженные бурей. Почему трупик младенца так бережно положен на водоросли? Откуда этот младенец? На нем еще не остыла теплая рука матери: и в этом платочке, и в спеленатых ручках, и в крошечных чулочках в обтяжку... Сергей глядел на него не отрываясь, и ему чудилось: вот-вот откроет младенец глазки, взглянет на него пристально и улыбнется. Откуда он, этот дитенок, человечески-жертвенный до острой жалости? С погибшего корабля? Брошен в море обезумевшей матерью?..

Сергей стоял над трупиком и никак не мог от него оторваться. Прохожие с любопытством подходили, смотрели на ребенка и тотчас же отходили. Они бормотали, спрашивали о чем-то Сергея, а он не слышал и не видел, кто подходил. Стоял и смотрел бездумно, с болью, с изумлением и скорбью в глазах. И сам не слышал, как говорил:

— Так должно и быть... Трагедия борьбы... Чтобы родиться вновь, надо умереть...

4

Волны

На ажурной вышке вместе с Глебом стояли: Жидкий и Бадьин, члены завкома и директор Клейст. Но Глеб был один, потому что все эти бесчисленные толпы зыбились, бурлили, цвели подсолнечными полями всюду, насколько охватывал глаз.

У самого основания вышки длинной полосой — и вправо и влево — кострами горят красные знамена. И сама вышка пылает алыми полотнами: знамя ячейки льется с барьера и густо капает кистями на другие знамена, в толпу, а с другой стороны, где стоят Бадьин и Жидкий, — другое знамя — профсоюза строительных рабочих. Под парапетом жирным потоком льется пунцовое полотнище, и огромные белые буквы горят весенними цветами:

МЫ ПОБЕДИЛИ НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ — МЫ ПОБЕДИМ И НА ХОЗЯЙСТВЕННОМ ФРОНТЕ

Толпы кишат, волнуются, вспыхивают красными повязками, смуглыми и бледными лицами, картузами и кепками, всюду красными крыльями взмахивают транспаранты. За ними не видно толп, а дальше — опять толпы в движении и зыби. Над самым обрывом, на скале, — опять такие же толпы. Они колышутся по ребру и скатам горы — выше и выше, а там — опять знамена и транспаранты маковым севом. И видно, как снизу, из ущелья, все еще текут бесконечные массы

людей. Там, далеко, музыка играет марш, а тут — огромное движение и необъятный гул.

День был прозрачный, по-осеннему свежий и янтарный, по-осеннему приближающий дали, по-осеннему ядреный и маревный. Глеб смотрел на горы и в небо: там пел пропеллер невидимого самолета, и шелковые нити паутин плавали в сини и дымились жемчужной пылью.

Глеб сжимал железные полосы перил и не мог удержать изнурительной дрожи в ногах. Откуда прет такая тьма народу? Здесь и без того уже навалило тысяч двадцать, а колонны все идут без конца. Вон они — не меньше чем за полверсты — растекаются по бурому взгорью, по камням и кустарникам, вливаются в общую массу и ползут все выше и выше.

Недалеко, вправо, за вышкой, стоит вольно полк красноармейцев. Так же когда-то стоял и он, Глеб. Давно ли это было? А теперь он здесь: опять рабочий завода. Завод! Сколько положено сил, сколько было борьбы! Вот он, завод, — богатырь и красавец! Был он недавно мертвец — свалка, руины, крысиное гнездо. А теперь — грохочут дизеля, звенят провода, насыщенные электричеством, играют ролами бремсберги и гремят вагонетки. Завтра заревет и закружится на своих осях первая великанная цистерна вращающейся печи, а вон из этой страшенной трубы заклубятся седые облака пыли и пара.

Разве все это не стоит того, чтобы эти несметные толпы народа пришли сюда и порадовались общей победе? Что он, Глеб, среди этого людского моря? Не море, а живая гора — камни, воскресшие людом... Ух, какая силища!.. Это — те, что с лопатами, кирками и молотами прорезали горы для бремсберга. Это было весной, в такой же вот прозрачный солнечный день. Тогда была пролита первая кровь. Теперь город — с дровами, а здесь все готово к пуску завода. Сколько крови в этой великой рабочей армии! Ее, этой крови, хватит надолго... Работает транспорт. Будет работать Судосталь. Зашумят паровые мельницы. А разве мало здесь горных потоков, чтобы поставить турбины?..

Были когда-то смертельные ночи и дни в боях, и

было: дрожал за жизнь свою и думал о Даше. Как все это давно, как далеко и ничтожно! Даша... Ее нет: она утонула в толпах, и ее не найдешь. Все это далеко и не нужно. И его — нет, а есть только взволнованные массы, и своим сердцем он чувствует тысячи сердец... Рабочий класс, республика, великое строительство жизни... Черт возьми, мы умеем страдать, но умеем же и радоваться!..

— Чумалов!..

Клейст стоял около Глеба, бледный, строгий, с сухими глазами.

— Герман Германович!.. Друг!..

Клейст отвернулся и пошел от него в другой конец площадки, вздрагивая плечами.

Колыхались и трепетали знамена и транспаранты. Песни и взрывы голосов потрясали воздух, и под ногами Глеба дрожала дощатая настилка. Пляски под всплески ладошек, звонкий речитатив... Видно, как осыпается камень и щебень в пластах скалы...

У Лошака все было от слесарного цеха: и горб, и лицо, и засаленная годами кепка. Громада крючился в ознобе, страдая от недуга. Лицо было желтое, лихорадочное, с острыми скулами. Спина и плечи поднимались к ушам, и он надрывался от кашля. Лошак натянул кепку на глаза и ударил ладонью по спине Глеба.

— Гвоздуем, голова... Верно!.. Поставили дело на попа знатно...

А Громада, задыхаясь, напрягал все силы, чтобы крикнуть громко и очень значительно:

— Вот именно, товарищи... Как мы есть дали великолепное достижение, я просто на своих ногах не стою... Товарищ Чумалов... да ежели бы... эх!.. Товарищи... тут — всё и везде... и так и дале...

Глеб больше не мог стоять: хотелось сбежать с высоты в это море голов, хотелось закричать во все горло до надсады... Все равно: разве это можно выдержать? Вот оно то, чем он жил все эти месяцы... Оно тут, оно собрано в единую силу...

Он подошел к Бадьину и Жидкому и спросил, будто между прочим:

— Начнем, что ли, ребята?

Бадьин скользнул по его лицу холодными глазами и отвернулся.

— Да, пора начинать, Чумалов. Сейчас я заверну на четверть часа, а потом ты... ударь этак покрепче... И сразу же подавай сигнал.

Жидкий схватил Глеба за плечи.

— Эх, Чумалыч! Дорогой ты мой!.. Жалко с тобой расставаться...

— И не говори, друг, — прямо голову рвут. А как жили! Какую работу совершили! Нельзя тебя отпускать, Жидкий, ни под каким видом... Поеду хлопотать...

Бадьин замкнуто и холодно отошел к парапету, и Глеб опять больно почувствовал в нем непримиримого своего врага.

Внизу, по шоссе, все еще шли густые колонны со знаменами, а за ними, в серых бетонах, гремели и потрясали воздух оркестры, топот и песни.

...Вот человек, с которым он не может стоять на одной земле. Бадьин опирался руками о перила, и плечи его поднимались выше затылка. Он смотрел вниз, на толпы, и в мускулах его, в зорких поворотах головы, в небрежной его обособленности — сознание своей силы и значительности.

— Карьерист!..

Глеб до боли сжал зубы.

...До сих пор еще не остыл он от пережитого в Доме Советов.

Вскоре после ухода Даши он забежал мимоходом взглянуть, как им вдвоем с Полей живется. В коридоре была певучая пустота и дремотный полусумрак (на лестнице, над дверью, часы отзвонили одиннадцать ночи). Глухо и уютно рокотали голоса внутри комнат. Где-то очень далеко звякала чайная посуда и шумели примусы.

В конце коридора мутно горел огненный квадрат на стене.

Это настежь была открыта дверь в комнату Чибиса.

В комнате Поли была тишина. Глеб не успел по-

стучать: быстрые испуганные шаги зашлепали к двери (должно быть, Поля была босиком).

— Кто тут, ну?

Дверь открылась широко, со всего размаху и больно ударила его по плечу.

— Тьфу, будь ты неладная! Так же можно искалечить человека... Ну, здравствуй, Поля!..

Мехова стояла на пороге, бледная, слепая от страха.

— Глеб!..

— Да что ты, милок?.. Пришел проведать тебя, а ты смотришь на меня зверем. Ну, как прыгаешь?.. Давно тебя не видал... Где же Даша?

Он шагнул к ней и протянул руку, чтобы ласково обнять ее. Она сразу повяла, прислонилась к косяку и жалко улыбнулась.

— Ах, Глеб!.. Как я испугалась!.. Даша сейчас придет... После того, что я пережила, Глеб, я точно... потеряла себя... Было бы лучше, если бы ты не приходил... Почему ты не поддержал меня раньше?.. Почему все вышло так нелепо и ужасно?.. Я больна, Глеб... Не приходи сюда больше: это мне мучительно... Точно я попала в крушение и задавлена обломками.

Глеб, смущенный, смотрел на нее и не знал, что сказать. И не чувствовал к ней ни былой нежности, ни участия: слишком уж она была жалка и беспомощна. Не было в ней больше прежней жизнерадостной кудрявой женщины.

— Мне нужно уехать, Глеб,—отдохнуть и собраться с силами. В мужчинах много страшного, Глеб. Теперь мне кажется, что в каждом из вас сидит Бадьин... Иди, Глеб, пожалуйста... Не сейчас, а потом... в иной обстановке... Почему ты тогда не дал мне того, что я хотела?.. Может быть, этого не случилось бы со мною...

Она улыбалась растерянно, испуганно, и в глазах ее блестели слезы.

— Вот она, Даша!.. Вот она!.. Возьми его, пожалуйста, Даша, и уведи подальше.

Даша взяла его за плечи и оттолкнула от двери, а дверь осторожно и плотно затворила за Полей.

— Ну-ка, вояка, пойдем!.. Давай-ка погуляем с тобой да покалякаем... Вот и хорошо, что зашел...

В душе была обида и горечь, но радости своей от близости Даши скрыть не мог. Он сжимал ее пальцы и улыбался.

— Ну, так когда же домой-то, Дашок? А то спалю свою берлогу и переселюсь сюда.

Она не сразу ответила, и в этот короткий момент ее молчания Глеб увидел, что в душе у нее — какая-то тяжелая борьба и смута.

— Не заводи пока об этом разговора, Глебушка...

Сердце его больно сжалось, и он едва сдержал стон.

— Так. Я это чуял уже раньше. Только канителились и валяли дурака. А Бадьин — мерзавец и бандит. Я его все же пришью, будет час... Он съел и тебя и Мехову...

— Глеб, пойми же наконец, что не можем мы так продолжать... Зачем отравлять жизнь? Вспомни: ведь ты каждую нашу ночь превращал в пытку. А я так не могу. Я хочу по-новому жить. Бери меня такой, какая я есть. Только такая мне нужна любовь. Ты мне дорог такой, каким я тебя знаю, и мне наплевать, что у тебя было без меня. А ты меня не уважаешь и топчешь. Не могу я так. А Бадьина оставь: Бадьин ни при чем...

— Даша, я теперь как бездомный пес. Всю душу вложил в завод. Уеду в армию...

Даша с ласковой улыбкой погладила его по груди.

— Ну, пострадаем, Глеб, помучаемся. Что же делать, если так сложилось? Придет время, и мы построим себе новую жизнь... Перегорит все, утрясется, а мы поразмыслим, как быть и как завязать новые узлы... Ведь мы же не расстаемся, Глеб. Мы же будем на виду друг у друга... вместе же будем...

С бешенством и тоской он сбросил ее руку и пошел к выходу. Носом к носу он встретился с Бадьиным, который стоял в дверях своей комнаты и смотрел на Глеба. Стоял прямо, поблескивая кожей тужурки, с руками, глубоко засунутыми в карманы.

— Заходи, Чумалов. Ты еще у меня не был ни разу. Мне хочется с тобой поговорить по душам.

Глеб стоял перед ним и не мог оторвать своих глаз

от его лица. Пальцы его судорожно елозили по поясу, по бедрам, по кобуре и не могли никак остановиться.

— Не там шаришь, где нужно. Револьвер — на месте, можешь не беспокоиться: кобура застегнута хорошо.

И в последнем его взгляде за мутью в зрачках Глеб увидел неугасимый уголек ненависти. Бадьин медленно, отчужденно повернулся и тяжелым шагом пошел в глубь комнаты. Под выпуклым бритым затылком при каждом шаге упруго двигались толстые желваки мускулов.

Даша мягко взяла Глеба под руку и повела по коридору.

— Ну, иди, иди, голубчик Глеб... Я приду к тебе... обязательно приду... завтра же приду... Иди, успокойся...

...Вот и сейчас бритый затылок Бадьина из-под плоской шапки-кубанки вызывающе смотрит на Глеба. Этот затылок так и просится на мушку.

...Жидкий стоял перед Глебом и раздувал ноздри от скрытого смеха.

— Ты что? Оглох, что ли?..

И потащил его к парапету.

Долго утрясались толпы, долго таял утихающий зыбью гул голосов. Замолкли песни и оркестры.

Говорил Бадьин — говорил холодно, четко, казенно.

Разве можно выразить, что говорил Бадьин? Говорил все, что нужно для праздника: тут была и советская власть, и новая экономическая политика, и социалистическое строительство, и товарищ Ленин, и Российская коммунистическая партия, и рабочий класс. А вот подошел к самому главному, запомнилось так:

— ...И вот одна из наших побед на хозяйственном фронте — победа огромная, нечеловеческая, — это пуск нашего завода, этого гиганта республики. Вы знаете, товарищи, с чего началась наша борьба. Весною организованными силами мы впервые ударили кирками и молотами по этим горным пластам. И первый удар наш дал нам бремсберг и топливо. Рабочие профстроя не выпускали из рук молотов и удар за ударом ковали

жизнь и всю сложную систему колоссального сооружения. С этого дня, четвертой годовщины Октября, мы торжествуем новую победу на фронте пролетарской революции. В борьбе рабочий класс выдвигает своих организаторов и героев. Разве наши рабочие массы могут забыть имя борца, красного солдата, беззаветно отдавшего свою жизнь великому делу революции, разве они могут забыть имя товарища Чумалова?.. И здесь, на фронте труда, он — такой же самоотверженный герой, как был на полях сражений...

Дальше ничего не было слышно. Будто гора сдвинулась с места и со страшным грохотом обрушилась на Глеба. Рев, вой, гул, землетрясение... Вышка дрожала и колыхалась, как проволочная. Внизу и где-то еще и еще гремели медью оркестры.

Глеб, бледный, ошеломленный, лепетал странные слова, задыхался, махал руками и неудержимо смеялся.

— Говори... твое слово, Чумалов!..

Зачем говорить, когда все ясно без слов? Ему ничего не надо. Что его жизнь, когда она — пылинка в этом океане человеческих жизней? Зачем говорить, когда язык и голос его не нужны здесь. Нет у него слов и нет жизни, отдельных от этих масс.

Он не помнил, что говорил. Ему казалось, что голос его был слабеньким, надрывным, глухим, а на самом деле слова его, усиленные эхом, гулко разносились по всему взгорью.

— ...Это не заслуга наша, товарищи, когда мы бьемся над созданием нашего пролетарского хозяйства... Это — наша воля... наша борьба... В этом — мы... мы — все... единым духом... Если я — герой, так все же герои... И если мы не поднимем наших сил до героизма, так всех же нас — по шеям с колокольни. Но скажу одно, товарищи: мы сделаем всё, создадим всё — мы к этому призваны партией и нашим Лениным. А вот если бы у нас было побольше таких технoруков, как наш инженер Клейст, да еще кое-чего немножко, так мы бы сделали чудеса на весь мир. Мы ставили ставку на кровь и своею кровью зажгли весь земной шар... Теперь, закаленные в огне, мы ставим

ставку на труд... Наши мозги и руки дрожат... не от натуги, а требуют новой работы... Мы строим социализм, товарищи, и свою пролетарскую культуру... К победе, товарищи!..

Глеб схватил красный флаг и взмахнул им над толпою. И сразу же охнули горы, и вихрем заклубился воздух в металлическом вое. Ревели гудки — один, два, три... — вместе и разноголосо и рвали барабанные перепонки, и словно не гудки это ревели, а горы, скалы, люди, корпуса и трубы завода.

1922—1924

МАЛЕНЬКАЯ ТРИЛОГИЯ

I

ГОЛОВОНОГИЙ ЧЕЛОВЕК

Вы думаете, я от работы устал? Черта с два! Работа, ежели живешь ею, ежели она пропитывает душу и ежели чувствуешь, что в делах твоих ты размножаешься стаями голубей, — такая работа делает тебя владыкой жизни. От работы, ежели ты вжился в нее и она стала твоим дыханием, — нельзя устать. А у нас настали времена, когда труд становится источником нашей жизни и мы вольны стать творцами своих деяний. Ибо нет ничего в жизни превыше сознания, что ты уже не раб своего труда, а созидатель — не во имя торжества твоего маленького тщеславия, а во имя будущего, во имя бессмертия. Что для нас теперь труд? Я говорю с восторгом и волнением: вот этот наш труд — труд на одной шестой части мира — это легенда, которая пленяла людей многие тысячи лет. Теперь этот труд — весь человек, во всей сложности его даров и дерзаний. И никогда еще идеалы не были так достижимы и осязательно близки, как в эти наши с вами дни...

Да, конечно, устал. Но отчего устал. От людей устал. От работы не устают. Изнуряют люди, которые мешают работать, дезорганизуют труд, вгрызаются в нашу жизнь, как клещи,— это вредители, карьеристы и хищники.

Есть у нас такие гражданчики, которых хочется назвать штопорами. Лично я, по своему положению ответработника, встречал их немало. Это люди, которые ввинчиваются в жизнь до самого корня, и будьте вы хитрее черта — не удастся вам вышибить его из вашего бытия. Вы надорветесь от честной вашей ярости, — а он смотрит на вас невинными глазами этак бодро и жизнерадостно, улыбается нахально и снисходительно, да еще пожалеет вас и похлопает по плечу. Жги его, бей, сотри в порошок, а он — как некий феникс — жив и невредим и над вами же весело и радостно посмеется. В революцию я их мало встречал: они жили в подполье, а может быть, их и стреляли порядком. А вот сейчас они появились, как грызуны в хлебном амбаре.

Теперь я в Хлопковом комитете, а раньше был директором одной текстильной фабрики. Рабочий район. Большой пролетарский центр. Наша фабрика считалась до революции одной из самых оборудованных. Рабочие работали на фабрике целыми семьями, из поколения в поколение. В гражданскую войну шли скопом, тоже целыми семьями. Крепкие ребята, хорошие коммунары. Словом, чистота и жар пролетарской души. Я — тоже тамошний потомственный пролетарий и там же прошел курс среднетехнической школы.

Как и все, мы тоже пережили после гражданской войны тяжелую полосу кризиса. Хлопка нет, машины поизносились, — голодное время. Маята с сокращениями рабочей силы. Надрывались от усилий, чтобы успокоить каждого, заразить его бодростью. Ребята — свои, знаешь их с детства, вместе еще бегали без порток. Приходит этакий Петруша или Ванятка — вместе с ними на фронтах бок о бок геройствовали — смотрит на тебя и панически улыбается.

— Что же это, Гриша?.. Свой ведь ты брат-то... Неужели нельзя эту бузу предотвратить? Околеют ведь ребятишки-то...

Будто обо всех хлопочет, а видишь — о себе говорит: струсил и сумятица в душе. Ну и говоришь с ними, как сам с собой:

— Ты, Петруша, паники не разводи. Сам должен знать положение страны. Через год, через два развернутся большие работы, намечаются широкие планы, огромные капиталовложения. Проводится уже коренная реконструкция промышленности. Конечно, трудно... Переходный период... Не забывай Ленина: немножко подаемся назад, чтобы разбежаться для прыжка... для решительного наступления... Социализм, голубок, нелегко строить: это сопряжено с испытаниями, с муками... Это — муки родов и роста... Закладывается крепкий фундамент социализма... Надо быть готовым к многолетнему трудовому напряжению... Не надо паники, мой друг: все скоро образуется... Не забывай, что нас ведет Ленин. Рабочий класс, Петруша, — победоносный класс... Ты не остыл от гражданской войны — сам знаешь, чем все кончилось...

Поговоришь с одним, потолкуешь с другим — глядишь, в глазах парней разгорается огонь большой веры. Взаимное дружеское доверие было и высокое сознание.

Так вот в это времечко входит однажды ко мне в кабинет неизвестный мне маленький шустрый человечек. Портфель, сложенный по-адвокатски. Шевелюра. Выбрит плохо. Обмотки и рваные башмаки из юфти. Грязная рубаха, жирная от пота. Штанина на коленке разевает рот, и голая грязная коленка — будто оскаленные зубы. Смотрит этак упруго и шею по-гусиному вытягивает.

— Это вы директор фабрики, дорогой товарищ?

— Да, дорогой товарищ, это я — директор. Что вам угодно?

Уверенным шагом, без всякой робости, подходит к столу, небрежно протягивает руку и оглядывает комнату. И что особенно запомнилось в нем — это руки. Когда он жал мои пальцы, рука его, мягкая, потная, гуттаперчевая, прилипала, всасывалась в мое тело. Вынимает коробку папирос, закуривает, вертит в пальцах горящую спичку, играет ею и потом бросает в сторону.

— Дорогой товарищ, пепельница перед вами, спички не следует бросать на пол. Чем могу служить?

На мои слова — ноль внимания. Морщит один глаз от дыма, крутит шевелюрой и — чвык через зубы.

— Прошу, товарищ, на пол не плевать.

И опять — ноль внимания. Оглядывается вокруг и этак ехидно скалит зубы.

— А у вас в кабинете буржуазная обстановочка...

Садится в кресло — не на стул, а в кресло! — уютно кладет ногу на ногу и опять — чвык через плечо.

— Да, у вас мягко. Располагает к безмятежности и обрастанию.

Бесцеремонно шарит и глазами и руками по столу. И опять эти руки — беспокойные, извивающиеся, ползающие. Вцепился в какую-то бумажку, которая лежала около него развернутым квадратиком, и тянет к носу. Смотрю на него и чувствую, что теряю стержень — проваливаюсь со своей выдержкой и самообладанием. Так и хочется схватить его за шиворот и выбросить за дверь. Даже в руках и ногах лихорадка. Протягиваю руку, чтобы отнять бумажку, а он чуть-чуть уклоняется. Рванул это я бумажку-то, а он целомудренно, с младенческим удивлением смотрит на меня и — ни тени конфузливости!.. Точно ожидал, что это так и должно быть. И что особенно меня поразило — это огромная в нем сила уверенности. Он дышал этой уверенностью, весь был вылит из нее, как из металла. Держал себя самодовольно, панибратски, даже немножко свысока и презрительно, точно я перед ним был этакая замызганная пешка.

— Вот что, товарищ, — говорю, — кто вы такой — я не знаю. Если у вас есть серьезное дело, говорите поскорее: мне некогда. А еще лучше — уходите отсюда. Можете выяснить все в заводоуправлении.

А он хоть бы бровью дрогнул.

— Зачем же уходить, дорогой товарищ? Нелепо же гнать человека, не узнавши, чего он хочет.

— Да что вам угодно?

Ехидно скалит зубы и смотрит мимо меня.

— Мало ли что мне нужно... Сейчас, например, я пришел к вам на работу...

— То есть как это — пришли на работу?

— Очень просто: пришел на работу.

— Но у нас нет работы.

— А для кого же у вас есть работа?

— У нас сейчас большие сокращения, и никакой работы не может быть...

— Как это так — не может быть?

— Так и не может быть. Вы же понимаете русский язык?

— У меня Пушкин — настольная книга...

— Это вы к чему?

— Да вот насчет русского языка. Да и фамилия моя самая кузнечная — Ковалев.

— Ну, так вот, товарищ Ковалев. Шагайте домой — работы у нас для вас подходящей нет: сокращения.

Встает с кресла и, как старинный друг-приятель, тихонечко, важным шагом, с ленивым шарканьем, точно этот кабинет им уже облюбован, подходит ко мне сбоку, смеется интимно и шлепает меня по спине, — понимаете, по спине шлепает так покровительственно и любовно!..

— А вы почем знаете, директор, какая работа для меня подходит и какая не подходит?

Я отваливаюсь на спинку стула и смотрю на него с волчьей опаской. Мне бы нужно его выгнать вон и предупредить, чтобы его на порог не пускали, а я, как дурак, смотрю в его глаза, — а в глазах этакий выпуклый чертик, — и любопытство разбирает: что это, думаю, за фрукт такой зацепился за душу? А главное — это его органическая уверенность и кристальное спокойствие обезоруживают. Понемножку начинаю приходить в себя, и уж мысль о том, чтобы выгнать его, кажется мне дикой, глупой, ничем не оправданной. Дай, думаю, погляжу на него, что это за птица в полете, а выгнать его я еще успею. Гляжу на него и не знаю, чего в нем больше: нахальства или ума.

— У нас текстиль, товарищ Ковалев...

— Ну, текстиль. Это я и без вас знаю.

Усмехается и пристально смотрит мне в глаза: прямо за дурака меня считает! Оседлать, мол, тебя и сесть тебе на шею для меня ничего не стоит...

— Так что же вы понимаете в текстиле?

— Ровно ничего. А сейчас вот хочу понюхать...

— Раз вы до сих пор не нюхали текстиля, вам и нечего здесь делать.

— А вы нюхали этот директорский стул, когда стояли у станка?

— Положим, не нюхал.

— Положим, и я не нюхал.

— Так что же из этого следует?

— Да почему бы и мне не пощупать вашего текстиля?

— Что же вы можете выполнять?

— Всё.

— Например?

— Пример — это дело. Вот вам заявление, наложите резолюцию, — и пример налицо. А вот тут — другой пример...

Щелкает застежками портфеля и извлекает пачку бумажек.

— Вот вам письмо такого-то... и такого-то...

И все выворачивает большие имена: тут и ВЦСПС, и всякие наркоматы. И туда влез, и там, вероятно, держал себя так же независимо, спокойненько и чудовищно-уверенно. Видно было, что фаталистически настроен человек: необычайная, гигантская вера в себя и свое предназначение.

— Нет, — говорю, — товарищ Ковалев. Уберите ваше заявление и засуньте подальше эти бумажки. Никаких рекомендаций я не приемлю.

— Что же, это можно. Не приемлете — не буду спорить. Я умею твердо стоять и на своих ногах.

Вы понимаете, прямо захлестывает, черт его подери!

— Какая же ваша основная специальность?

Он засунул руки в карманы брюк и почему-то широко зашагал около моего стола, и шаги свои с грохотом отбивал подошвами. И небрежно, этак углом рта, через папироску дымил:

— В нашей советской стране всякий способный человек, не моргая глазами, обязан выполнять всякие специальности.

— Как? Даже если предложить вам быть химиком, архитектором или экспертом по хлопководству, вы и глазом не моргнете?

— Моргают глазами золотушные люди и трусы.

— А Красную Армию нюхали?

— Теперь люди в двадцать лет знают все запахи жизни. Красная Армия — не по мне. Там маршируют слишком прямолинейно, а я не люблю прямых линий...

— Ну а я, — говорю, — не люблю очень извилистых и путаных линий. Поэтому нам с вами не по пути. Я занят, оставьте меня в покое. И, пожалуйста, не трудитесь являться...

— Я не тень отца Гамлета: я не являюсь, а изыскиваю пути для достижения целей...

Ушел он от меня бодро, с достоинством, как победитель. И опять я увидел в нем эту неудержимую уверенность и сознание своей непреоборимой силы. Даже спина его с широкими лопатками, даже волосатый затылок наливались этой уверенностью в себе и гордостью, что он ходит по земле не напрасно.

Прошло дня два. Я забыл о нем в суматохе и хлопотах. Дни были утомительные, напряженные.

Вот в один из таких дней вхожу в фабком. В коридоре народу — как тараканов в щели. Прохожу через комнату культкомиссии, вижу: сидит за столом, рядом с предкульткомом — парнем хоть и добродетельным, но неспособным к наблюдательности, — сидит этот самый штопор и что-то красноречиво доказывает ему. Предкультком совсем опешил — глядит на него рыбьими глазами и только глотает слюну.

— Вы и сюда заползли, товарищ Ковалев? Что вы здесь поделываете?

Мило улыбается, как старому другу, и весело, с младенческим восторгом протягивает руку. Не успел я решиться, дать или не дать ему руки, как он панибратски, почти небрежно, всосался в мою кисть. Потом уверенно отваливается на спинку стула, развязно бросает ногу на ногу и закуривает папиросу.

— Мы, товарищ директор, вот с предкульткомом решаем сложные задачи культработы. Я внес

некоторые серьезные коррективы и открыл ему несколько Америк. Он находит, что я не лишен энергии и талантов. Я с ним вполне согласен.

Предкультком ошарашенно улыбается и в возбуждении, на какое он только способен, шлепает ладонью по бумагам и вкусно жует слова:

— Должен сознаться... очень много ценного... надо использовать, подработать и провести в жизнь...

— Выходит — клюнуло, товарищ Ковалев?

— Выходит — клюнуло, товарищ директор.

— Нахрапистый же вы парень!..

— Человек измеряется его целями. Какие цели — таковы и их достижения. Четкие цели воплощаются в упрямстве.

Неглуп! А неглупыми людьми всегда хочется любоваться.

Предфабком был парень осторожный, очень чуткий к настроению рабочих. Вместе с ними рос и знает каждого, чем кто дышит. Друг моей молодости, вместе с ним горели революцией, вместе с ним отогревали друг друга и ставили на ноги. А как представитель профорганизации — иногда здорово брал меня за горло. С лица угрюм, быковат, нелюдим, и новому человеку он показался бы бессердечным, грубым и, пожалуй, самодуром. Потом большую роль в смысле внушения оторопи играли у него усы: они длинными рыжими волосами закрывали у него губы почти до конца подбородка и было в них что-то свирепое. Души же он был нежнейшей.

— Ты, брат, гляди, Андрюша, не споткнись. Во время сокращения брать новых людей как будто нехорошо.

— Какой черт новые, когда нам старых девать некуда! Ты о чем это?

— Да вот этот грызун уже царапал меня. Я его послал к черту. А теперь он у тебя вертит делами в культкомиссии.

— А, это ты о товарище Ковалеве?

И в глазах играют ребячьи огоньки, а усы шевелятся, как паучьи лапки.

— Ты, брат, кажется, ничего не понимаешь в лю-

дях. Этот парень очень ценный и в культработе — настоящий виртуоз. Он нам чудеса наделает.

— Ну, брат, он, кажется, и в тебя влез до отказа. Смотри, как бы чего не вышло: сокращения... будет трепка, когда пронюхают рабочие...

— А я его держу в качестве гостя — на расстоянии. Я, брат, прощупаю его на все сто процентов. Дурак я, что ли?..

Через некоторое время вваливается ко мне с полдюжины сокращенных рабочих, молодых парней. Потные, задыхаются, захлебываются, машут руками.

— Что же это такое, товарищ Мухин? Нас выкидывают за борт, как навоз, а каких-то наездников и блошиных налетчиков—по высокому разряду, в передние ряды! Мы этого переносить не намерены! Мы не позволим!..

— В чем дело, ребята? Никаких наездников нет! Чепуху вы плетете...

И будто я их ударил плетью: все с остервенелыми лицами напирают на стол, орут наперебой:

— Мы не позволим издеваться!.. На какой вас черт здесь посадили? Довольно было и старых хозяев... Новые хозяева норовят похлеще оседлать рабочего человека...

Прокричались немножко — и я и они. Немного присмирели.

— Ты пойми, товарищ Мухин. Нас выгоняют, а фабком за наш счет принимает какую-то крысу...

Кое-как успокоил. Ушли. Влетает секретарь партколлектива, бойкая такая, зубастая —Анюта Шустова. Одна из тех, которые с винтовкой в руках совершали с нами великие переходы с Урала на Север, с Севера — на Кавказ.

Стучит суставчиками по столу и рубит, как топориком:

— Я этого дела не оставлю. Вы, верховоды, только подрываете доверие масс к партии и советской власти!

И все о том же — о товарище Ковалеве.

Иду к предфабкому.

— Что, брат Андрюша, заварил кашу? Изволь, брат, расхлебывать сам.

А он улыбается и быком поглядывает на меня.

— Брось панику валять, директор. Все улажено. Товарища Ковалева упустить не желаю. Нам не следует швыряться крепкими, активными работниками. При нашей бедности — это преступная неряшливость. Я отправил его в губотдел, с условием, что нам возвратят его, когда потребуем. Только сомневаюсь, чтобы они добровольно расстались с ним.

Я очень рад был, что наконец развязались с ним.

Не прошло и недели, встречаюсь с Анютой. Берет она меня под руку, и необычайность этой ее нежности удивила меня.

— Ты что это, Анюта, такая ласковая?

Одна у нее была слабость: как голодная, набрасывалась на хороших работников и возилась с ними по-матерински заботливо.

— Не прощу себе, Мухин, громадной ошибки: отпустила замечательного и талантливого активиста.

— Уж не товарища ли Ковалева?

— Именно. Сегодня приходил ко мне, и мы с ним беседовали по многим вопросам. Исключительный парень! Подал заявление о вступлении в партию. Надо принять. Я его обязательно вызволю из губотдела. Дураки мы, директор, и нечуткие люди: не умеем разбираться в работниках.

Я посмеялся и сказал ей, что считаю товарища Ковалева ловким авантюристом и завоевателем. Такие люди, как товарищ Ковалев, при всяких условиях и режимах чувствуют себя как рыба в воде. При всяких превратностях судьбы вылезают сухими из воды. Это карьеристы, честолюбцы, махровые жулики, которым нет дела до общественных интересов, и всякими идеалами и лозунгами играют, как шулера краплеными картами. Они добиваются высоких мест, давят автомобилями людей и плюют на мир с самодовольством и презрением счастливых мошенников.

Ох, какой огонь выдержал я от Анюты!

— Ты бюрократ, узколобый хозяйственник. Ты оторвался от масс и от партии. Ты проникся духом старого буржуазного кабинета...

И здесь товарищ Ковалев до сердцевины ввинтил свой штопор.

Прошло что-то около полугода. История эта забылась, хотя имя Ковалева не раз било по ушам. На губсъезде профсоюза я встретил его во фракции. Не сразу признал: стал он будто выше ростом, пополнел, чисто выбрит. Шевелюра вымытая, сизая. Синяя толстовка. Сапоги. И что изумило меня: он резко и надолго запоминался, и что-то в нем было типическое от профсоюзника.

— Ну как, товарищ Ковалев? Похоже, что вы пошли по широкой дороге. Несомненно, вы имеете сапоги-скороходы.

Смотрит на меня сбоку, усмехается с небрежной рассеянностью.

— Несомненно, товарищ директор. И сапоги-скороходы есть, и широкая, твердая дорога под ногами.

— И в партию успели вступить?

— Не только успел вступить, но даже стаж восстанавливаю.

— Стаж? Какой же у вас стаж?

— Четырехлетний, директор. Я был исключен из партии по недоразумению. Товарищи из ЦКК тоже находят, что вычистили меня без всяких оснований.

Хочу уязвить его, одернуть, показать ему, что я вижу его насквозь и цену ему хорошо знаю.

— Да, вы ловкий и предприимчивый человек, товарищ Ковалев.

— Ага, не правда ли? Не ловкий, а деловой, знающий себе цену, незаурядный работник.

И тон в голосе авторитетный, дидактический. А в повороте головы, во всей фигуре, в глазах — дыхание чудовищной самоуверенности.

Выступал он в прениях и на фракции и на пленуме. Любо-дорого послушать. Гладко, умно. Держал себя в меру гордо, независимо, каждая его фраза дышала глубоким знанием профдвижения. И так же, как всегда, — непоколебимая уверенность в себе и убеждение, что он ведет счастливую игру.

У Анюты горело лицо, и она несколько раз с восторгом дергала меня за рукав.

— Ну, что?.. Я говорила тебе, дуролом?.. Сыщи мне другого такого работника и умницу...

Андрюша только шевелил усами, покрякивал и шлепал себя по коленке.

— Вот это я понимаю, — шерстобит... молодчага, подлец!..

Прошел он в члены правления и в секретари губотдела.

С этого времени карьера его запрыгала вверх большими скачками. И с этого же времени я остро почувствовал, что мы — враги с ним на всю жизнь.

Этот человек обладал исключительной способностью завязывать и укреплять связи с начальством. Когда я встречался с ним, он небрежно, почти отмахиваясь, с фамильярной насмешечкой, сыпал именами.

И говорилось это с таким уменьем и чувством меры, что все верили ему и считали, что товарищ Ковалев человек исключительный и пойдет очень далеко. Признаюсь, что я сам иногда смущался: черт его знает! может быть, правда, что этот человек с большими талантами, что я не понимаю его, что место ему на больших руководящих постах. Уж, действительно, не ошибаюсь ли я?..

Держался он со мной корректно, оказывал всяческое уважение, но я видел, что через эту корректность и уважение изливаются на меня ирония, презрение и что-то похожее на ненависть. Я чувствовал, что этот человек не остановится перед первой возможностью сделать мне пакость и подложить хорошую свинью. Как я ни старался держать себя с ним холодно и официально, все же никак не мог бороться с своим раздражением. И он видел это — ему нельзя было отказать в прозорливости и знании людей, — смотрел на меня со спрятанной насмешкой в зрачках, держал себя победителем, с чувством превосходства, и всячески, очень тонко, старался вызвать наружу это мое раздражение против него.

Однажды он приехал ко мне в автомобиле, весь упругий, чистоплотный, с новеньким портфелем, но с подчеркнутой пролетарской простотой в костюме. Сел против меня важно, весь пропитанный деловым духом,

с сознанием великих задач, возложенных на него историей. А разговор шел о самых простых вещах — о заработной плате низким разрядам согласно колдоговору. Тут у нас произошло первое столкновение, которое запутало клубок наших дальнейших отношений и втянуло целый ряд лиц в позорную склоку, которая продолжалась до последнего времени. Разрешился вопрос в несколько минут. Смотрит он на меня, как обычно, сбоку, с брезгливой усмешкой, и лениво, досадливо тянет, брюзжит:

— Вот видишь, товарищ Мухин, дело выеденного яйца не стоит, а ты заставляешь меня трястись к тебе на машине.

— Я вас, товарищ Ковалев, не тянул за нос. Напрасно вы беспокоили свою важную особу.

Пристально щупает меня знающими глазами и старается уколоть побольнее.

— Я приехал не для твоих прекрасных глаз. Мне дороги интересы рабочих.

— Ах, батюшки! Выходит, что интересы рабочих мне чужды? Только вы один защитник их интересов!

— Ясно. Иначе я сюда не приехал бы. Нечего либеральничать: ты — администратор и хозяйственник. Как и все, ты зарываешься и способен вызывать только конфликты.

Вся кровь бросилась мне в лицо. Этот мозгляк, выскочка, попрыгун смеет шельмовать меня в упор! Я вскочил со стула и заорал на всю комнату:

— Вы забываетесь, гражданин Ковалев! Вы карьерист и демагог! К чертовой матери!

Он спокойно, очень выдержанно, без тени волнения, смерил меня с головы до ног и холодно, с достоинством, с проникновенной любезностью спросил:

— Ты, товарищ Мухин, давно был у доктора? Откуда у тебя такой нервный надрыв?

— Убирайся отсюда вон, к чертовой матери! Авантюрист!

Правда, вышло глупо — погорячился немного. Потом стало стыдно.

На другой день заходит ко мне Андрюша, пожимает руку и пытливо изучает взглядом.

— Как это ты, Гриша, дурака свалял вчера?

— Ты это насчет Ковалева, Андрюша? Хорошо, что я его не выбросил за окошко. Это же проходимец!

— Устал ты, браток! Полечил бы свои нервы, что ли? Разве хорошо нашему брату горячку пороть? В губотделе только и говорят о твоей выходке.

— Как? Он смеет еще трепать языком? Я покажу ему, где раки зимуют!

— Да брось ты, чудак! Я не узнаю тебя, Гриша.

— Ну, баста. Действительно, я вскипятился. Нужно было взять себя в руки и выдержать тон. Но я заявляю тебе, что я этого проходимца и на порог не пущу.

— Во-первых, Гриша, он секретарь губотдела, а не проходимец. Это заруби на носу. А во-вторых, ты должен перед ним извиниться.

Я даже вскочил от неожиданности и опять почувствовал, что сердце мое срывается с цепи. Никак я не мог допустить, чтобы предфабкома, мой близкий товарищ Андрюша, с которым мы жили душа в душу и понимали друг друга с полуслова, — чтобы он, Андрюша, был способен на такой фортель.

Молча взглянули мы друг на друга и расстались, и в этом его взгляде из-под лохматых бровей я увидел отчуждение и угрюмый вопрос.

В тот же день врывается ко мне Анюта, с размаху бросает портфелишко на стол и лихо подсаживается ко мне, с грохотом и гневом.

— Скажи мне, пожалуйста, Мухин, где у тебя голова?

Решил быть невозмутимым — отделываться шуткой и притворяться, что вся эта глупая история не оставила во мне никакого следа.

— Ах, Анюта. Как сейчас увидел тебя, вспомнил, как мы с тобой когда-то страдали и горели пафосом борьбы на фронтах. Удивительное было время, незабываемые годы!..

— Что было — то было. Поэзию нечего разводить. Теперь время деловое, хозяйственное. Надо быть вдумчивым и крепким работником, а гонор свой показывать нечего. Вы, друзья, на своих командных высотах превратились в генералов и стали позорным образом об-

растать. Куда уж тут вспоминать о фронтах! Лицемерие одно!

— Ну, довольно обличительных тирад, Анюта. Мы не один день, не один год знаем друг друга, пощади мою бедную голову!

— Я вовсе к тебе не для шуток пришла, Мухин. Ты допустил по отношению к Ковалеву возмутительный, нетоварищеский поступок.

— Ах, Анюта, опять этот Ковалев! Что вы в сговоре, что ли?

— Ликвидируй все это, Мухин.

— Что значит — ликвидируй?

— Ты должен написать ему, что ты неправ, и оценить свой поступок по достоинству...

— Но если я этого не сделаю?

— Ну, тогда дело дойдет до контрольной комиссии, и ты будешь осужден.

— Знаешь что, Анюта: если бы я не знал тебя и не любил как товарища и друга, я бы тебе своевременно закрыл рот. Имей в виду, что больше я не позволю разговаривать со мною в такой форме, и об этом проходимце больше со мной ни слова!..

— Ах, вот как! Теперь я убедилась, что ты за тип. Заявляю тебе открыто, что буду с тобой бороться. Против тебя не только я, но и предфабкома. Я уже не говорю о товарищах из губотдела...

— Не стращай, пожалуйста, я не из пугливых. Это склока, товарищи дорогие. Я считаю вдохновителем ее и главной действующей пружиной Ковалева. Я знаю, куда он метит, и знаю, что он способен на всякую мерзость. Я предупреждаю тебя, Анюта. Подумай и разберись в этом объективно и внимательно...

— Мне все ясно, Мухин. А сейчас я увидела, что ты совсем зашился: барские замашки, хозяйский гонор, спесь! Мы были слепы, а Ковалев давно уже расчухал в тебе хорошего карася!

Она ушла так же торопливо, как и пришла. И когда захлопнулась за нею дверь, я впервые почувствовал, что я — один, что те люди, с которыми я прожил целую жизнь, отвернулись от меня. Из моих соратников и кровных друзей они превратились в противников, и

связь между нами рвется неудержимо. До слез, до нестерпимой боли жаль было оборвавшихся дней. Уж больше не заходили ко мне ни Анюта, ни Андрюша. Когда же мы встречались в ячейке или на совещаниях, мы не смотрели в глаза друг другу. А во время прений они больно и обидно щипали меня и всячески старались создать атмосферу недоверия ко мне, и те небольшие изъяны в хозяйстве и административных аппаратах, которые неизбежны в наши тяжелые дни реконструкции промышленности, старались раздуть в преступную бездеятельность, в злостный саботаж и прочее тому подобное. И огромного труда и самообладания стоило доказывать с цифрами в руках нелепость этих обвинений.

Изменилось как-то и лицо рабочей массы по отношению ко мне. С рабочими у меня всегда была самая теплая дружба. Очень часто, бывало, в свободное времечко, в дни отдыха встречаешься в клубе, на улице и, по старинке, разговоришься, вспомянешь прошлое, поиграешь в футбол или в рюхи. Затешешься к какому-нибудь приятелю в общежитие, а там — все до одного друзья детства. Чай, пивцо, толчея, гам, песни... И ни разу не было случая, чтобы кто-нибудь упрекнул меня в чванстве, в отрыве, в обрастании. А тут вдруг между мною и ими выросла черная, холодная тень...

В клубе или на улице — вокруг меня пустота. Поклонятся смущенно или угрюмо и торопливо отходят. Стоят толпой, разговаривают, смеются. Подойдешь — сразу густеет атмосфера, все чувствуют себя подавленными, все глядят в сторону, а в глазах настороженность и муть.

Как-то в клубе встречаю одного моего старого приятеля, слесаря инструментальной мастерской. Беру его за плечо и пристально смотрю в глаза. А лицо у него было странное — вогнутое в переносье, точно ему когда-то двинули кулаком между глаз, да так эта яма и осталась на всю жизнь. Но глаза были всегда живые, яркие, прозрачные. А теперь они вдруг будто заржавели.

— Скажи ты мне, друг Коптяев, почему всех былых однокашников вдруг словно подменили? Что случилось?

Смотрит Коптяев в сторону и смущенно морщится от улыбки.

— Не чую, товарищ Мухин... Ребята как будто все на своих позициях...

И это «товарищ Мухин» вместо прежнего «Гриша» сразу садануло меня по сердцу.

— Мы были с тобой, Коптяев, друзья с детских лет. Неужели ты можешь притворяться передо мною?

— Мне что же притворяться? Как я Коптяев был, так и остался Коптяевым. Видишь, морда моя и по сей день как вдавленное ведро.

— Не то, Коптяев. Не чувствую я прежнего к себе душевного отношения.

— Что ж, товарищ Мухин... Ты — вверху, мы — внизу. Положение разное, как ни говори.

— Ты пойми, Коптяев, так работать нельзя! Все затаили что-то внутри. Я ничего не знаю и стал вдруг обидно одинок. В чем дело?

— Что ж... Где ж мне знать, товарищ Мухин?.. Ты директор, высокое лицо... Ну и стесняются малость ребята...

Мигает, морщится смущенно, как прижатый к стене, и вертит башкой, точно ищет лазейки и удобного момента, чтобы улизнуть.

— Но ведь до сих пор этого не было? Ведь не со вчерашнего же дня я директор? Тут дело нечисто. Надо распутать.

— Видишь, какое дело, Гриша...

И в глазах у него блеснула прежняя детская ясность. Будто я внезапно коснулся больного места его души.

— Видишь, какое дело, Гриша... Я скажу тебе прямо, по-рабочему... Сердись не сердись... Зарываться ты начал... Хозяйские прежние замашки перенял... Как коммунар, я должен сказать тебе это прямо... Тебе указывали на это и Андрей и Анюта... Щипали другие товарищи... Помнишь — на пленуме ячейки это было... А ты, как норовистый конь, лягался... Держал себя вызывающе... Конечно, тебя положение обязывает. Ну, а братва расценивает по-своему...

— Да ведь это же неправда!.. Ерунда!.. Неужели ты этого не видишь?

— Ну, как тебе сказать... Анюта и Андрей ведь тоже свой брат, а, однако, здорово они тебя грели...

И отошел. И ни разу не оглянулся.

Невыносимо было в тот час. Впервые я пережил подлинный страх от собственного одиночества. Пошел домой. Было темно. Фабричные здания давили меня своими каменными махинами. Сотни окон налиты были ослепительным огнем, и что-то в них играло и ярко переливалось. Трубы грозили, как высоко поднятые кулаки. Встречались люди на улице, и они казались чужими и зловещими. Дома не находил места. Выходил на улицу. Черная ночная пустота. Где-то далеко пели песни — очень хорошо и грустно. Всхлипывала гармошка, и мне казалось, что это переливались в звуках звезды и стонала басами луна. А она была низко над горизонтом, мутная, закопченная с краю. И от этой тьмы и грязной луны сердце отравлялось отчаянием. В эту ночь я не спал до утра.

Вы спрашиваете, нет ли некоторой правды в словах Коптяева? Люди в борьбе, как бы они крепко закалены ни были, всегда распаляют душу докрасна. А в борьбе я никогда не сдаюсь добровольно. На войне были моменты, когда мы находились на краю гибели. И я не бежал, а лез напролом, и этот героизм отчаяния спасал меня всякий раз: или победа, или смерть. Разве я должен был сложить оружие?

Да-с, так вот Ковалев. Видел я его в этот период раза три, и каждый раз восхищался им, как первоклассным игроком. Играл он без проигрыша, и никому в голову не приходило, что это ловкий шулер, что в запасе у него для каждого случая новая колода крапленых карт.

Держал он себя великолепно. Стройный, упругий, чистоплотный, одетый под рабочего (даже в голосе у него появилась этакая добротная пролетарская грубоватость), он стоял перед столом председателя губотдела с почтительным достоинством, как человек, знающий себе цену. Говорил четко, крепко, умно, красиво, без лишних слов и упорно, не мигая, смотрел

в глаза председателю. А председатель был тоже с нашей фабрики — Паклин, человек тщеславный, не любивший противоречий, с воробьиным лицом. Болел он одной слабой стрункой: терял голову и замирал от лести. А лесть, как известно, всегда поражает людей слепотой и идиотизмом.

— С твоим умом и опытом, товарищ Паклин... с твоим организаторским талантом... с твоим огромным авторитетом среди рабочих масс...

Или:

— Зная, что ты, товарищ Паклин, твердо и четко проводишь директивы... я настоятельно требовал... Кто бы мог возражать против твоего удивительного плана...

Или:

— Под твоим руководством, товарищ Паклин, я вырос до неузнаваемости... Не расставаясь, мы, несомненно, скоро пойдем с тобою на всесоюзную работу...

Вы говорите, что эта грубая лесть шита белыми нитками. Совершенно верно. Но послушали бы вы его и поглядели бы, какая это была артистическая проникновенность! Я видел его насквозь, но искренность его и уменье с удивительным тактом протянуть свои щупальцы до самых глубин души обезоруживали меня. Я сам заражался его непосредственностью, волнующей чистотой и терялся: а вдруг я его не понял? вдруг это редчайший экземпляр человеческой честности?

А Паклин после тыкал меня под бок и подмигивал торжествующе:

— Ну что, брат, каково? Спасибо тебе, что ты ошибся в этом человечке...

Потом я слышал, как он делал доклад на пленуме губпрофсовета. Красота! Отчетливо, деловито — в меру цифр, в меру веселой шутки, в меру цитат, в меру крылатой обоснованной лести собранию и председателю. Вероятно, он уже не один раз выступал в губпрофсовете, потому что его встретили аплодисментами, с жадным любопытством и вниманием. И там же кто-то из товарищей насмешливо упрекал меня:

— Что же это ты, батенька, не оценил такого молодца, а? Проворонил, брат! Ведь умница на редкость. Далеко пойдет парень. Вы, аппаратчики

и администраторы, терпеть не можете около себя даровитых людей. А туда же, все норовите стрелять подальше. Что это ты окрысился на него? Говорят, что у вас что-то пахнет контрольной комиссией...

Однажды, будучи в ВСНХ, я увидел его у секретаря одного высокого лица. Говорил он с ним как свой человек. Они стояли в сторонке, покуривали, разговаривали и посмеивались. Секретарь скрылся в кабинете, а Ковалев рассеянно посмотрел на меня, и в этом взгляде были ирония и наглое торжество. Открылась дверь, и секретарь громко позвал его:

— Ну, иди, Ковалев!

Дверь была закрыта неплотно, и я услышал громкий разговор и смех, а потом обычный четкий, воркующий голос Ковалева.

Да, этот человек далеко идет. Это мне было ясно, и ясно было то, что я должен был во что бы то ни стало вывести его на чистую воду и раздавить, как гада.

В эту встречу с ним я впервые мучительно ломал голову над вопросами: откуда берутся такие люди? Что вызывает их к жизни? Почему я, старый революционер, большевик, солдат гражданской войны, пасую перед ними? Почему я работаю, как вол, болею за каждый пустяк в производстве, а они, как вот этот Ковалев, живут играючи, делают головокружительную карьеру, чувствуют везде себя как дома, при всяком удобном и неудобном случае дают понять, что я дурак, тупица, осел, кляча, который нуждается в их руководстве, в их кнуте, что я ничтожество перед ними, бездарь, сморчок?

И впервые тогда же в мозгу тоскливо и назойливо чесалась мысль: что-то я видел когда-то, похожее на этого типа. Думал долго, чуть ли не целый день, мучился и не мог вспомнить. Не мог работать, говорил с инженерами — отвечал невпопад, забыл пообедать и все терзался от бессилия вспомнить тот образ, который разбухал где-то близко под черепом. И пугался: уж не болен ли я в самом деле? не страдаю ли навязчивыми идеями?

И только ночью, когда уже лежал в постели, вдруг этот образ ярко, почти до галлюцинации, всплыл перед

глазами. Есть такой головоногий моллюск, который называется, кажется, каракатицей. Из головы у него выходят длинные плети с присосками. Они гибки, упруги, скользки, сильны и эластично ползут по камням, проникают в щели, в расселины, в норы, как змеи. Бороться с ними трудно, и они до жути неотразимы. Так вот этот головоногий моллюск в моем воображении вдруг слился с образом Ковалева. Головоногий человек! И сразу мне стало легко, почти радостно, точно я одержал над ним какую-то очень существенную победу. Я заснул с уверенностью, что я знаю, как его взять, что он с этого часа в моих руках.

Вызывают меня в контрольную комиссию, к следователю. Даю показание — все, как было, честь честью. Вызывают и Анюту, и Андрея, и еще кой-кого из рабочих. Потом еще раз, для дополнительных вопросов. Следователь — хороший парень, чудаковатый, старого подпольного вида большевик. После официальной процедуры берет он меня под руку и спрашивает многозначительно:

— Скажи-ка, брат, каким образом этот типчик так быстро вскарабкался в гору?

И этот вопрос обдал меня как теплой водой. Сразу стало легко, хорошо, и я почувствовал, что нашел близкого товарища и брата. Я был очень потрясен этой близостью и проникновенностью и этой минуты не забуду никогда. Я пожал ему руку и несколько секунд смотрел на него молча и чувствовал, что не могу сдержать слез. И только сказал, мешаясь в словах:

— Мы боролись долгие годы, сидели в тюрьмах, мыкались по этапам, шли на смерть и теперь из сил выбиваемся, чтобы строить новую жизнь, честно, посвоему, своей кровью, душу отдаем, не жалея себя. А тут выползают откуда-то из темных мест головоногие и присасываются к нашему телу... И мы их культивируем, опираемся на них и подлость их принимаем за ценные дары.

Он засмеялся и крутнул головой.

— Головоногие... верно ведь... Окрестил ты очень удачно... Ничего, товарищ... Дело выеденного яйца не стоит. Я же тебя знаю не первый день. Может быть, ты

навел бы справки. Он, видишь ли, раньше пребывал будто бы в Саратове. Черт его знает! На руках у него целые вороха великолепных рекомендаций... Это-то у меня и подорвало всякое доверие к нему. Головоногий... здорово это ты его!..

Как раз в это время наступил период оживления в производстве. Некогда было думать о гражданине Ковалеве. Как-то быстро он даже вылетел у меня из головы. Около года кипели мы, как в котле. Очень быстро довели работу фабрики до довоенной нормы. С большим трудом кое-как обновили технику: кое-что выписали из-за границы, кое-что усовершенствовали собственным изобретательством. Фабрику пустили на полную нагрузку. Повеселели все, поуспокоились, и опять стало как-то по-новому легко на душе. С Андрюшей опять завязалась старая дружба, и Анюта как будто отмякла немного. Но где-то в глубине глаз у нас обоих все еще не растаяли мутные льдинки. Нет-нет, да и брызнут холодком, нет-нет, да и царапнут словечком, и на мгновение опять промелькнет черная тень между нами. В эти моменты мне было очень грустно и хотелось душевно напомнить им о прежних наших чудесных днях, когда сердца наши были открыты друг другу и червях отчуждения не точил нашего мозга. Думалось: пройдет еще немного — и все эти болячки заживут и сердца наши очистятся от шелухи...

Как-то на майской демонстрации (в учреждении он строг и пунктуален) Ковалев дошел до пафоса и, с восторгом глядя на толпы, внушительно сказал:

— Моя цель — это руководить людьми. Глупо быть рядовым, когда можно стать командиром. Всяким активным человеком руководит самолюбие, а талант — это изобретательность и четкая цель. Для достижения целей все средства хороши. Нужно быть подлинным большевиком, чтобы не отступать ни перед чем и не гнушаться никакими средствами и орудиями борьбы.

И опять бросились мне в глаза его руки: они были длинны, гибки и все время находились в движении. Они у него так и остались липкими, точно были покрыты множеством присосков.

Я не утерпел и возмутился:

— Как! Даже не останавливаться перед подлостью, лестью, клеветой и жульничеством?

— Конечно, если это благо в борьбе за достижение целей. Что ты, ребенок, что ли?

А Паклин тыкал меня в бок и шептал:

— Черт возьми! Вот башка!.. Слушаешь его, наблюдаешь за ним — прямо возбуждаешься, и хочется ненасытно жить.

Был солнечный день, по-весеннему теплый и голубой, по-весеннему насыщенный запахами горячей земли, молоденьких листьев и травы на бульварах. Небо было вымытое, протертое, праздничное, и по-праздничному белыми дирижаблями гуляли облака. Даже грачи орали на деревьях, будто пьяные. На душе было легко... Чтобы не нарушить своего настроения, я вышел из колонны, — хотел быть подальше от Ковалева. А он шел с высоко поднятой головой, непобедимый в своей уверенности и власти над людьми... Шел он впереди, около знамени, вместе с руководящей головкой профсоюза.

Ну-с, так вот дальше... Однажды вечером, когда в заводоуправлении никого уже не было, а я остался, чтобы поработать над докладом для текстильтреста, входит ко мне предфабкома Андрюша и, как-то крадучись, вертит ключом в двери. Никогда я его таким еще не видал.

— Ты что это, Андрюша, как пьяница от зеленых чертей, прячешься?

Идет ко мне смущенно, а глаза обалделые.

— Зеленые черти — это элемент неорганизованный и безвредный. А тут каждый клоп имеет подвесные уши. Тебе это невдомек, а я уж испытал на своей шкуре

— Что такое? Говори толком.

— Ты, брат, извини; я отниму у тебя одну минуту.

Сел около стола, снял кепку, которую не снимал с головы уже года четыре, бросил на пол, потом опять поднял, крякнул и опять надел на лоб. Это у него — жест при сильном волнении...

— Видишь ли какое дело, Гриша... Как ты думаешь, к какому сорту дураков и идиотов можно отнести меня вместе с Анютой?

Смеюсь и чувствую, что люблю его по-прежнему.

— Затрудняюсь, Андрюша... Думаю, что к разряду тех, которые иногда садятся в калошу. Но они отнюдь не убеждены, что не сидят в удобном кресле.

— Ну, это ты что-то многословно. По-моему, мы просто набитые дураки и пареные идиоты. Анюта еще остается и набитой и пареной на все сто процентов. А я вот сейчас не захотел — баста! Ты знаешь, что Анюта, кажется, в любовной связи с гражданином Ковалевым?

— Что ж, завидная пара. Пожелаем им плодиться и множиться.

Смотрит он на меня медведем из-под бровей, и вижу — свирепеет парень, и усы топорщатся и мокреют.

— Ты, брат директор, ваньку не валяй. Не в этом дело. А что ты скажешь, ежели я тебя поставлю в известность, что в твоем заводоуправлении и в моем фабкоме треплются агенты и осведомители Ковалева?

— То есть как агенты и осведомители? Шпионы, что ли?

— Вот именно, шпионы. Объегорил он меня здорово, друг. Сколько лет жили с тобой душа в душу, и вдруг через этого червяка стал перед тобой предателем... В жизнь этого себе не прощу!

В сердце у меня плеснулась горячая волна. Опьянел я и замер от потрясения. Встал со стула и со всего маху бросился ему на шею. Дышит он по-бычьи, и усы щекочут мою шею.

— В жизнь себе этого не прощу, Гриша!

— Я тебя люблю, Андрюша, и никогда не переставал любить. А теперь люблю пуще прежнего. Я знал, что подкупить тебя нельзя. Ошибки со всяким бывают.

За стол больше я не сел — куда к черту, когда в душе музыка и каждая клеточка тела трепещет крыльями! Эти минуты — самые дорогие в жизни: только в такие моменты познается истинная ценность человека и глубокий смысл братских человеческих связей. Такими связями крепла и одухотворялась наша подпольная партийная работа. Такое живое общение и дружба спасают людей от бездушного формализма и делают их непобедимыми.

Я даже забыл в первые мгновения, о чем мы разговаривали. Да и Андрюша замолк от волнения. Вижу, делает он суровое лицо и шевелит бровями и усами.

— Я к тебе, директор, пришел не сентименты разводить, а говорить о деле...

— Ну валяй, валяй... говори о деле, Андрюша... Ведь притворяешься ты, дружок, — ведь проняло...

Смеюсь, а на глаза набегают слезы восторга и любви к нему.

И у него руки дрожат и веки покраснели и разбухли от невылитых слез.

— Да, так вот ковалевские шпионы, брат. Он их здорово настрочил, как заправский охранник. Пообещал им всяких благ: одному — повышение, другому — несменяемость, третьему — всякие гарантии... И так далее и тому подобное... А они, брат, регулярно доносили ему о всяких мелочах — все больше о недостатках нашего механизма, о мелких промахах, доставляли всякие документы... Как ни приду в союз, так сразу и ошарашит: «У вас там сплошная бесхозяйственность, разгильдяйство, полное неумение справиться даже с ничтожными мелочами...» И начинает выкладывать весь мусор. «Я, говорит, как честный и пристальный работник, как коммунист, знаю, где что творится. И таких работников, как вы со своим директором, выжгу каленым железом. Впрочем, ты еще можешь мне быть полезным. Я думаю, что мы с тобой сообща вытравим этого зазнавшегося перерожденца». Притворился я простачком, а он под строжайшим секретом посвятил меня в свою механику. Вылетел я от него, как из бани. Целый день шатался шальным, не спал всю ночь, а сегодня пришел в фабком, будто после лихорадки. Что же это у нас творится? В какие времена мы живем? Как же это мы грязищу эту развели у себя? И тут я впервые увидел, какой я был слепец! Как можно опростоволоситься, как можно добровольно превратиться в мерзавца, не догадываясь об этом, да еще болтать об идеологии! Теперь у нас с Анютой контры. Все рвется по швам. До чего дожили!

Он схватился за голову и закачался на стуле, точно у него сильно болела голова.

И решили мы с ним в тот вечер не бить набата, а следить за служащими и выжидать событий.

А наша история не любит медлить с событиями. И лозунг наших дней один: будь всегда начеку и гляди в оба.

Получаю телеграмму из правления треста: явиться немедленно по срочному делу. Не знаю почему, но эта депеша вызвала у меня тревогу, и почему-то на этой серой четвертушке бумаги я увидел ясно самоуверенное лицо Ковалева с его шевелюрой, похожей на щупальцы каракатицы. Захожу к Андрею. Прочел он телеграмму и помрачнел. Поглядывает на меня из-под бровей медвежьими глазками, и в них — угрюмое предчувствие.

— Ну что ж, валяй, брат. Ежели что — срочно телеграфируй.

Поехал. Москва меня всегда возбуждала бодростью и беспокойством. Я люблю Москву. В ее распластанной громадине, распирающей горизонты, в ее сказочном величии кремлевских и китайгородских хором, в запутанности улиц и переулков, в подъемах и спусках, в густых толпах на улицах, в грохоте трамваев, в стремительности автомобилей, в неожиданной живучести ее древностей — во всем этом есть что-то неотразимо волнующее, захватывающее, чарующее. Я всегда приезжал домой пьяный от Москвы, и похмелье очень долго оставалось у меня даже в моменты тяжелой, напряженной работы. Там у меня прекрасные близкие товарищи, там я когда-то с незабываемой бурей в душе слушал Ленина на съездах партии и Советов, там же с винтовкой на плече шагал в тесных рядах Красной Армии перед тем же Ильичем; там я оставил незабываемые миги моих волнений; там, в ее ядреном, своенравном вихре, клокотали лучшие годы моей жизни. Я всегда ехал в Москву с радостью, с восторгом, точно в волшебный город.

А в этот раз я вдруг почувствовал, что еду с неохотой, со скукой, с тошнотой. Москва показалась мне неприветливой, угрюмой. Небо было мокрое, гнилое, моросил вонючий дождь, и вся эта несусветная чехарда на улицах и площадях была тяжелой, сырой, тесто-

образной, враждебной. И впервые я почувствовал здесь себя одиноким и немного больным.

Председатель правления треста, чиновный, официальный, с серебряной головой, с золотым зубом, весь рыхлый, с деревянным лицом, всегда напоминал мне идола. Застывший, замкнутый, почти немой — принял он меня молча, с унылой скукой и почему-то долго смотрел свинцовыми глазами в бумагу на столе. Не поднимая рыхлого лица, сказал тускло:

— Вы, товарищ Мухин, переводитесь в трест. Вам нужно поработать в новой обстановке, на более высоком ответственном посту. Ваше перемещение уже согласовано с ЦК.

И мне показалось, что эту фразу он говорил не меньше четверти часа. А в груди у меня были боль и тоска.

— Я должен заявить правлению треста, что не могу оставить производство и на переход не согласен.

Человек удивленно и строго поднял одну серебряную бровь, но лицо его неподвижно разбухало над бумагой.

— Ваши возражения неуместны, товарищ Мухин. Интересы государства не могут считаться с интересами отдельных лиц. Вы обязаны подчиниться беспрекословно. Потрудитесь в течение недели сдать дела вновь назначенному директору.

И опять он говорил очень долго.

— Кому же вы приказываете сдать дела?

— Товарищу Ковалеву.

Я едва владел собою.

— Это тоже согласовано с ЦК?

— Конечно.

— Я не могу сдать ему дела.

— Это почему?

— Есть достаточные основания. Я поеду в ЦК. Этого я не могу допустить.

— Вы должны объяснить, в чем дело.

— Это карьерист, авантюрист, мерзавец. Рабочие не пустят его на порог.

— Ну, товарищ, это не основание. Личные чувства и антипатии нам не к лицу. Вы старый партиец,

опытный хозяйственник, а говорите несообразные вещи. Вы достаточно дисциплинированны, чтобы выполнить решения партии и руководящих органов власти.

Его жирное лицо дрогнуло от затаенной улыбки, и он одним глазом свинцово взглянул на меня из-подо лба.

— Вы нужны нам здесь. А Ковалева мы разумно используем там. Вы сами же знаете, что мы на вес золота расцениваем прекрасных работников.

— Ну, так берите его себе, а меня оставьте в покое. Я сросся с фабрикой, родился там и знаю ее до мелочей. В повышениях я не нуждаюсь и за высокими должностями не гонюсь.

— Вы говорите так, как говорили когда-то наши феодалы, удельные князья. Это тем более недопустимо при нашей системе хозяйства. Постановление проведено в спешном порядке, и дискутировать нечего.

Он рыхло протянул мне пухлую руку с седыми волосами на пальцах и опять идольски одеревенел.

Я вышел из его кабинета с бурей в душе и полетел в ЦК. И там срезался.

— Нельзя же так, товарищ... Ты там обрастаешь мохом. Ты не чижик, чтобы сидеть в клетке. Крылья у тебя достаточно выросли. Твоя клетка для тебя тесна. Изволь, дорогой друг, подчиняться!

Вижу, что не договаривают чего-то: не то — что крылья мои выросли, не то — что я сижу чижиком в клетке, а какая-то более важная причина заставила их выжить меня. Вопрос этот я поставил ребром, а ответ был такой:

— Туда нужно новую метлу. Старая только ворошит сор.

— Я не уйду с производства, а этого авантюриста спущу с лестницы.

— Ну вот видишь: ты у себя на месте основал какую-то сатрапию. Надо поработать и в других условиях.

В тот же день я послал спешной почтой письмо в Саратов. Там — в губкоме — мой товарищ по фронту. Попросил безотлагательно собрать справки о Ковалеве.

Приехал домой ночью и прямо с вокзала — к Андрюше. Сидели с ним почти до утра и ни к чему не пришли.

А дня через три произошли такие события.

Отворяется дверь, и обычным уверенным шагом входит Ковалев. В руках большой пузатый портфель, а в лице, немножко бледном, самозабвенное чванство и неудержимая деловитость.

И как только я увидел его — меня точно прострелило. Я вскочил со стула и заорал так, что стены завыли:

— Вон!

И вы думаете — он убежал? Черта с два! Будто и не слышал моего рева: ни один мускул не дрогнул на лице, глаза смотрели мимо меня, в стену. Рассчитанными гибкими движениями приблизился к столу и сел в кресло, а портфель положил на колени. И опять эти его резиновые руки и космы шевелюры бросились мне в глаза, как что-то неотразимое и жуткое.

— Товарищ Мухин...

Заговорил бархатно, твердо, с расстановочкой. И опять эта чудовищная самоуверенность, доходящая до наглости.

— Товарищ Мухин... я должен предъявить вам... постановление... Потрудитесь сдать дела...

Больше я ничего не слышал. Помню только, что я вырос до потолка, что сердце разорвалось у меня и заполнило всю грудь, что шаги у меня были гигантские, а руки напрягались звериной силой. Помню, что я схватил его за шиворот и, как щенка, вытащил за дверь, проволок через контору, среди обалдевших служащих, вытащил на площадку лестницы и швырнул его вниз. От грохота я оглох и почти потерял сознание.

Когда я проходил обратно через контору, во всех уголках было гробовое молчание. Даже машинки не трещали, и за ними не видно было девиц, точно провалились сквозь землю. И будто во мне черти кувыркались в бешеном припадке. Я остановился посредине комнаты и, засунув руки в карманы брюк, с зловещим спокойствием скомандовал:

— Все подхалимы и шпионы этого авантюриста — ко мне! Явитесь добровольно, иначе притащу силой.

И слова мои увязли в могильной тишине.

Я долго ходил по кабинету и никак не мог успокоиться. Как будто я получил полное удовлетворение от расправы над этим человеком. Однако где-то очень глубоко внутри капельками крови обжигало раскаяние: не нужно было этого делать — лучше было бы ловко и дипломатически обставить его, унизить, намекнуть на его подозрительное прошлое. Ясно же и определенно я чувствовал одно: что после этого скандала мне больше не оставаться на фабрике. Вероятно, опять будут осложнения по всем линиям, опять придется иметь дело с контрольной комиссией. И было такое ощущение: все равно, так или иначе, этот запутанный позорный узел должен быть разрублен. Удар был слишком оглушительный, и пыль поднялась густая: не один человек будет чихать от этого взрыва. Все равно — нечего тянуть канитель.

Началась омерзительная комедия. Робко, в позе виноватой кошки, вползает на цыпочках одна из конторских машинисток — бабенка очень молодая, с хорошенькой мордочкой, большая модница, — манерно плачет и бормочет истерически:

— Григорий Иванович, я прошу вас выслушать меня... Ради бога, дайте мне оправдаться перед вами...

Молча встал я перед ней с руками в карманах.

— Григорий Иванович, я не могла иначе... Только, ради бога... дайте мне слово... не говорите мужу... Я еще не порвала... Он опутал меня... Это выше моих сил... Войдите в мое положение... Я вся в его руках... помогите мне...

— Напишите мне это поподробнее... побольше фактов...

— Как же это можно? Что вы, Григорий Иванович! Об этом же узнает улица, и я погибла...

— Улица не узнает.

— Вы даете мне слово?

— Даю. Садитесь и пишите. И, пожалуйста, не разводите истерики.

— Положим, я напишу... но вы же выгоните меня со службы... и это будет ужасно.

— Бросьте канитель. Я уже сказал вам...

— Григорий Иванович... что со мной будет? Как это ужасно! Вы сами любили, Григорий Иванович... Вы поймете меня...

Это было первое ведро помоев, которое выплеснули в моей комнате. Не буду говорить дальше. Было душно и мерзко до тошноты... И опять мучило раскаяние: зачем я разворошил этот навоз?

Анюта — и эта барынька! Крепкая партийка, крепкий человек, целомудренная женщина, Анюта наивно, безгрешно барахталась в этой грязной яме и не чувствовала гнусности клоаки. Анюту мне было жаль невыносимо. Рано или поздно она должна была узнать все, и удар этот потрясет ее.

Уже поздно вечером пришел ко мне на квартиру Андрей. Сел на стул перед столом и угрюмо смотрит мимо. Не утерпел, взглянул мне в глаза и затрясся от хохота.

— Как ты его со второго этажа-то кубарем... Барбос же ты этакий!.. Стоит он на передке и ногами дрыгает... Ох, не могу!.. Уморил!

Его хохот смял меня, и я тоже задохнулся от хохота.

— Ну, Гриша, делу — время, а потехе — час. Швах твое дело. С корнем ты вырвал себя из нашего фабричного коллектива. Теперь шабаш! Но и Ковалеву не видать этих мест как своих ушей. Что ж, и это победа. Нет худа без добра. Трепать только будут тебя, друг, — вот что противно.

— Ничего, Андрюша, мы не пропадем на своей земле, а этого гада я все-таки раздавлю и уничтожу. Не с такими гадами боролись.

— Это так... шагали через смерть и всякие страхи. На своей земле — нам везде место. Только вот — Анюта... С ума схожу от досады. Ведь надо ж ее, как-никак, извлечь из этого омута... Здорово он ее опутал и присосался...

— На то он и головоногий.

— Вот именно... головоногий на все сто процентов.

Здорово ты его припаял этой кличкой... Каинова печать!

Рассказал я ему, как каялись и ползали передо мною подхалимы, показал бумажку этой молоденькой бабенки. Он радостно щелкнул ладонью по бумажке, и глаза у него вспыхнули, как у ребятенка.

— Вот... вот чем я ее приведу в человеческий вид! Оздоровлю и сделаю главной пружиной... Заведу ее на все сто процентов, до отказа.

Я охладил его пыл. Вот придет письмо из Саратова, тогда мы будем бить откровенно и беспощадно. Быть не может, чтобы у этого ловкача не было там приключенческой биографии.

Мы расстались с ним бодро, весело и размашисто.

Вы говорите, что с этой барынькой я поступил не совсем чисто. Не возражаю. Но в глазах ее общества она осталась непорочной голубкой. Мне на нее наплевать. Я думал не о ней, а об Анюте. Да и уличающий материал был ценный — не устоял, что же сделаешь! Противно это, правда, но мы же не белоручки.

А Ковалев, вы думаете, использовал этот выигрышный для него номер? И не подумал. Шито-крыто. Притворился больным и не выходил из дому целую неделю. Потом уже я узнал, что в это время он писал почтительные, умные письма некоторым высоким лицам и в письмах этих очень умело, без сплетни, по-деловому костил меня на все корки. Постановление треста о назначении его директором пока оставалось в силе. В губкоме, впрочем, уже знали, что я его спустил с лестницы. Должно быть, разрисовал это Андрюша. Анюта ожесточенно требовала у секретаря возбудить этот вопрос перед контрольной комиссией. На бюро ячейки и, тем более, на пленуме не решилась обсуждать инцидент — скандально! — и знала, что провалится. Приезжал ко мне Паклин для объяснения. Держал себя непримиримо и вызывающе. Грозил двинуть дело в верхи. Но я спокойно и внушительно сказал ему:

— Вот что, Паклин. Не влипай в это грязное дело — обожжешься. Заявляю тебе, что если этот гнус еще раз заявится ко мне, я поступлю с ним так же

эффектно. Знай одно: он трус, как все карьеристы, и больше не захочет встречаться со мною.

Так он и уехал ни с чем.

Письма еще не было из Саратова, и я начал тревожиться и нервничать. Послал телеграмму — и на телеграмму нет ответа.

И тут-то разразился надо мной страшный удар.

Получаю я повестку от прокурора: явиться к нему в камеру к такому-то часу. Являюсь. Белобрысый человек, очень вежливый, мягкий, веселый, все улыбается и расспрашивает о фабрике, о конъюнктуре, об урожае на хлопок. Потом подсаживается ближе и интимно спрашивает:

— Скажите, товарищ Мухин, как это вы, старый партиец, боец Красной Армии, вдруг сорвались?

— В чем дело? Не насчет ли это Ковалева, которого я вышвырнул из своей комнаты?

— Какой Ковалев? Ах, секретарь союза? Кажется, очень умный, дельный и талантливый человек. Ему пророчат большую будущность. Нет, нет, товарищ Мухин. Видите ли, я потому и хотел предварительно переговорить с вами, что тут нужна откровенность. И вы и я — партийцы; нам нечего вилять друг перед другом. Видите ли, тут поданы заявления от ваших уборщиц — Рябовой и Шиловой — об изнасиловании.

— Что такое?

— Об изнасиловании. Как это вы допустили себя до такого падения?

Я почувствовал, что замираю и внутренности мои превращаются в лед.

— Ничего не понимаю. Откуда эта чудовищная нелепость?

— Ну, уж я не знаю. Заявления обстоятельные. Есть несколько свидетелей. Ведь работают у вас эти девицы — Рябова и Шилова?

— Работают, да. Но здесь какая-то страшная авантюра. Я думаю, что это проделка Ковалева.

— Ну при чем тут Ковалев? Я его достаточно знаю. Этот человек выше всяких подозрений.

— А я настаиваю, что это провокация Ковалева!

— Ну, это мы посмотрим: все это выяснит следствие. Вы видите, я подхожу к этому делу очень осторожно. Я бы мог немедленно применить к вам арест, как грубую меру пресечения, но думаю, что обойдется и без этого.

— Это чудовищная провокация!.. Это возмутительно, нелепо...

— Да, неприятная история, что и говорить. Вы всегда и везде на прекрасном счету. Но как это ни тягостно, а делу приходится дать ход. Серьезное дело.

Как смертельно раненный, помчался я к Андрюше и, задыхаясь, грохнул ему эту новость. Он онемел, встал медленно и долго глядел на меня, как помешанный. Обессиленные, разбитые, прошли ко мне в комнату, сели и молчали очень долго. Решили пригласить Анюту и этих двух девочек. Варя Шилова, племянница Анюты, девчонка взбалмошная, ветреница, с задорным личишком, курильщица. Очень кокетничала: завивалась, слегка подкрашивалась, каждую минуту оглядывала себя, извиваясь змейкой. Неизвестно откуда появились у нее изящные французские ботинки и ажурные чулочки. Среди мужчин чувствовала себя беспокойно. Рябова была некрасива и, точно в подтверждение своей фамилии, была безобразно ряба. Первая была легкомысленна, шаловлива и нервна. Другая — нахальна, зла, груба, мстительна. Помню, обе они просили о переводе на фабрику, но им было отказано. Так что они имели основание быть мною недовольными.

Пришла Анюта слепая, отчужденная, враждебная, села у стола и холодно справилась:

— Что угодно, товарищи? Нельзя ли поскорее, у меня спешные дела.

Я сидел молча, подавленный и изо всех сил старался быть спокойным.

Андрюша с большим самообладанием сразу взял быка за рога:

— Вот что, Анюта. Дело очень ответственное и серьезное. Я знаю, что ты честно, вдумчиво и чутко подойдешь к нему. Я хочу, чтоб для этого раза ты взяла себя в руки и стала выше всяких личных отношений и прочее...

Она строго, почти гневно рванулась к нему.

— Это еще что за предисловие?..

— Сердиться нечего. Я говорю это как товарищ и коммунист. Так вот: дозволь сообщить тебе, что Мухину грозит гибель — это не громкое слово. Твоя племянница Варя и подруга ее Рябова обвиняют его в изнасиловании их. Они возбудили вопрос перед прокурором.

Я еще ни разу не видел Анюту в таком состоянии. Она сразу вся вытянулась, похудела.

— Позволь, позволь. Я с Мухиным боролась и буду бороться открыто. Но я его уважаю как коммуниста и человека. Я никогда не допущу мысли, чтобы он был способен на такую гнусность.

— Однако дело передается следователю. Заявления поданы и Шиловой и Рябовой. Есть даже мерзавцы, которые согласились быть свидетелями.

— Этого не могло быть никогда. Это ложь!

— Что — ложь?

— Мухин этого не мог сделать. Это я знаю и не считаю нужным даже задавать ему вопросов.

Я был очень взволнован ее чистотой и посмотрел на нее с восторгом и благодарностью.

— Так как же ты объяснишь это? Надо же как-нибудь разоблачить это и ликвидировать в начале!

— Давайте сюда этих девчонок. Я быстро докопаюсь, в чем дело.

Андрюша тонко подошел к ней: он даже и намеком не коснулся причастия к этой истории Ковалева.

Девчонки, смущенные и растерянные, вошли в двери, толкаясь плечами, но всеми жилочками старались держаться независимо и напористо. На обеих были новые одинаковые блузки, шелковые чулки телесного цвета и модные туфли с неимоверно высокими каблучками. Варя была с завитыми кудряшками, кокетливо, по-птичьи, дрыгала головкой, смотрела как-то сбоку, и боязливое смущение не потушило женского лукавства в черных глазенках. Рябова стояла сердито, хмуро, готовая ко всяким неожиданностям. Анюта пытливо и остро уставилась на Варю и протянула ей руку.

— Иди-ка сюда, Варька.

Варя подошла, нервно вздрагивая и озираясь. Лицо ее стало бледным, и вся она ежилась, как в ознобе.

— Ну-ка, говори, Варька, когда тебя изнасильничал товарищ Мухин?

Варя ежилась и никак не могла подавить судорог в горле.

— Ну, говори же!..

— Я не помню... Кажись, с полмесяца...

Рябова крикливо бросила издали:

— Чего болтаешь, Варюшка... Чай, на прошлой неделе... Аль не помнишь — здесь вот...

Анюта рявкнула оглушительно:

— Молчать! И до тебя доберусь!

И потом почти ласково взяла за руку Варю.

— Говори правду, Варя. Мне говори. Ты знаешь, что обмануть меня нельзя. Я правду из земли выкопаю. Было это? Говори!

Едва слышно, через слезы, Варя пролепетала:

— Ну да... было... вот здесь...

Анюта встала. Она дрожала, как в лихорадке. Лицо ее было почти страшно.

— Врешь, мерзавка! Этого не было!.. Не было этого!..

И она в бешенстве схватила ее за плечи.

Андрюша подхватил ее под мышки и усадил в кресло.

— Этого не было, дрянь! Не было! Я задушу тебя, а правду выдавлю. Ты не уйдешь от меня. Говори — было?

Варя, полумертвая, задыхалась от рыданий.

— Тетя!.. тетя Анюта!..

Рябова опять горласто крикнула:

— Чего ревешь, Варька? Раз было, так было. Я расскажу, как нас здесь терзали. Бить теперь не позволено!..

— Молчать!..

Я подошел к Варе и погладил ее по голове.

— Скажи, Варя: Ковалев обещал вам перевести вас на фабрику по высоким разрядам, купил вам туфли, чулки. кофточки. Ведь так?

Сквозь рыдания она кивнула головой и пролепетала:

— Да... Товарищ Ковалев улещал... только бы мы написали... Ходили к нему по ночам... вино пили...

Анюта, как затравленная волчица, была близка к припадку.

— Врешь, дрянь! Ты изолгалась, как потаскушка!..

Рябова начала хулиганить.

— Я тебе, Варька, ноги поломаю... Так-то ты поступаешь? Я знаю, что с тобой делать...

Внезапно Варя встрепенулась, заплескалась рыбкой, сорвала с ног туфли и швырнула их к Рябовой, потом стащила чулки и бросила их к порогу.

— Вот тебе, дрянь!.. бери!.. ешь!.. Не ты ли меня соблазняла и жужжала в уши!.. Жри, дрянь, паршивка!..

Девчат увели. Варю Анюта заперла в своей комнате.

Когда она опять села у стола, она была уже спокойна, почти бесстрастна.

— Покажи-ка ей, Гриша, эту бумажку. — Андрюша хитро подмигнул и потер ладонями, как от холода.

Анюта долго смотрела на четвертушку бумаги, исписанную барынькой, и молчала, как в столбняке.

Андрей бродил по комнате и бормотал:

— Вот какие дела, Анюта... гляди сама... И с крепкими партийцами бывают ошибки. Какие же мы были с тобой идиоты, что допустили травлю нашего Мухина. Ах, какие были идиоты!.. Ну и ловкач... головоногий черт!..

И он засмеялся с надрывом, шлепая себя ладонью по лбу.

Я сел около Анюты и обнял ее с нежной лаской.

— Анюта, милый друг! Как это случилось, что ты стала моим врагом?.. Ты! Родная Анюта!..

Она осторожно, как во сне, сбросила мою руку, встала и, слепая, суровая, сказала так, будто вела заседание бюро ячейки:

— Товарищи, завтра же я подаю заявление в бюро райкома о том, что я снимаю с себя секретарство. Я не могу руководить партколлективом. Пусть меня возвратят к станку. Это решено.

И она, не прощаясь и не глядя на нас, вышла из комнаты.

Мое дело у прокурора оглушило всех товарищей. Волнение было необычайное... И случилось так, что вся масса работников разделилась пополам: одни — за меня, другие — против и за Ковалева. Каша получилась страшная.

Варя взяла обратно свое заявление и подала другое — против Ковалева. Рябова держалась твердо на своем. Дело пошло своим порядком. Приезжал следователь и снял с меня показание. По срочному распоряжению свыше я был немедленно снят с должности директора фабрики, впредь до решения суда.

И вот в это время неожиданно пришло письмо из Саратова. Много документов и личных записок о Ковалеве. Товарищ писал:

«Я не понимаю, каким образом вы терпите этого фрукта в своей среде. Он был вышвырнут у нас из партии как отчаянный карьерист. Ловкий и изворотливый, он всегда вылезал сухим из воды...»

Мы призваны к творчеству жизни, к коренному переустройству всей системы хозяйственных и общественных отношений. Мы молоды, полны сил и энтузиазма. Но всякая революционная эпоха, — а тем более наша, — полна противоречий. В истории — это самые сложные и трудные полосы. Как никогда, гнилые пережитки старья и люди, идущие из прошлого, напряженно, упорно, отчаянно борются за свое право на жизнь. Они отравляют атмосферу своим смрадным дыханием и заражают, подчас даже смертельно, новые побеги жизни, вносят сумятицу в нашу созидательную работу. Основа их жизни: теряя все в прошлом, перевоплощаться в новых условиях в нового человека и хватать от жизни сторицею то, что утрачено за рубежом настоящего. Отсюда — карьеризм, хамство, наплевательство, авантюризм, демагогия, уголовщина. Для нас дорога всякая мелочь, потому что она полита нашей кровью. Мы болеем за всякую неурядицу, за всякую ошибку и промах. А эти грибки, эти каракатицы, живущие в темных углах нашей жизни, вредят, вносят разложение, развращают морально, действуют

обманом, клеветой, наглостью, постоянно маскируются, чтобы быть неуловимыми.

Вы говорите, что все ясно без рассуждений, — но мы привыкли всегда осмысливать свое положение. Эта привычка не так плоха.

Ну вот вам и весь рассказ. Вы спрашиваете — какой конец? Я все рассказал, до конца. А эпилог вы уж доскажите сами.

1927

II

НЕПОРОЧНЫЙ ЧЕРТ

Чудесные дома отдыха — наши волжские пароходы! Волнуют они и воспоминаниями детства, и широкой, раздольной музыкой величавого разлива реки. Здесь по-настоящему отдыхаешь от больших и маленьких обязанностей, от партийных нагрузок, от повседневного творческого и всякого иного беспокойства. Плывут мимо в воздушной близости берега — то кудрявые, зеленые, то в глинистых и песчаных осыпях, то обрывистые и низинные. Подрагивает и дышит всем нутром пароход, и река струится и играет солнышком. Хорошо. И все эти заботы, хлопоты, все это рабочее напряжение, вся наша созидательная страда — далеко, за горизонтами, — в том небытии, где потухает вчерашний день. Не смейтесь: я люблю смаковать природу и жизнь, я — немножко лирик, поэт в душе.

Но вы думаете, что мы действительно ушли от этих наших будней, от нашего настоящего и от вчерашнего дня, от людей, которые больше всего изнуряют силы? Нисколько, дорогой мой.

Обратите внимание вон на того человека, который сидит за столиком и читает какие-то бумаги. Почему не книгу, а бумаги? Вы, очевидно, заметили, что он обособлен и очень замкнут. Одет черт его знает во что: рубаха грязная, рукава почему-то засучены по ло-

коть. И волосы сальные и вонючие. Не сомневаюсь, что он ходит босиком или в опорках. Сейчас на нем сандалии, но у них уже продолжительный носильный стаж. Вы видите, что он не смотрит на людей: глаза его тусклые, стеклянные, подбородок (и на нем сальная щетина) при поворотах головы всегда упирается то в одно, то в другое плечо. Он смотрит не на людей, не на то, что происходит перед ним, а поверх людей, по опрокинутой дуге над событиями. Мне кажется, что и люди и мир отражаются в его глазах как-то кособоко, в ракурсе, как на фотографии, когда снимают сверху, торчком.

Посмотрите на его губы: характерные губы — тесно приплюснутые, фанатические; верхние веки — тяжелые, роговые, а нос с вывороченными ноздрями. Сам он не поехал, ручаюсь: его послали насильно — вероятно, всем он надоел, как слепень, а теперь вот, предоставленный себе, страдает. Будьте уверены, что он уже и нас с вами взял на прицел и уже решил, что мы идеологически невыдержаны, захлестнуты обывательщиной, потому что сидим за столиком, а на столике — фрукты, закуска и пиво. Партэтику мы, конечно, попрали и приличной внешностью и обывательским времяпрепровождением.

Черт его знает, может быть я ошибаюсь насчет этого человека, но он напомнил мне одну забавную историю.

В нашей среде есть разновидность людей, которые очень похожи на скопцов: не то изуверы, не то бездушные праведники, не то просто лишаи на здоровом теле. Жуткие это уроды в нашей среде, черт бы их побрал.

В то время, когда я еще был директором текстильной фабрики (это в эпоху «головоногого»), я состоял членом районного партийного комитета. Несмотря на большую административно-хозяйственную нагрузку, я с горячим рвением вел активную партработу в кружке пропагандистов. Партработу я люблю — привычка к ней осталась еще от подполья. В кружке человек двадцать хороших здоровых ребят — лбы у них этакие наливные, открытые, беспокойные; хохочут, как быки, песни здорово поют хором. Во время бесед такие потрясающие дискуссии разведут, так разберут по косточ-

кам всякие марксистские положения, что прямо задыхаешься от восторга: с такими ребятами никакие испытания не страшны, и наш творческий труд действительно будет гореть огромным пламенем на весь мир. И бабенки — новые, воспитанные революцией, а некоторые из них были даже на фронтах гражданской войны. Я чувствовал себя среди них превосходно: молодел, горел, наслаждался жизнью.

Этот наш кружок посещал очень исправно один товарищ. Фамилия у него была странная — Соска, привыкнуть к ней было трудно. Как только кто-нибудь из парней назовет ее — обязательно оскалит зубы. И сутулость его была странной: точно он нес на плечах непосильную тяжесть — не простую тяжесть, а тяжесть какого-то мрачного убеждения, тяжесть внутренней ответственности не за свое какое-то, порученное ему дело, а вообще — за все, будто он поставлен сторожем жизни и охранителем нашим от всех соблазнов, слабостей, бед и напастей. Лицо его было костистое, лоб низкий, нахлобученный на глаза, с одной продольной морщинкой в виде распластанных крыльев. Волосы — твердые, серые, щетинистые; серая щетина и на губах и на подбородке. Челюсти — широкие, выпирающие под ушами.

И что особенно бросалось в глаза — это свинцовый налет и на лице, и на руках, и на волосах.

Костюм у него был тоже какой-то мрачный — серая рубаха без пояса, грязная, засаленная, и заштопанные солдатские штаны.

Вы говорите, что это — нигилист. Пожалуй, в этом есть доля правды. Но нигилист бравирует своей неряшливостью: это для него — маскарад, крикливая вывеска, скандальный грим. Нигилист — актер, это у него — ненастоящее: он презирает в душе свои грязные тряпки, он по существу — аристократ. Здесь — иное; у товарища Соски всё было в порядке вещей: весь склад его характера — и поступки, и слова, и внешний облик — всё это было свойственное ему поведение, его, так сказать, природа. И мрачное, почти зловещее, может быть даже аскетическое выражение лица было тоже — свое, присущее ему, данное жизнью.

Если даже он и не смотрел ни на кого, всем казалось, что он смотрит именно на каждого в отдельности. Слов на его языке было до странности мало, и слова эти были — чужие, впитанные им из резолюций и постановлений партийных и советских органов. Но его голос, придавленно-глухой, тягучий, мял эти простые слова: в его устах они дышали каким-то непререкаемым смыслом. Все его боялись и почему-то заискивали перед ним. Казалось, всем было очень важно, что скажет товарищ Соска, как он скажет — одобрит или нет. Все были при нем осторожны в словах, старались не говорить лишнего: скажешь, мол, что-нибудь не так — товарищ Соска примет это к сведению, обязательно отметит идеологическую неустойчивость, а потом будут осложнения и — черт его знает! — как бы не было неприятностей по партлинии.

Помню такой случай — случай незначительный, но в мозгу горит он почему-то очень ярко до сих пор. Собралась у меня как-то небольшая компания старых однокашников — ребята все боевые, вместе росли, вместе воевали на фронтах: работники из профсовета и парткома, кое-кто из рабочих с фабрики, предфабкома Андрюша и секретарь нашего парткоппектива Анюта. Было весело, задушевно, вспоминали прошлые годы, спорили о хозяйственной политике наших дней. Все — партийцы со стажем. Ну, разумеется, пели. Ну, разумеется, немножко выпили — конечно, для веселия духа. Запивох у нас и в помине не было. Председатель профсовета, Миша Гущин, машинист, весельчак и крикун, всё время жаловался:

— Толстею вот, черти проклятые... Прямо мерзота. Надо ехать в Ессентуки: там, говорят, такие толкачи механизированные есть. Как помолотят с месяц — так и приедешь домой тощенькой былинкой.

И выворачивает на «о», и это «о» очень шло к его толщине. А потом с горя ударил трепака, и так здорово шарахнул, что наша Анюта не выдержала и задорно оттопала вместе с ним русскую. А мы все точно обалдели: топочем ногами, барабаним какую-то чушь, шлепаем в ладоши и трем друг друга потными плечами. Потом и меня проняло: опьянел я от этой

разудалой пляски и бросился очертя голову в круг. Танцор я был когда-то ловкий: в царской тюрьме много мрачных дней скрасил товарищам. Расплескались мы через край — не от вина, повторяю: все были трезвы, — а от этого настоящего товарищеского веселья. Уж больно хорошо было: все — открыты до нутра, все с восторгом обнимали душою друг друга, все забыли, что кто-то из них — ответработник, кто-то — рабочий, кто-то парторганизатор. Редко это бывает в нашем быту, — слишком уж мы завалены делами и обязанностями, слишком суровые дни несем мы на своих плечах: каждый час — некогда, каждую секунду — некогда, и даже дома — некогда. А надо, чтобы в нашем быту было хорошее дружеское общение, чтоб побольше было песен и пляски — этакого здорового веселья, от которого прыгали бы поджилки.

Ну-с, так вот в этот бурный момент вдруг в дверях зловещей тенью появляется товарищ Соска. А надо сказать, что я его и не думал приглашать: я уже заранее знал, что он раздавит нас и все будут чувствовать себя, как вяленые судаки. Сначала я не заметил, а почувствовал что-то неладное в нашей компании. Все понемножку сдали тон, обмякли, смущенно стали переглядываться и расходиться по местам. Ударил это я каблуком, завертелся юлой на одном месте и крикнул:

— Ребята, не Москва ль за нами?.. Умремте за Москву, как наши братья умирали!..

И вдруг увидел этого самого Соску. Стоит он в дверях, опирается плечом о притолоку, царапает пальцами щетинистую щеку и смотрит без признака улыбки на наше веселье. Тут впервые я испугался его: что-то неприятно ёкнуло у меня в сердце, и в первый момент немного растерялся, точно был пойман как преступник.

Я быстро оправился и пошагал к нему.

— Ну, проходи, проходи, товарищ Соска. Очень хорошо сделал, что зашел.

И попробовал даже пошутить:

— Ишь ведь хитрец!.. Знает, где раки зимуют...

Он к столу не прошел, а сел на стул около двери и бездушно сказал, по обыкновению смотря мимо меня, мимо всех — в ничто. И вижу я — очень хорошо

вижу, — что он не верит моему гостеприимству — знает, что я вру, и знает, что он здесь не нужен, что для всех он здесь — заноза. Но именно поэтому он и сел так тяжело и надежно, чувствуя себя некоей грозной Немезидой.

— Из райкома шел... Информационное письмо штудировал... Вижу — огонек. Ну и зашел... Коммунист к коммунисту. Думал потолковать с тобой о партийных делах. Но тут у тебя — вакханалия. Говорим о режиме экономии и разумном отдыхе, а этот режим мы даже дома не можем проводить. Дом для партийца — отдых, а не кабак. Дома он тоже обязан проводить режим экономии.

И все это — тягуче, поучительно, безапелляционно, нудно. Я продолжаю шутить и держать себя с ним запанибрата. А остальные точно крапивой обожглись — корчатся, нелепо слоняются из угла в угол, а некоторые незаметно улизнули. Только Анюта села за стол и стала закусывать.

— Выходит, — говорю, — что рыбак рыбака видит издалека. Здóрово! А по сему случаю подвигайся к столу — закуси. Может быть, выпьешь винца?

Ни с места: сидит этаким статýем и оглядывает комнату, обстановку, стол. А обстановка у меня — очень скромная: два шкафа с книгами, на стенах — три хороших картины в рамах (наследие старины). На столе — бутылка вина, половину бутылки обрезает водчонка, на тарелках — колбаса, ветчина, и коробки четыре консервов.

— Я не пью и считаю, что партийцу недостойно пить. Дома ты живешь не по-пролетарски, Мухин: тряпки, финтифлюшки, диваны. Партиец должен жить скромно, без лишних вещей. И собрание это — нехорошо: собрание должно быть у места, по вопросу. А такие сборища, да с вином, с закусками — не наше дело. Партиец должен вытравлять буржуазные привычки.

Я стоял перед ним, как виноватый, смущенно улыбался и не знал, что возразить ему. Он чувствовал это и держал себя авторитетно, непогрешимо, зная, что ему не посмеют возразить, ибо он олицетворяет собою суровую этику партии. Я изо всех сил старался

держаться легко, весело, непринужденно, но это очень изнуряло меня.

— Ты, товарищ Соска, слишком упрощенно смотришь на вещи. Если бы Ильич услышал тебя, он расхохотался бы и сказал бы тебе прямо в лоб: партиец вовсе не должен быть аскетом и сухарем... Ты знаешь, что именно так он и сказал однажды...

Он вдруг впервые взглянул на меня с тревогой и испугом.

— Ильич этого не мог сказать, а если сказал что-нибудь такое, так его нельзя понимать просто.

К нам неожиданно подошла Анюта со стаканами вина в обеих руках.

— Выпьем с тобой, товарищ Соска, за здоровье Ильича.

Он смотрел мимо нас мертвыми глазами.

— Как! Ты не хочешь выпить за здоровье Ильича? Вот этого я от тебя не ожидала. Товарищи, Соска не хочет пожелать здоровья Ильичу — пусть это будет вам известно.

С Соской случилось что-то несуразное. Он весь сразу высох, как мумия, скулы, подбородок и нос стали сизыми и роговыми. Лицо посинело, а глаза выкатились, как у удавленника.

— Ну, раз товарищ Соска не хочет выпить за Ильича, выпьем мы с Мухиным. Ильич — человек живой, задушевный товарищ, очень любит детей... Пей, Мухин!

И я увидел, что Анюта переживала то же, что и я, и, понимая друг друга, мы нарочно, назло Соске, чокнулись и выпили по полному стакану.

Андрюша свирепо топорщил усы и тоже поднимал стакан.

— Дерябнем, ребята, на страх врагам!.. Не желаем жеваных сосок: мы сами с зубами...

А Анюту точно подстегнул этот залихватский тост. Она вызывающе взяла под руку Соску и потащила его на середину комнаты.

— Ну-ка, товарищ Соска... давай-ка с тобой спляшем... Урежем, черт подери, как бывало на фронте... Товарищи, музыку на губах...

А товарищ Соска старался отбросить ее руку и с ужасом пятился к двери.

И когда Анюта отпустила его, он молча, не оглядываясь, сутуло вышел из комнаты. Вечер у нас расстроился, и все уныло ушли по домам. А Андрюша смущенно шевелил усищами, крутил башкой и бормотал:

— Ну, брат директор, держись. Это нам даром не пройдет. Член РКК как-никак.

Дела не создалось, но объяснения в райкоме были.

Секретарь райкома, парень из военных, краснознаменец, немножко сухой, белобрысый, скрытно усмехался и говорил с деланной строгостью:

— Я прошу вас, товарищи, не тревожить Соску. Вы же знаете, что он — крепкий партиец, выдержанный...

Анюта засмеялась от злости, а Андрюша вытаращил страшные глаза, зашевелил усами и выпалил:

— А я плевал на твоего товарища Соску!.. Ржавая терка... Выкрасить и выбросить к чертям собачьим...

Секретарь строго взглянул исподлобья, со скрытой улыбкой.

С тех пор мы ни разу не собирались и, без слов понимая друг друга, решили, что собираться не стоит, а то как бы опять не вышло неприятностей.

Он был прикреплен к нашей ячейке. На собраниях сидел молча, смотря мимо всех. И когда кто-нибудь, особенно из молодежи, выступал с резкой критикой бюро коллектива или администрации, он просил слова и говорил тускло, нудно и зловеще, как чревовещатель.

— Товарищи, хотя у нас и демократический централизм и внутрипартийная демократия, но, товарищи (очень внушительно и угрожающе)... всякая критика — это дезорганизация партии и руководящих органов. Предлагаю бюро сделать соответствующее внушение и разъяснить товарищам их обязанности как членов партии.

А когда Анюта вступалась за товарищей, разъясняя, что они поступают правильно, что самокритика нам нужна, он вставал с места и заявлял:

— Всякий член партии должен быть дисциплинирован. Он должен беспрекословно выполнять все предписания парторганов. Критика — это волынка, буза. Узнают беспартийные и сами станут бузить. Партиец должен быть в узде, тогда крепче узда будет на беспартийных.

А наутро он обязательно обо всем докладывал секретарю райкома.

У него было какое-то органическое отвращение к людям любознательным, к людям веселым и беспокойным. Если в его присутствии кто-нибудь из товарищей — будь это рабочий или интеллигент—начнет жаловаться на «недостатки советского механизма», — скажем, на то, что нас слишком душит бюрократизм, что кампании у нас проводятся больше на бумаге, что рабкоровское движение терпит зажим, — товарищ Соска нудно и бесстрастно, с мертвенной убежденностью вмешивается в разговор:

— Это, товарищ... буза... поползновение... необузданность... Истинный партиец должен знать, что важнее уметь молчать, чем уметь говорить. Уж очень мы много говорим, очень много знаем... очень всего непозволительно касаемся... узды не чуем... необъезженные...

Терпеть он не мог никаких дискуссий. А в нашем пропагандистском кружке часто загорались бурные споры.

Он в них не принимал участия и мрачно смотрел на товарищей, которые особенно рьяно бились с противниками.

Эти рьяные бойцы были любознательные читатели — любили книги и цитировали их во время спора.

Он тревожно и опасливо смотрел на них, и в глазах его чернела угрюмая угроза.

— Вот-вот, товарищи... Вот тут-то и скрыта буза... Хотите быть умнее партии. Все норовят по-своему идеологию накручивать. Интеллигентщиной занимаетесь — критиков разводите... не приучились к границам...

С нетерпимым раздражением относился он к крикливому веселью и возне комсомольцев.

— Распустилась молодежь. Слишком уж много взяла вольности. Что это за смена? Надо бы обуздать, чтобы не кричали, не тормошились, а приучались к дисциплине... чтоб не бузили, а беспрекословно подчинялись... чтоб чтили авторитет партии и власти...

К книгам относился он не то со страхом, не то с ненавистью, а читал только бумаги, некоторые брошюры и газету. Из всех книг он признавал только Ленина, но не читал его, а почитал, как верующий икону или евангелие. Если он видел около себя комсомольца, а еще хуже — комсомолку с пачкой книг в руках, он враждебно тыкал пальцем в книги и мычал:

— Ну вот... что это такое? Наверно, романы да приключения?

Парень или девчонка нарочно развязно хвастались:

— Это, товарищ Соска, новинки художественной литературы. Тут всякие проблемы...

— Что это за проблемы?.. Какие там могут быть проблемы? Ерунда всё... Кто это, помимо партии, может решать всякие проблемы?.. Кто такие эти писатели — члены партии или беспартийные? Притянуть бы надо и взгреть. Книжки читаете, а постановления парторганов, должно, и в руки не берете.

И по каким бы вопросам ни были разговоры среди партийцев, он неуклонно спрашивал, как некий грозный и бездушный судия:

— А что на этот счет сказано в резолюции? Ты бы, товарищ, не бузил, а вызубрил бы постановление... О дисциплине бы почаще помнил...

Сидел он за столом в райкоме непроницаемый, покрытый пеплом, с окоченевшим лицом. Работал он в комиссии по приему в партию. Бумаги читал кропотливо, внимательно, медленно и шевелил серыми, сухими губами. Он жевал эти бумаги жадно и бесстрастно. И резолюции писал на них тоже долго, старательно и тоже шевелил губами. Посетителей он не видел, от дела не отрывался. И люди сидели в комнате часами — в мучительном ожидании.

Жил он одиноко, холостяком, в Доме Советов. Я у него не был ни разу, да и никто не заходил к нему. Не заглядывали даже те товарищи, которые жили

с ним по соседству. Но все знали, что жил он очень сурово, нищенски, нечистоплотно. В комнате было душно и смрадно. Постель не убиралась. Ни простыни, ни одеялки не было — накрывался он или пальто, или полушубком. Уборщицы плевались, и их мутило, когда они выметали сор из его комнаты. Недоброжелательно и подозрительно засматривал он в комнаты соседей и, подавленный, мрачный, чувствовал себя несчастным целый день, а в райкоме брюзжал на партийцев:

— Вы вот норовите, чтобы как-нибудь по-буржуазному устроиться, обрасти, да чтобы всё блестело, да чтобы столики, диванчики, скатерочки, занавесочки. Бабенки чулки прозрачные натянули да башмаки этакие с тесемочками, с каблучками. Чашечки, ложечки, тряпочки... Какая тут может быть идеология? Ликвидировать все это надо. Чистку строгую надо — мало чистили...

И при каждом случае, когда ему кто-нибудь не нравился или что-нибудь было не по нем, — а раз не по нем, значит против партии, — он обязательно брал на заметочку: вынет грязненький блокнотик и старательно, очень медленно заносит обгрызочком карандаша всякую всячину в свой кондуит. Нередко бывало, когда в РКК разбиралось какое-нибудь дело в присутствии кого-нибудь из партийцев, имеющих к этому делу отношение, он вынимал свой блокнотик и зудил:

— Вот ты, товарищ, уж больно лоск разводишь — и ботинки у тебя, и галстучек. И из квартиры у тебя подозрительно пахнет, и жена у тебя наряжается. А с какой стати ты такого-то месяца и числа кровать с шишками купил? Обставляться, что ли, вздумал?.. Разве это партийцу к лицу? Партиец должен жить в пример другим — скромно и нетребовательно. Он в первую голову должен переносить всякие невзгоды и лишения. Партия требует отказа от всяких своих личных желаний и увлечений. Подтянуть бы надо тебя... идеология страдает и дисциплинка... отрыв...

К женщинам — к партийкам, конечно, — он относился очень подозрительно, недоверчиво, считал их неспособными к планомерной работе, невыдержанными

идеологически, легкомысленными. Уж одно то, что женщина вовлечена в общественную работу, что она, как женщина, несет в себе половой соблазн, — разжигало в нем неугасимую ненависть к ней. С женщинами он был всегда угрюмо замкнут, держался с ними грубо, а подчиненных грыз, третировал и часто доводил до слез.

— Женщины — это самый опасный элемент в работе, — тягостно говорил он. — Хоть Ильич и сказал, что нужно кухарку привлечь к управлению государством, но за ними нужно следить в оба: всякая буза и нарушение этики — от женщины. Втюрилась в какого-нибудь молодца или, скажем, ребенок на руках — и дисциплина и идеология расползаются: отрыв, обрастание, личные интересы. Женщина живет чувством и мелкобуржуазными привычками.

И чаще всего говорил это при женщинах. Они терпеть его не могли и протестовали бешено и горласто. А он, невозмутимый, деревянный, не прерывал работы и, углубленный в нее, безнадежно убежденный в своей правоте, был глух к их протестующим крикам.

Сидели мы как-то в фабкоме и, между прочим, поговаривали о Соске — ну, конечно, посплетничали, поехидничали, дали свободу своей неприязни. Андрюша вдруг хлопнул ладонью по своей кепке и весело озлился:

— Да что он, ребята, монах, что ли, какой? Ведь человек же, со всеми слабостями на сто процентов. Я его, черта, проверю. Я, брат, знаю цену этим аскетам.

А Анюта — баба горячая, с постоянной зарядкой, работать с прохладцей не любила, и дело у нее всегда пылало пламенем. Когда говорила, голову задорно вскидывала кверху. Грудь была девичья, но по-матерински налита обильно. И вся она в минуты возбуждения как будто опиралась только на грудь. Ее трудно было сбить с толку, трудно смутить, на реплики отвечала резко, как-то сверху, отмашкой. Про нее так и говорили: «Анюта гвоздит»... «Анюта звезданула»... «Анюта прошила в строчку»...

Так вот наша Анюта, опираясь на грудь, вдруг решительно подхватывает слова Андрюши:

— А все-таки, товарищи, этого Соску надо обезвредить...

— Ну, — говорю, — Анюта, ты слишком переоцениваешь личность Соски... Он и так безвреден.

— Э, брат, не скажи, Мухин. Такие люди опасны: они всякое дело замораживают одним взглядом. Достаточно столкнуться с ним (а это бывает сплошь и рядом), как сейчас же почувствуешь, что начинаешь коченеть. Это вот от них — и формализм, и бездушие, и наплевательство. Они жить бодро и работать весело мешают.

Андрюша свирепо взъерошил усы.

— Анюта права, Мухин. Ты недооцениваешь его вредоносной роли. Я бы его с удовольствием раздавил, как мокрицу.

Я засмеялся: очень уж забавным казался мне Андрей в своей злобе и свирепости.

Мне неудержимо хотелось подразнить и его и Анюту. Я любовался их волнением и горячностью: в моменты возмущения у человека играет воля к борьбе, и в это время человек становится красивым.

Чтобы возбудить их еще более, я с небрежной снисходительностью сказал:

— Да что с него взять?.. Это — непорочный черт... и только...

Андрюша изумленно навалился на стол, потом откинулся на спинку стула и захохотал.

— Что? Что такое? Это — Соска-то?.. Будь ты проклят!.. Непорочный черт... Ну и сморозил же, окаянный... Непорочный черт!..

Засмеялась и Анюта.

— А ведь, пожалуй, верно, Мухин... Метко! Бывают слова, которые сильнее оплеухи.

Сидим мы, говорим о Соске и чувствуем что-то вроде недомогания: так и кажется, что тень его незримо распласталась над нами, давит нас и мешает дышать. Он даже на расстоянии действовал на нас угнетающе. Мы были в постоянной тревоге: вот сей-

час отворится дверь, войдет Соска, молча сядет к столу, и мы покроемся плесенью.

Поговорили мы, посудачили, посмеялись, и стало нам легче. Так всегда бывало. В минуты усталости, забот и тревоги за фабрику мы, как по сговору, сходились вместе, и это наше общение всегда приносило нам радость: мы чувствовали себя сильнее.

Хотели мы уже разойтись, как влетает предпрофсовета Миша Гущин. От толщины своей задыхается, и глаза у него готовы лопнуть от изнеможения. Необычно для своей тучности очень стремителен и возбужден. И когда грузно сел на стул, почудилось, что вся комната дрогнула, стул затрещал, а стол сдвинулся с места. Чувствовалось, что он не в себе: не было в нем присущего ему добродушия и веселости — накален бешенством и отчаянием.

— Вот что, дорогие товарищи: то ли мне удавиться, то ли запить горькую. В Ессентуки я, кажется, не поеду — и без того начинаю сохнуть...

Анюта сверкнула зубами.

— Это видно — хоть в гроб клади, бедненького. Даже мебель дрожит от жалости.

Андрюша скорчил скорбную гримасу.

— Ведь вот какая жизнь, лиходейка: совсем измотала человека... ходевы не ходевы, а ножки бильярда. Чистая беда — и пожалеть некому...

Посмеялись мы, а Гущин пучит на нас глаза и злится.

— Будет вам, черти полосатые! Бараны! Тут печенки заело, а они колокола отливают! Уберите от меня к черту в зубы эту мумию, Соску.

— Ха! а вот этот шайтан сморозил еще хлеще: непорочный черт... Ну и шерстобиты!..

— Вам хаханьки, а мне — смерть. Сидит он передо мной, как лягушка, и квакает: «Ты, товарищ Гущин, имеешь буржуазную наружность. Ты — жирный. Партийцу жиреть не полагается. Жирный не имеет авторитета. Ты ешь много и сидишь в кабинете — оторвался от масс. Тебе к станку надо...» Вывел он меня из терпения, измочалил вдрызг. Ну, так я сегодня на него — прямо быком испанским...

Андрюша ринулся к нему и шлепнул его ладонью по жирной коленке.

— Как? как? быком испанским, говоришь? Швах твое дело... Пропал, брат...

— Ты говори, Миша, поосторожнее: этот тореадор измочалит тебя в лоск и пырнуть ни разу не даст. Измором возьмет...

— А, черт с ним! Все едино.

Мы посмеялись, успокоили его, и он ушел, опять веселый и добродушный. Соска после этого с неделю не был у него, а потом опять явился. И что особенно странно было: он начал захаживать ко всем ответработникам и ко мне зачастил. Придет, сядет, как истукан, и молчит.

Приходили инженеры, рабочие — мало ли людей приходит в кабинет директора. Встанет потом, и за приплюснутыми губами — нудная жвачка:

— Ты, товарищ Мухин, к спецам тянешься. С рабочими ты не церемонишься, а со спецами — за ручку и... разные красивые слова... В доме у тебя — обстановка не рабочая. Так мы скоро всю идеологию растрясем, и спецы нам на шею сядут. Мелкобуржуазная стихия захлестывает. Я предупреждаю тебя, товарищ Мухин...

Я взъярился при первой же его рацее.

— Вот что, товарищ Соска. Уходи-ка ты отсюда подобру-поздорову — не мешай.

Он без смущения мутно посмотрел на меня и стал еще более неотразимым.

— Ты, товарищ Мухин, невыдержанный... на тебе нет узды... а я по долгу коммуниста... должен предупредить и призвать... ты утратил границы...

— Надоел ты, Соска, и мне и всем, как горькая редька. Ты — настоящий филер... Были такие фрукты когда-то, которые, как черти, гонялись за душою грешника.

Он пристально уставился на меня, и мне почудилось, что на меня смотрит покойник.

— Я партиец, и ты — партиец. Партиец партийца должен воспитывать. Ты ведешь неправильную политику... Надо точно выполнять директивы партии. У тебя этика и идеология шатаются.

— А знаешь, товарищ Соска, я ведь, пожалуй, тоже сумею доказать, какой ты есть тип.

— Это то есть как — тип?

— То есть так и тип... густопсовый тип...

Это слово потрясло его страшно: он постарел, осунулся еще больше, и руки у него стала сводить судорога.

— Хорошо... Этот «тип» обсудит контрольная комиссия. Значит, я, как член партии, — тип? Наша партия состоит не из типов, а из коммунистов. Тип — это чуждый элемент, а партиец не может быть типом.

И ушел, синий, чавкая широкими челюстями.

И вы думаете, что с его стороны это была простая угроза? Ничуть не бывало. В РКК каждый день поступало по одному, по два дела, и вскоре оказалось, что не только ответработники, но и некоторые рабочие, и особенно женщины-партийки, очутились под следствием.

У всех он был поперек горла и всем был невыносим, как конвоир, который не отходит ни на шаг от арестанта. Кажется, если бы он опасно заболел или случилась бы с ним какая-нибудь беда — все бы стали поздравлять друг друга с радостью. Любил он ходить по квартирам рабочих в дни отдыха. Придет — сидит и тянет азбучные рацеи из политграмоты. И когда он попадал на праздничные пирушки в общежития, когда рабочие в товарищеской компании закладывали за воротник, пели и плясали под гармошку, он аскетически, как некий пророк и обличитель, произносил перед ними целые речи об устроении быта, о поднятии производительности труда, о международном положении, о том, что рабочий не должен веселиться, дабы не впасть в буржуазный соблазн. И эти его непрошеные посещения всегда приводили к одному — компания расстраивалась, все тоскливо замолкали и конфузливо расходились по своим углам. В коридоре шептались, плевались и злобно вздыхали.

Впрочем, однажды он нарвался на скандал. Начал он как-то разводить перед столом свои антимонии; рабочие, уже порядком подвыпившие, стали крякать и расползаться. Совсем бы он заморозил гостей, да один

парень из красильного отделения пришел в ярость, грохнул кулаком по столу и заорал:

— Дайте, я ему, облезлому кобелю, морду набью. Терпеть не могу. Он из души моей лепешки печет... понимаете?.. А что есть моя душа? Она желает расцветать, как яблоня...

И если бы не вывели Соску из комнаты, — а вывели с удовольствием, — парнюга этот здорово бы изукрасил его физиономию.

Явился он как-то к Анюте в комнату (она жила в одном с ним общежитии) и, как на беду, застал ее в игривом настроении. Девка она была здоровая, веселая, разбитная и, если бывала в ударе, неуемна была до озорства. На фронтах, в отчаянные даже минуты, жизнерадостность ее играла брызгами на солнце. Я думаю, что многие красноармейцы вспоминают ее и сейчас с нежной улыбкой и любовью. Так вот. Когда вошел к ней Соска, она боролась с комсомольцем Серегой — организатором молодежи на нашей фабрике, парнем коренастым, с душой нараспашку и с жадными ноздрями. То ли он сам поддался, то ли Анюта по ловкости своей подмяла его под себя, только барахтаются они на полу: он—на лопатках, она—на нем, и оба задыхаются от борьбы и от избытка жизни. Он ее облапил и рвет в разные стороны, а она мнет его, щекочет и считает кости. Соска же стоит в дверях, липко мигает, нюхает их шерстистым подбородком.

Анюта вскочила, растрепанная, разогретая, и одним прыжком очутилась около него.

— Ты зачем сюда ввалился, Соска? Что тебе здесь надо? Кто тебя сюда просил и по какому делу?

А он мигает и бесстрастно растягивает губы.

— Мы — члены партии. А члены партии — товарищи. Я могу зайти к тебе во всякое время. Ты обрадоваться мне должна, а не гнать. Чего это вы тут безобразие устраиваете! Саморазложением занимаетесь...

И впервые по его телу пробежало что-то вроде судороги и в глазах вспыхнул не виданный никогда огонек любопытства. Комсомолец смотрел на него, издали и конфузливо оправлялся. Анюта по женскому

чутью сразу схватила эту необычайную перемену в Соске и по женскому же инстинкту озорно зашалила с ним.

— Ты подсматривать за мной пришел! Знаю я. Ты, приятель, влюблен в меня и ревнуешь.

Он закоченел от изумления и впервые растерялся.

— У тебя в комнате уж чистенько больно. Обывательский дух. И недопустимо возитесь... партийка... комсомолец... Что скажут беспартийные?..

И нюхает комнату своим щетинистым подбородком.

Анюту разбирал смех и озорство: неудержимо хотелось ей устроить Соске какой-нибудь острый скандальчик.

— А, так это — правда? Значит, ревность заела? Ты должен знать, что для нас ревность — преступление. Ну и Соска! Вот я тебя сейчас проучу, голубчика. Тебя называют непорочным чертом и евнухом. А я ненавижу и евнухов и непорочных, хотя бы и чертей. А ну-ка, голубь, расплачивайся!

Она схватила его поперек туловища, раскрутила вокруг себя и грохнула на пол. А он в ужасе затрепыхался, закорчился, и лицо его исказилось, как у утопающего. Серега стоял в стороне и задыхался от хохота. Анюта загнула Соске салазки и с наслаждением зашлепала его по заду. Предоставляю вам вообразить, что это была за картина. Соска поднялся, весь общипанный, раздерганный, с ужасом в глазах, страшный, и вышел из комнаты, как больной.

После этого он сделался подпольной крысой, а в райкоме сидел немой, одинокий, и никто не мог от него добиться никакого толку. История разнеслась по всему городу, и все под общий хохот смаковали это событие как анекдот.

— Вы слышали? С Соской-то?

— Как же, как же!.. А вы слышали — он будто бы хотел повеситься?

— Ерунда. Наоборот, он подал жалобу в контрольную комиссию.

Это было началом падения Соски. Настоящая же его трагедия разразилась немного позже.

Сидим мы как-то у меня в кабинете с Андрюшей,

обсуждаем хозяйственные вопросы. А вопросы были трудные и щекотливые. Поджидали Анюту. Как обычно, влетела она к нам с портфелем в руках и — прямо нам в лоб:

— Товарищи, великий скандал! Вы ничего не слышали о Соске?

Андрюша свирепо отмахнулся.

— А черт с ним, с твоим Соской! Охота тебе трепаться с этим евнухом. Тут вот у нас башки трещат на все сто процентов, а ты с Соской, будь он неладный.

А она, Анюта, тоже отмахнулась от него и вскинула голову.

— Ты подожди, Андрей, не рычи, сначала выслушай...

Не села, бросила портфелишко ко мне на стол и засмеялась:

— Заявляю вам, други милые, что Соска привлекается к суду по делу об алиментах.

— Что такое? Обалдела ты, что ли?

Мы даже вскочили оба от неожиданности. Несколько мгновений, пораженные, мы переглядывались и никак не могли прийти в себя.

— Да, да, товарищи. Было бы вам известно. Факт. Суд назначен на послезавтра.

— Но кто же это? — Я изо всех сил боролся с собою, чтобы не расхохотаться. — Ведь это же невероятно. Тут какая-то чепуха. На авантюру похоже.

— Чепуха не чепуха, но факт остается фактом. Возбудила дело уборщица из Дома Советов, наша Авдотья... Есть свидетельницы, тоже уборщицы. Они его терпеть не могут. Он им покою не давал: совал нос чуть ли не в их грязные тряпки. Авдотья — бывшая домработница, деревенская баба, но нахальна до невозможности. Сговор ли здесь, или что другое — не знаю. Только Соска будет платить алименты — это несомненно. Она беременна, на шестом месяце.

Черт его знает, тут ничего не было смешного — скорее это было несчастье. Нужно было что-то предпринять в защиту Соски, освободить его от напасти, но в нас словно черти закувыркались: мы задыхались

от хохота; и тут же мы впервые заинтересовались: кто же этот самый Соска по социальному положению? На рабочего он совсем не был похож, на интеллигента — тем паче. Весь он был какой-то размытый, без контуров, без биографии. Решили, что Анюта ознакомится в райкоме с его личным делом, я поговорю с секретарем райкома, чтобы он как-нибудь постарался ликвидировать эту историю, а Андрюша вызовет женщин и выудит у них хотя бы намек на правду.

Рабочие на фабрике тоже заволновались от этой новости. Все встречали меня всплесками смеха в глазах. Чувствовалось откровенное веселье и легкомысленное настроение. Мне даже показалось, что все рады: вот, мол, стряслась беда с Соской, и стало легче дышать — так ему и надо.

Девчата даже частушку сложили в честь этого события:

Распустился вешний лист —
Приколю я ленты.
Соска, прелый коммунист,
Платит алименты.

Этот «прелый коммунист» звучал, пожалуй, слишком грубо и беспощадно, но частушке нельзя было отказать в своеобразном остроумии.

От женщин Андрюша ничего не добился: они набросились на него за то, что он хочет пустить по миру бедную женщину, а стоялого жеребца защищает, что бедный женский пол и сейчас под кулаком, как и при старом режиме. Авдотья упала к нему на стол и расплакалась. Он безнадежно махнул рукой и выгнал их вон.

Анюта принесла такие сведения: Соска — в партии с 1918 года. Из крестьян. На фронтах не был. В царское время и при Керенском был служителем в гимназии.

— Ну, вот то-то и оно!.. — махнул рукою Андрюша и надвинул кепку на лоб, потом опять отшиб ее на затылок. — Служитель... черт его знает, что это такое... Служитель! Ну и словечко!.. Объясни-ка, Гриша, что это за квалификация такая.

— Это, — говорю, — ни лакей, ни швейцар, ни сторож, ни шпион, а все вместе взятое. Это тот надзирающий, кого называли раньше «дядькой».

— Вот оно какое дело. Дядька! Ну и шерстобит!..

— Что ж, — говорю, — побыть служителем в гимназии — дело нешуточное. Он и у нас нашел себе свое дело — роль надзирающего дядьки...

Анюта сердито:

— Это совсем не важно, где он служил и какого происхождения...

Андрюша заорал, перебивая ее:

— Нет, дудки... очень важно!.. Полицейского ты первая вышвырнешь из партии...

Анюта спокойно продолжала:

— При чем тут полицейский?.. Не волнуйся, пожалуйста... Мне важно, что представляет он собою как член партии.

— Дерьмо... Гнать его в три шеи, и больше ничего!..

Анюта сдержанно, немножко даже официально, рассудила:

— Любим мы или не любим Соску, но раз он наш товарищ, мы обязаны ему помочь. Всякие здесь антипатии — побоку. Я говорила с секретарем. Он уже предпринимал что следует. Его вывод таков: поскольку дело получило огласку и назначено к слушанию, неудобно настаивать на прекращении или отсрочке. Это вызовет недовольство среди рабочих.

— Правильно. Вот это молодец! — крикнул Андрюша радостной фистулой. — Я бы, товарищи, сам запротестовал. Этим шутить нельзя. Фактически неправильно давить: надавишь невпопад — да рикошетом двинешь по рабочим массам. Надо, товарищи, быть политиками...

Анюта почему-то вдруг устало притихла и загрустила.

— Нехорошо у нас, товарищи! Когда только вылечимся мы от всяких болезней, эх!..

Накануне суда, поздно вечером, я пошел по срочному делу в Дом Советов, к секретарю райкома. Когда я шел по длинному коридору, сумеречному, с редкими звездочками лампочек у потолка, по-ночному пустынному и гостинично-неприютному, вдали я увидел смутную серую тень. Человек что-то бормотал сам

с собою, подходил то к одной, то к другой двери, прислушивался, отворял и заботливо засматривал в нутро. Если дверь была заперта, отходил от нее и шел дальше. Похоже было, что человек запутался в этом коридоре и потерял свой номер. Мы встретились с ним нос в нос, но он не обратил на меня внимания и прошел мимо. Конечно, это был Соска. Проходя около меня, он невнятно бормотал:

— А всё — женщины... Только подол задирают... а потом — суд... Вот кого надо судить... и карать... Надо всех в крепкий зажим... чтобы не пищали... не прыгали...

И в этом его бессвязном бреду каждое слово дышало слепым убеждением. А когда я почувствовал его около себя, у меня по спине поползла судорога. Ясно, Соска был или болен, или пьян.

В эту же ночь его отправили в больницу, и суд был отложен на неопределенное время.

Потом Соска как-то незаметно исчез с горизонта, но образ его навсегда выжжен в нашей памяти.

Такие типы встречались раньше нередко. Они до жути примитивны, и мозги у них, вероятно, с булавочную головку, как у тех насекомых, которые известны под именем богомолов.

Вы говорите, что я слишком сгущаю краски. Но ведь всякое сгущение красок — неизбежно при обобщениях, а обобщение — это фокус, в котором собираются рассеянные элементы явлений. От сгущения, от собирания, от обобщения существо жизни нисколько не изменяется: жизнь по-прежнему богата, разнообразна, искрометна, полна напряжения, горения, беспокойства и творческой энергии. Надо только уметь жить, то есть неустанно бороться, накаляться докрасна, не угашать в себе созидательного пафоса, потому что наши великие цели, наши идеалы — это будущее, перевоплощенное в настоящий день. А это значит, что диалектика нашей жизни обязывает тебя быть не простым исполнителем, а подлинным творцом и строителем нового мира.

1928

III

ВДОХНОВЕННЫЙ ГУСЬ

Как-то на общем собрании нашей парторганизации мы слушали доклад о решениях пленума ЦК и ЦКК. Я только что вступил на новую должность и присутствовал впервые на этом заседании. Но меня многие знали как руководителя текстильной фабрики и своего контрагента и встретили как близкого товарища. Выступали после доклада как-то вяло. И когда председатель выкрикнул, что слово имеет товарищ Будаш, по залу прошел шелест и что-то вроде гулкого вздоха.

На кафедру быстро вбежал, размахивая длинными руками, бронзовый поджарый парень с пышно взбитой шерстью на голове. Новенький пиджак, новенькие брюки, на лацканы пиджака широко откинут белый воротник рубашки.

Поразил меня его профиль, когда он вбегал на кафедру: линия лба крутой дугой переходила в нос и резко обрывалась. Губы энергично сдавливались носом и подбородком.

Он бросил обе руки на кафедру, застыл на мгновение, потом вытянул шею в одну сторону, потом — в другую, и в этом клевании пространства было что-то пристально птичье и какая-то самодовольная горделивость. Голос его почти оглушил меня, хотя я сидел далеко: в нем была этакая колокольная внушительность.

С первых же его выкриков я ощутил что-то вроде дурноты. Мне неудержимо хотелось подняться со своего места и выйти в коридор. Я не утерпел и наклонился к уху моей соседки, научной сотрудницы по отделу сырья — Оврагиной, молодой девушки с задорно вздернутым носиком и большими доверчивыми глазами.

— Однако этот юноша не в меру развязен. Кто это такой, товарищ Оврагина?

У нее заиграли ямочки на щеках.

— Хорош юноша! Этому юноше тридцать пять лет. Он редактор газеты. Замечательная личность. Разве вы не читали его статей? Псевдоним — «Монолит».

Да, я читал статьи Монолита и, признаюсь, читал с увлечением. О чем бы он ни писал (а писал он обо всем), его перо непременно накалялось докрасна и прожигало бумагу.

И всегда во время чтения я чувствовал что-то вроде беспокойного протеста: в статьях была какая-то наигранная ловкость мозга, и чувствовалось, что этот мозг в сущности занят другими вопросами, о которых я не узнаю никогда. Неприятно было и от обильных потоков самоуверенного красноречия в этих его статьях. Вы, вероятно, испытывали такое неудобное состояние: и досадно, и тягостно, и не можете оторваться от каскада хлестких фраз.

Бьет больно — а не по тому месту, убеждает здорово — а протестуешь, пышет пламенем — а в результате озноб.

И вот сейчас, когда я слушал его, я вдруг незаметно для себя увлекся его речью.

Он сразу же забушевал, запылал гневом, весь превратился в вихрь, который принято называть вдохновением.

Громил он раскольничество и оппортунизм так сокрушительно, как, вероятно, не снилось никому из участников пленума ЦК и ЦКК.

Тут было все: гремели цитаты из Ленина, из Сталина, камнями летели факты и иллюстрации, едко и неотразимо чеканились четкие выводы. И мне казалось, что работал он не только горлом, но и руками: они у него тоже ораторствовали.

Как я ни был увлечен его речью, но все-таки ясно уловил реплику товарища, который сидел позади:

— Фигаро — здесь, Фигаро — там!.. Сейчас свирепо крушит оппозицию, а сам вчера еще трепался в ее шайке.

Другой голос подавился смешливой икотой:

— Да уж ежели бы оппозиция взяла верх, он, милый, сейчас гремел бы похлеще Савонаролы...

Первый угрюмо промычал:

— Выходит, значит, трибун, а в подстрочном примечании — прыгун.

Оврагина не сводила с оратора влюбленных глаз.

Я опирался на спинку стула и наблюдал за Будашом внимательно и пристально.

Он с особой значительностью усмехнулся, вытянул шею и вскинул голову.

— Как ни крепка наша организация, как ни дружны мы в энергичном отпоре капитулянтского оппортунизма, но мы ни на минуту не должны забывать, что в наших рядах трусливо прячется немало скрытых паникеров, которые даже своим молчанием вносят разложение в здоровую ткань нашей партии...

И так далее в этом роде.

Потом он с прежним подъемом и возбуждением громил бюрократов нашего учреждения, обобщая это в типический факт, упомянул о новичках — о таких ответработниках, которые приходят к нам в учреждение после всяких передряг по партлинии, по линии РКИ и судебных органов. Вместо того чтобы порыться в их биографиях, их пригревают, создают авторитет старые революционеры, личные друзья, которые отвыкли дышать свежим воздухом и не хотят видеть и чувствовать живых сил молодежи.

Я не сомневался, что стрела его пущена в мою сторону.

Кое-кто из товарищей оборачивался, чтобы с любопытством взглянуть на меня.

Будаш быстро перешел к хозяйственным вопросам, и пафос его достиг предельной высоты.

— Мы, авангард пролетариата, горим вместе с рабочими и крестьянскими массами невиданным энтузи-

азмом. Я уже не говорю о рабочем классе, — я напоминаю вам, что крестьянство с восторгом отдает государству последнюю меру зерна, последнюю корову на дело индустриализации страны. Рабочий требует уменьшения расценок, сокращения приработков во имя снижения себестоимости производства. Неудержимое стремление крестьянства к коллективизации, необычайный революционный подъем бедноты в реализации госзаймов и добровольного самообложения, блестящий рост хлебозаготовок, расцвет кооперации на местах — все это обязывает нас к еще большему напряжению сил. Мы все, товарищи, как авангард мировой революции, ни на минуту не забывая о самокритике, должны дать решительный отпор всем оппортунистам, которые мешают нам в нашей великой работе по развертыванию социализма в нашей стране и во всем мире...

Сзади меня опять начали острить:

— Ну-у... закусил удила!

— Да ты слушай — прямо «Интернационал» вприсядку...

Оврагина вскочила с места, бледная от негодования, и набросилась на тех, кто сидел сзади:

— Как вам не совестно, вы злословите из зависти...

А ей добродушно смеялись в ответ:

— Да сядь ты, Оврагина. Чего истерику разводишь? Выйди в коридор — отдышись.

Люди улыбались, крутили головами, хмурились, гневно переглядывались или просто отмахивались.

Будаш самоуверенно тряхнул шевелюрой и сошел с трибуны, нарочито сдерживая свой шаг, с достоинством, с этакой великолепной наглецой. Перед тем как сесть на место, в переднем ряду, он постоял лицом к собранию, прищурился и вытянул шею, не угашая своей улыбки. Председатель прочел записку и пошарил глазами по рядам.

— Слово имеет товарищ Мухин.

За время гражданской войны, за свою продолжительную работу директором фабрики, за двадцатилетнюю партийную практику я привык владеть собою, а на трибуне всегда чувствовал себя уверенно и спо-

койно. Но сейчас я шел по длинному проходу среди плотно сбитых людей, провожавших меня любопытными глазами, немного взволнованный вынужденным выступлением. Впрочем, это не совсем верно: меня никто не вынуждал выступать, но во мне стал на дыбы неисправимый старый мятежник. Передо мной был актер — в этом я был уверен, — так он отразился в моем восприятии. Ему наплевать на то, что было у меня в крови, что было моей жизнью, что было для меня самым заветным и дорогим. Признаюсь заранее, выступление мое было неудачно. Вероятно, это было потому, что я сразу взял не тот тон. Я стал стегать его за демагогические намеки, за вызывающий, озорной тон. Всякая демагогия и озорство, которое по ошибке выдается за молодой задор, треплет и нервирует партработников.

Будаш смотрел на меня в упор, строгий, с энергичным носом, с обжигающим пламенем волос. И улыбался ехидно, загадочно, как заговорщик. Что-то вроде холодного презрения и брезгливого сожаления волнами туманило его самонадеянные глаза.

— Ну чего вы лимоните, товарищ Мухин? Это же не выступление. Старый партиец, а сам жует демагогию!

Как только он выкрикнул мне в лицо эти слова с высокомерным вызовом, кое-где в передних рядах, где теснилась молодежь, раздались злорадные выкрики: ишь, мол, задели бюрократию — обиделись, в амбицию ударились... Были и трезвые выкрики: надоела, мол, вся эта демагогия — не пора ли научиться выступать по-деловому...

А я не утерпел и огрызнулся на реплику Будаша:

— Я, кажется, с примерным молчанием слушал ваши талантливые рацеи, товарищ Будаш. Возьмите себя в руки.

— То-то, то-то... мы уже знаем, чем пахнет это примерное молчание.

Звонок председателя. Шум.

— Есть люди, — поучал я, — которые вреднее бюрократов: фигура бюрократа, хоть и скользкая, но неповоротливая, как налим, — его безошибочно можно

взять за жабры. Но есть иные, не менее опасные фигуры: это — «головоногие», это — «непорочные черти». Есть еще третья разновидность, я позволю назвать их — ну хотя бы «вдохновенными гусями», что ли...

В разных местах засмеялись, кое-где хлопнули в ладоши, кое-кто отмахнулся, а в передних рядах возмущенно зашумели и ехидно подтрунивали надо мной. Издали я видел, что Оврагина сидела съежившись, с закрытыми глазами, и лицо ее поблекло и подурнело.

Я перешел к критике неумеренно пламенных слов Будаша по поводу нашей хозяйственной политики. Слова, мол, давно уже надоели, а оратор ничего конкретного и дельного не сказал. Он только своим вдохновенным пустозвонством замазал самую суть этих вопросов. Отыгрываться красивой архиреволюционной фразеологией — и легко и выгодно. Плясать под пролетарский гимн — это преступное легкомыслие. А вот разобраться во всей сложности огромных хозяйственных проблем, которые стоят перед нами, — это требует невероятных трудов и практической работы. И я погрузился очень надолго в сухие цифры и факты нашего хозяйственного фронта. Я видел, что меня перестали слушать, люди переговаривались, рассеянно смотрели по сторонам, покашливали, позевывали, а кое-кто из молодежи даже завыл от зевоты. Будаш вызывающе хлопнул в ладоши.

...Уже на лестнице, когда толпа стекала вниз, кто-то подобострастно жал мне руку и натужно рассыпался в восторгах:

— Великолепно, товарищ Мухин. Очень трезво и крепко.

А некоторые подталкивали в спину и насмешливо мычали:

— Ну-с, товарищ Мухин, берегитесь: придется барахтаться одному, никто не поддержит. Служилая публика. А чего вы, собственно, окрысились? За какое вас место укусили?

В вестибюле подхватил меня под руку... кто бы вы думали? — сам Будаш. Я даже вздрогнул от неожиданности.

Лицо его изменилось неузнаваемо. Он улыбался, и эта улыбка была дружеская, задушевная, почти интимная, даже радостная. Он ласково, по-кошачьи, потерся о мое бедро и фамильярно пошлепал меня по плечу. Но глаза были холодные и лживые.

— Позвольте, товарищ Мухин, сказать вам прямо в лоб несколько хороших слов: вы мне очень понравились своей искренностью. На вашем месте никто бы не решился выступить с таким достоинством и независимостью. С вами и бороться и спорить приятно.

По привычке не доверять ласковым и прилипающим людям я настороженно оглядел его и притворился рубахой-парнем. Дай, думаю, пощупаю его и поглубже загляну в нутро.

— Очень рад слышать, товарищ Будаш. Но я парень скромный и необидчивый.

— Бросьте, бросьте, товарищ Мухин. Люди познаются не столько в делах их, сколько в мечтах и волнениях.

— Пожалуй, вы правы.

— Разумеется, прав. Разве это не так? Надо всегда судить по себе. Я вас знаю давно, и, признаюсь, вы мне не особенно импонировали. Но сейчас я почувствовал вас сразу: вы — один из тех, которые обычно именуются честными и благородными трибунами

— Что же, товарищ Будаш... Это не личная особенность, а революционная обязанность.

Мы вышли на площадь и почему-то направились на бульвар, сквозь людскую толчею, лавируя между ревущими автомобилями и неповоротливыми трамваями.

— Не выношу трамваев, товарищ Будаш. Они безнадежно прикованы к рельсам.

— Это остроумно, товарищ Мухин. Вагоны трамвая похожи на многих наших работников, которые так же безнадежно катятся по рельсам предписаний и предначертаний.

Он льстил мне напористо. Но эта лесть, эта готовность к поддакиванию выходила у него очень ловко. Он был хитер и умел показывать себя с выгодной стороны. Тщательно скрывая свое нутро, он умел быть

откровенным в пустяках, заражать этой откровенностью и других. Действовал он одним приемом — очаровать человека своей уверенностью и одаренностью, дружески расположить к себе и осторожненько выявить его слабые и сильные стороны. Как-никак, ему лестно было опереться на меня, как ответработника, занимающего большой пост. Встретить же во мне противника, врага, который неизбежно поведет против него серьезную борьбу, было не только невыгодно, но и опасно. Удивительно, что мы сразу как-то стали играть в кошку-мышку: он чувствовал, что я зорко насторожен против него; чувствовал и я, что он не верит мне ни на йоту. Может быть, он смутно догадывался, что и я не прочь в свою очередь скрутить его по рукам и ногам.

Мы шли по боковой дорожке бульвара, под водопадной зеленью лип. Деревья были в цвету, и сумеречный воздух пылился теплыми волнами меда. Это был тот северный вечер, когда небо прозрачно от непотухающей зари. Между деревьями мерцали и вспыхивали ресничками электрические лампочки в окнах домов, и мутно туманились стекла от оранжевых и голубых абажуров. На лавочках сидели в любовном самозабвении растушеванные сумерками парочки.

Мы сели на скамью и на мгновение встретились настороженными, щупающими взглядами. Глаза у него были странные: горячие и ледяные.

— А вас, товарищ Будаш, очевидно, любит молодежь. Прямо трогательно, как она сплочена вокруг вас.

— Да, это верно. Молодежь у нас превосходна: она дисциплинированна и много работает над собой.

— Это заметно, товарищ Будаш. Несомненно, вы влияете на нее сильно и авторитетно.

Он опять украдкой, с острой зоркостью уколол мое лицо и как будто растерялся: как ответить мне? нет ли подвоха в моих словах?

— Н-да... пожалуй... Молодежь ведь чутка и не прощает равнодушия.

— Я очень внимательно следил за вашими статьями, товарищ Будаш. Они талантливы и насыщены большим напряжением и остротой.

— Да? Вы это находите? Я очень рад. Все дело — в смелости постановки вопросов.

Клюнуло. Я уже знал его слабое место: он был тщеславен и тренировал себя в высоких прыжках.

— Я только хотел заметить, товарищ Будаш, что в статьях ваших есть, по-моему, один маленький недостаток: они не свободны от демагогии.

Очевидно, это было его больное место. Он сразу вскипел, раздражился и рванулся ко мне, вытянув шею, точно хотел укусить.

— Что вы называете демагогией? А разве вы — против демагогии как боевого оружия в схватках с противниками?

— Вы напрасно волнуетесь, товарищ Будаш. Это только ваше достоинство как журналиста.

Он опять вздрогнул, как от электрического удара, и самодовольно отвалился на спинку скамьи.

— Вы далеко пойдете, товарищ Будаш.

Он улыбался неудержимо и сладострастно. Рука его ласково, почти нежно легла на мое плечо, и я чувствовал, как она дрожала от волнения. Он стал монументальным.

— У меня тысячи нитей, товарищ Мухин, я популярен среди молодежи, но есть люди, которые готовы сожрать меня. Признаюсь, — да вы сами, впрочем, заметили, — ко мне партийная масса... вашего хотя бы учреждения... относится довольно настороженно.

— А скажите по правде, товарищ Будаш, чего вы хотите? Мы здесь одни. Будем откровенны. Вы хотите стать вождем, властителем дум... А для того чтобы стать вождем, нужно немного — уметь создать себя.

Он отшатнулся от меня и очень пристально влип в мое лицо остро-ледяными глазами. Понял ли он, что я хватил через край, что я издеваюсь над ним, что я сделал ему вызов, или хотел издали проверить искренность моих слов? Я твердо, с наивным простодушием, с мечтательным восторгом выдержал его знающий взгляд. Мне стоило больших трудов, чтобы не дрогнуть, чтобы не выдать себя каким-нибудь ничтожным фальшивым движением.

Он весь подобрался и, чувствуя опасность, готов был не только отразить удар, но и решительно перейти к нападению. Без сомнения, он был опытен в сложной и упорной борьбе.

— Имейте в виду, товарищ Мухин: я ничего общего не имею с теми «головоногими», с которыми вы имели дело. Что такое головоногие? Это — жулики, мелкие карманники, шулера. Я — не из того теста.

Он засмеялся жестко, с хрипотцой, и я невольно отодвинулся от него.

— Знаете что? Брезгливость и чистоплюйство — это порок, и я без зазрения совести готов командовать и повелевать лакеями. Подчеркиваю — это армия, причем самая послушная, самая преданная. Кстати, в своем выступлении вы отметили одну разновидность людей в нашей среде и назвали ее, кажется, «вдохновенными гусями». Это — ядовито. Не правда ли, что вы отнесли к этой группе именно меня?

Я смутился в первый раз и не знал, как ему ответить. Если бы я стал отрицать это, он сразу бы понял, что я лгу, и роль свою не выдержал бы: он почел бы меня за труса. Если же сказать ему, что он именно и есть «вдохновенный гусь», он ушел бы от меня непримиримым врагом. Поэтому я простодушно засмеялся и потрепал его по плечу.

— Чудак вы, товарищ Будаш. Я был бы круглый идиот, если бы бухнул с бухты-барахты: Будаш — «вдохновенный гусь»! Ведь я вас еще совсем не знаю...

Он решительно встал со скамьи и гордо вскинул голову.

— Ну, так вот имейте в виду, товарищ Мухин: Будаш — «вдохновенный гусь». А гусь, как вам известно, птица почтенная: она отмечена в мировой истории как спасительница Рима. Кроме того, это птица крупная, храбрая, и голос ее звучит всегда внушительно и энергично. Что вы на это скажете?

— Ровно ничего.

— Ну так вот. Вы не оправились еще от недавней борьбы с пресловутым «головоногим», вы устали. Так вот вам предложение: дружба, взаимность — и все будет прекрасно.

Я был поражен до изнеможения и даже не заметил, как встал. Он смотрел на меня, улыбался, — нагло, с наслаждением, как победитель.

Прошло около двух недель. Наша учрежденческая жизнь совершалась обычным порядком. И моя встреча с Будашом как-то померкла. Я уже считал, что наше столкновение с ним — это незначительный эпизод, который, если еще не забыт, то очень скоро угаснет, как уголек спички, упавшей на пол.

Секретарь моего отдела Несмолкаев, парень с набухшим лицом, с испуганными глазами, однажды зашептал таинственно:

— О вашем дипломатическом столкновении с товарищем Будашом уже всем известно. Обсуждают и гадают: кто кого свалит.. Будаш — редактор газеты, у него народ подобранный, дисциплинированный. Он до вас тут двоих съел. Через газету ловил и тени бросал. Говорят, что добивался сесть на их место, да что-то сорвалось. Пускай многие его ненавидят, но боятся бешено.

— Что за бешеная у вас паника, товарищ Несмолкаев? Не Будаш ли прививает это бешенство?

От Несмолкаева истекала какая-то потная духота. И засмеялся он так, словно задыхался от удушья.

— Вот именно, Григорий Иваныч. Бешеная атмосфера. Вам каждый пустяк в строку поставят, каждое ваше слово и распоряжение готовы истолковать как грубое искривление.

— Да бросьте вы каркать, товарищ Несмолкаев! Пусть что угодно говорят и думают. У нас же коллектив, партия. Успокойтесь и больше со мной об этом не говорите.

Он ушел от меня с сутулостью обремененного канцелярским трудом человека.

Пока он сутулился, шагая к двери, я не сводил с него глаз и думал: можно ему доверять или нельзя? Действительно ли он человек верный и не наушник? Ему не было никакого смысла заискивать перед Будашом: ведь если бы его предательство было обнаружено

(а оно было бы обязательно обнаружено), он первый стал бы жертвой событий. Человек двоедушный так бы никогда не поступил. И я быстро успокоился на его счет.

Зашла как-то ко мне Оврагина. Встречая ее, я почему-то всегда вспоминал зеленые лужайки в полевых цветах и буйную заросль осинок с мотыльковыми листьями. Очень она мне нравилась, и я всегда чувствовал себя с нею приподнято радостным.

Я даже встал из-за стола, как увидел ее, и пошел к ней навстречу. Это ее посещение было первым после партийного собрания.

— Что же вы так давно не заглядывали ко мне, товарищ Оврагина?

Она покраснела и сконфузилась.

— Право, не было особых дел, Григорий Иваныч. А без надобности я ведь не люблю мешать товарищам. К тому же, вы очень загружены работой.

— Ну так что же, товарищ Оврагина. Я всегда рад побеседовать с вами.

Она села около стола, а я прошел на свое место. Собственно, и на этот раз у нее было дело плевое — какая-то чепуховская справка; и я видел, что совсем ей не нужна была эта справка, — она могла получить ее от секретаря или от любого служащего, — а что-то другое беспокоило ее. Не то она была больна, не то переживала какую-то драму. И вдруг я увидел, что она пришла ко мне за помощью, что с ней стряслась какая-то беда.

— Ну, голубчик Оврагина, валяйте прямо, что у вас на сердце. Обо мне вы думаете неплохо — я знаю, а кривить душой мы оба как будто не умеем.

— Нет, Григорий Иваныч, я сейчас думаю о вас плохо. На этот раз вы ошиблись.

— О! Значит, я совершил какой-то проступок против вас? Убейте — не помню.

— Нет, зачем же против меня? Я здесь ни при чем. Да я и не могу быть причиной никаких недоразумений.

— Так в чем же дело? Вы меня тревожите.

— Видите ли, Григорий Иваныч... Вы извините, я скажу прямо: вы показались мне человеком близоруким... Ваше выступление было странным... и опрометчивым... А столкновение на бульваре — это вызов.

— Ну вот тебе — здорово живешь... и близорукий, и опрометчивый... Сколько сильных эпитетов!

— Григорий Иваныч, зачем вы ополчились на Будаша? Что у вас произошло с ним на бульваре? Вы — партиец с огромным опытом и знанием людей, а этого парня не поняли. Это очень сильный и беспощадный человек. Неужели вы не видите, что... Я не могу выразить вам... Но, Григорий Иваныч... зачем вы сделали ему вызов?.. Вы знаете, что он ни перед чем не остановится...

— Успокойтесь, товарищ Оврагина. Говорите прямо, положитесь на меня...

Я видел, что ей что-то мешало говорить. Она оглядывалась и зябко вздрагивала.

— Голубчик Оврагина, вызов сделан не мной, а Будашом.

— Нет, Григорий Иваныч. Вспомните ваше выступление. Вызов сделан вами.

— Я не знаю, товарищ Оврагина, что говорил вам Будаш, как он передал вам наш разговор на бульваре, но то, что там произошло, вас поразило бы не меньше, чем меня.

— Я верю вам всем существом, Григорий Иваныч. Хотя и мало вас знаю, но чувствую... Вы не понимаете, не знаете Будаша...

Она вдруг бессильно склонилась над столом. Мне показалось, что ей дурно.

— Что с вами, товарищ Оврагина? Что случилось? Почему вы не скажете мне?

Она схватилась за голову и панически закрыла глаза.

— Как это все ужасно, Григорий Иваныч!.. Если бы вы знали... Пожалуйста, не говорите, что я у вас была такая... такая жалкая... Я всегда бодра и работоспособна... Не обращайте внимания...

И вдруг быстро вскочила и выбежала из комнаты.

На другой день утром Несмолкаев явился ко мне с пачкой бумаг, газет и журналов. Лицо его, кирпично-красное, разбухло от беспокойства.

— Вот, Григорий Иваныч, — вашему вниманию. Прочтите статейку, называется «Выжигайте мещанское перерождение и комчванство». Очень уж прозрачно. Автор не указан. А в конце — карикатура.

Как я ни старался быть спокойным, все же Несмолкаев встревожил меня. Я уже по опыту знал, что это — предчувствие тяжелой и темной борьбы на долгий ряд дней. И удивительно: в этот же миг я ощутил знакомый толчок, какой я не раз испытывал перед опасностью. Я как-то инстинктивно ободрился и подтянулся.

— Но ведь это призраки, товарищ Несмолкаев. К чему волноваться напрасно?

Но Несмолкаев схватился за свои волосатые уши, потом защемил нос большим и указательным пальцами. Эти жесты у него — признак озабоченности перед неизбежностью осложнений.

— Дело, Григорий Иваныч, именно не в фактах, а как раз в этих призраках. Факты не страшны — страшны именно призраки. Всякая бешеная история всегда творится из призраков: чем больше запутанности, тем больше рождается вопросов, неясностей и всяких неизвестных иксов. Туго вам придется, Григорий Иваныч.

— Ну что вы каркаете?

— Да уж поверьте мне. Я знаю эти дела.

— Ну так что же вы рекомендуете предпринять?

Он дипломатично пожал плечами.

— Глядите сами: вам виднее.

— Однако?

— По-моему... это дело, конечно, ваше... но... по-моему, вам бы тоже надо начинать с этих призраков. С призраками бороться можно только призраками. Он мотает клубок, и вы мотайте... Кто кого перемотает...

— Ну что за ерунда!

— Как знаете, Григорий Иваныч...

И эта нейтральность Несмолкаева еще больше встревожила меня. Не успел он скрыться за дверью,

как ворвался завторготделом Брызгин, кругляш с хохочущим носиком.

— Ну-с, видел, Мухин?

— Нет, ничего не видел.

— Напрасно. Здорово тебя припаяли. Никогда не надо упускать случая взглянуть на себя в кривом зеркале. Поразительно. Остроумно, хотя и недопустимо грубо. Ловко сделано. И похоже.

— То есть что похоже: карикатура на меня или я на карикатуру? Но при чем тут я? Может быть, тебя обыграли?

— Эх ты, детина! Никогда не надо давать повода для карикатур — надо быть осторожным. Я таких поводов не давал, а вот ты с самого начала нарвался. Все прекрасно поняли, в кого стреляет Будаш.

— Подожди, подожди, дружок, ты несешь какую-то чушь. Я ничего не понимаю.

— Да что ты, Мухин, маленький, что ли, или играешь роль оскорбленной невинности? Ну, почванился, закусил удила. Чего ерепенишься? Будешь протестовать и оправдываться — еще больше влипнешь.

— Ты говоришь глупости, Брызгин. Неужели ты не видишь настоящей подоплеки этой мерзости?

— Ну какая там подоплека! Ну, рванулся из упряжи. Сыграл не на том инструменте. Чего там на подоплеки сваливать...

— Ну, ты, Брызгин, циник... Ты говоришь мне прямо поллости.

— Ох, фу-ты, ну-ты — ноги гнуты. Подумаешь, какой недотрога!

Он ушел обиженный и изумленный. По всему было видно, что он считал меня за дурака и уже заранее решил, что я здесь совсем не на месте.

«Ну что ж, — думал я, — раз дело приняло такой оборот, нечего вешать нос: надо драться, надо от обороны перейти к нападению».

Почему-то я впервые заметил, что пресс-папье у меня с кривой ручкой, и в ее отшлифованном шарике увидел себя — очень маленьким, с козявку, без ног и туловища.

В газете я нашел ту статью, о которой говорил Несмолкаев. Аноним явно писал обо мне: слишком уж прозрачно намекалось на мои недоразумения с парторганизацией и профорганизацией в прошлом, когда я был директором текстиля в период «головоногого». Мещанская психика склонна к рецидивизму под влиянием и напором мелкобуржуазных элементов. Рвачи, которые распоясываются на местах, попирая и партию и класс, воплощают в себе все атрибуты прежних хозяйчиков. При переходе на другие административные должности они несут в себе все эти махровые доблести. Эти люди гнусно попирают и партэтику и директивы партии. Пережитки капитализма проявляются в них особенно наглядно: они не прочь и рукоприкладствовать, гнусно издеваться над подчиненными им девушками и вообще склонны к самовластию и самоуправству. Ну и так далее в этом роде. Фамилия моя не была названа, но «призраки» имели вполне отчетливый контур, а это как раз и било сильнее всего в намеченную мишень. Надо было дискредитировать меня — в этом всё. Поднять кампанию, убить авторитет. Протестовать было нелепо: тут я проиграл бы сразу и наверняка. Мудрость Несмолкаева в данном случае приобретала неотразимый смысл.

Вошел Дубков — секретарь нашей парторганизации, седенький, но румяный, всегда уверенно-спокойный и жизнерадостный. С первого же взгляда он располагал к себе и бесхитростной улыбкой и молодыми глазами. Вместе с ним пришел Вася Трягин, секретарь комсомола, смуглый парень с горячими глазами. Казалось, что внутри у него кипели какие-то порывы, а он старался подавлять их.

Дубков с обычной добродушной улыбкой подмигнул мне.

— Ну, как подействовала на тебя сегодняшняя статья, товарищ Мухин. С большим пылом и жаром написано сочинение. А мишень-то — вот она! Это только Будаш может так художественно из мнимости сделать видимость.

— Да, провокатор с большим опытом, — беззаботно похвалил я автора. — Как будто ничего конкретного

и как будто к бдительности призывает, а чувствуешь — будоражит, науськивает... Удивляюсь, почему не сняли его после того, как он затравил двух ваших работников.

— Да, сошло... — смущенно усмехнулся Дубков. — Не разобрались. А Вася вот даже бурно защищал его: благородный трибун! борец против оппортунистов и перерожденцев!..

Вася вскочил, словно Дубков больно ударил его своей ехидной шуткой.

— Дурак был — поддался демагогии авантюриста!

Он даже побледнел от возмущения. С крепко сжатыми кулаками он пронесся вперед и назад по комнате.

— Спасал на свою голову!.. А он дезорганизует нашу молодежь.

Дубков засмеялся, кивая на него седой головой.

— Видишь, как он переживает? Посадил Будаша себе на шею, а тот и ногами заболтал.

— Нет, это ты переживаешь, дедушка, — разъярился Вася. — Он насолил сейчас тебе больше, чем товарищу Мухину.

Посмеялись.

— А все-таки куда он стреляет, товарищ Дубков?

Дубков с недоумением посмотрел на меня и с упреком покачал седой головой.

— Не умеешь притворяться младенцем, Мухин. Для того чтобы легче было избивать старые кадры, он стреляет в тебя. Хоть ты и чист, а следы от грязных лап на тебе остались. Удобная мишень. Имя не названо, но смута посеяна. Люди в панике сами будут бросать грязью друг в друга. Паника рождает предателей и клеветников. Те двое товарищей пострадали больше от наговоров обывателей, чем от газетной статьи.

Не скрою, я был встревожен и чувствовал, что опять вступаю в унизительную борьбу с очередным проходимцем.

— Да, опытный игрок. Новоявленный Макиавелли.

Дубков заворошил свои седые волосы.

— Макиавелли... Мели, Емеля, — твоя неделя! Этот Емеля тревогу, разложение сеет в учреждении... и не только у нас... Знакомый троцкистский прием. Хлопот будет много с этим «вдохновенным гусем»... Хочет взлететь высоко — как же, государственный ум! — да только где упадет... Не только нашу служилую публику, но и комсомольскую молодежь залихорадило. Хотел я поднять это дело со статьей, да мне указали, что пока не следует устраивать шумихи.

В этот раз мы решили, что Дубков и Вася Трягин соберут надежных товарищей и внушат им решительно пресекать всякие слухи и пересуды.

Прошло еще около месяца. С Дубковым мы виделись несколько раз: заходил я к нему, заходил и он. Как я и ожидал, на партбюро Будаш заявил, что статья его напоминала о бдительности, что она носила принципиальный характер и он, Будаш, не имел в виду никаких определенных личностей. Ведь такие статьи не раз печатались и в других газетах.

Но вокруг меня образовалась пустота. Раньше ко мне часто заходили поговорить, посоветоваться, подискутировать товарищи, теперь же они были холодно-учтивы: встречались, здоровались, притворно улыбались и на заседаниях были деловито-замкнуты и немногословны. Но я видел, что не только ко мне была настороженность: люди чуждались друг друга и вели себя как-то боязливо, с оглядкой.

Раза два мы встречались в коридорах с Будашом. Он раскланивался со мной приветливо, но с обычной независимостью и небрежностью.

— Товарищ Мухин, жду от вас статью. Непременно напишите. В выборе темы вы свободны. Очень нужна ваша статья.

На каждом собрании он выступал обязательно и, как всегда, говорил с подъемом, уверенно, с неотразимой внушительностью, удивительно велеречиво.

В обкоме работал мой товарищ по фронту. Когда-то мы с ним были закадычные друзья и почти не расставались во все дни гражданской войны. Простяга, с грубоватой прямотой характера, парень нес в себе подпольное воспитание и высокую культуру. А был он

когда-то только рабочим вагонных мастерских. Мы и теперь жили в трогательной дружбе и всегда при встречах говорили взасос.

— Скажи, — говорю, — Макар, прямо, как ты смотришь на этого пресловутого Будаша?

Он пытливо посмотрел на меня и усмехнулся.

— Что же в нем тебе не нравится? Горячий журналист. Правда, был в оппозиции, но сейчас как будто старается искупить прошлое.

— Но ведь он, дорогой Макар, при другом ветре может повернуть в иную сторону и сделать это без зазрения совести. Ведь он же беспринципен. Он потому и жонглирует идеологией, что ему наплевать на идеологию. Ведь по существу за этой его развязностью и ультрареволюционной бравадой нет ни капли партийного духа. Это только ловкость игрока. Это же — «вдохновенный гусь».

Он спрятал усмешку в глазах. В этих глазах я никогда не видел лжи. Это были честнейшие глаза в мире.

— Ну, это ты уж слишком зло, Григорий. Он делает свое дело, и делает неплохо. Ты сам понимаешь, что в деле нельзя считаться с личными симпатиями и антипатиями. Какие же у тебя против него факты?

Он с насмешливой строгостью посмотрел пристально на меня, и в глазах его я увидел лукавые огоньки.

— Ты лучше скажи, Макар, что у него за биография?

Он взял меня под руку, и мы вышли в коридор.

— Вот что, Григорий. Я его здорово взгрел за его последнюю статью.

— То-то он стал этакий предупредительный и ласковый.

— Ну, ты не обольщайся: этот человек не привык спотыкаться на полпути. На днях он тебя так расписал, что не осталось живого места.

— Как, он еще шельмует меня?

— Не только тебя, — не беспокойся. Он живет в постоянном творчестве — вдохновенно, это ты прав. В мире насекомых есть так называемые «изготовители бульонов». Так вот этот самый Будаш — такой же «из-

готовитель бульонов». Он может жить только на трупе врага. Как видишь, мы хорошо его знаем. До тебя он тоже пошельмовал товарищей пониже тебя. Придрался к некоторым их бытовым слабостям и заклеймил их перерожденцами. Сначала не разобрались, дело раздули, и они были сняты со строгими выговорами. Но их скоро реабилитировали. Ежели что будет нужно, приходи или звони.

...Ну-с, так вот дальнейшие события.

Как-то днем, когда я работал один в кабинете, неожиданно входит ко мне Будаш.

Еще издали он уверенно, без всякого смущения нацелился в меня холодной живостью глаз. Шел он стремительно, отбрасывая назад шевелюру, точно знал, что я очень рад ему, что своим визитом он делает мне честь.

Я не успел дать ему руки; он схватил ее сам и пожал небрежно, но горячо. И удивительно — в этом непринужденном жесте, в этой интимной простоте я не почувствовал ни игры, ни притворства, ни «даров данайцев». Но я сразу же отгородился от него холодной учтивостью.

— Я не мог пройти мимо, товарищ Мухин, чтобы не увидеть вас. Вы извините, если я помешал вам.

— Нисколько, товарищ Будаш. Чем обязан вашему посещению?

Он со всего размаху пал в кресло и сразу же уютно утонул в нем, как у себя дома.

— Я убежден, товарищ Мухин, что вы в полной мере можете забыть все те глупые недоразумения, которые между нами были. Тут — больше сплетен, слухов, заблуждений, чем подлинного понимания вещей.

У него даже голос вздрагивал от избытка чувств.

Как-то незаметно мы перешли на темы хозяйственной политики. Он умело и тонко заговорил о текстиле, о проблеме хлопка и отмечал, что мы пока слабо организуем на наших южных окраинах хлопковое хозяйство, что наш баланс в этой области пока еще пассивный. Терпеть это больше нельзя: надо немедленно заняться коренной реорганизацией хлопководства. Он знает, что я занят разработкой этой новой системы

хозяйства, и хотел бы, чтобы я поделился с читателями своими соображениями в этой области.

Проблема хлопка меня очень интересовала: я много думал над этим вопросом и готовил доклад в наркомат. Я охотно развил ему свою точку зрения насчет хлопковой промышленности. Надо прежде всего госплану заняться созданием системы совхозов и крупных колхозов в Средней Азии и Закавказье. Надо немедленно разработать план водоснабжения и начать рыть каналы. Пока мы будем раскачиваться да составлять какие-то случайные проекты и изо всех сил поддерживать первобытный способ мелкого хозяйства, нас будет мучить тяжелый голод в сырье. Эти громадные хозяйства в южных нацреспубликах должны быть оборудованы по последнему слову техники.

Он слушал с напряженным вниманием и быстро, почти стенографически, записывал мои слова в блокнот. Потом встал и пылко проговорил:

— Это очень интересно. Я напечатаю как интервью. Вы должны об этом написать книгу. У меня чешутся руки на хорошую статью. Я здесь записал почти дословно все то, что вы говорили. Вы ничего не имеете против опубликования?

— Пожалуйста. Только, может быть, вы пришлете мне корректуру?

— Ну разумеется, товарищ Мухин. Впрочем, не лучше ли я прочитаю вам, что у меня записано? Имейте в виду, что я считаю обязанностью точно фиксировать интервью. К вам я не послал бы никого: это дело ответственное и доверять сотруднику рискованно. Ну-с, так я читаю.

— Нет, пожалуйста, не надо, товарищ Будаш. Лучше пришлите гранки.

Я хитрил: мне хотелось проверить, что выйдет из этого интервью. В моих словах не было ничего такого, что можно было бы извратить и к чему-то придраться. Его же готовность проверить текст записи сейчас же, по горячим следам, совсем обезоружила меня. Впрочем, я все-таки не верил ему и приготовился к возможной провокаторской стряпне. Уже от двери он на

минуту опять с великолепной откровенностью рванулся ко мне.

— Я непростительно поступил по отношению к вам в обкоме: пристрастно и опрометчиво высказал о вас несколько резких замечаний. Я это исправил, товарищ Мухин. Прошу извинить меня. Это ошибка, которая не повторится. Кстати, когда вы бываете дома? И еще: не сварганить ли нам товарищеский вечерок? Вы не заняты сегодня?

Нет, я не был занят и дал ему согласие. Я даже обрадовался: дай, думаю, погляжу, каков этот гусь дома, как он распоясывается в своей компании...

Не успел он выйти за дверь, как около меня вырос Несмолкаев. Я даже вздрогнул от неожиданности.

— Когда же вы вошли, товарищ Несмолкаев? Вы просто чудодей какой-то...

— А я, Григорий Иваныч, дельце одно тут за шкафом искал...

— Как — за шкафом? Какие у вас странные дела!

— А видите ли, Григорий Иваныч... шкаф здесь у нас действительно странный. Октябрьский переворот на нем сильно отразился, и доски в неустойчивом состоянии. Приходится иной раз бешено наваливать бумаги и папки, и по этой причине некие документы и дела заваливаются в ненадлежащее место. Спинка там дырявая.

И я только сейчас заметил, что шкаф отодвинут от стены, но стоит прилично и почтенно. Я засмеялся.

— Ну, товарищ Несмолкаев, вы уж почините его, а то, чего доброго, заведутся в нем крысы или прилетит какой-нибудь зловредный призрак...

— Да вот, Григорий Иваныч, я и слежу за этими призраками.

— Хитрый вы человек, товарищ Несмолкаев. Значит, крутите? Кто кого перекрутит?

— Ну, мое дело маленькое, Григорий Иваныч. Я ничего не слышу и ничего не вижу.

— А Будаша-то все-таки подслушали? Ну, каков он, по-вашему?

Он с достоинством выпрямился, и голова его туго ушла в плечи.

— Я, Григорий Иваныч, имею свои обязанности. Товарища Будаша я уважаю, но в частные дела не привык вмешиваться. Если нет во мне нужды — я глух и нем. Я имею дело с бумагой, а не с душевными словопрениями.

— Но интервью-то мое все-таки слышали?

— Я, Григорий Иваныч, тезисы ваши со стола убрал в этот шкаф. Вы однажды оставили их на этом месте. Бумаги не терпят беспризорности.

...Жил Будаш в Доме Советов, на третьем этаже, занимал две комнаты, очень светлые, очень опрятные, обставленные с большим вкусом: видно было, что обстановка для него значит много. Я бы сказал, что украшение квартиры — мебель, картины (правда, все это — недорого, но умело подобрано), зелень и прочее — комбинация из всех этих вещей была плодом его постоянной заботливости и художественного изобретательства. Было уютно, свежо, жизнерадостно, но как-то беспокойно, неустойчиво, хитренько: так и казалось, что сядешь на стул или в кресло — непременно случится какая-нибудь внезапность.

Был прозрачный, голубой вечер, этакий хрустальный вечер июня, когда небо опускается до самых крыш, а перспективы улиц четки, безвоздушны.

В комнате крикливо переплетались голоса и хохот, звенели струны гитары. Но как только я вошел, сразу ощутил кусочек льда в сердце: с какой стати я пришел? какого черта мне нужно здесь?

Будаш гостеприимно забеспокоился, старался поухаживать за мной: отобрал у меня кепку и вскинул на палочку вешалки, разгладил рубашку на плече, поправил мой пояс и, интимно пожимая пальцы, повел меня в комнату.

Он победоносно поднял длинную руку и засмеялся.

— Вот он, ребята! Вот он, наш Мухин!.. Подходи, Валентина, знакомься!

Ко мне легкокрыло подпорхнула маленькая женщина в очень коротенькой юбочке с очень красными губами и зелеными глазками. Стрижка прилипла ко лбу почти до самых бровей. Впрочем, собственные брови у нее были выстрижены, а новые высокими дугами

старательно нарисованы над ними. Она вся извивалась и тянула руку к моему лицу. Я догадался, что она требовала поцелуйного обряда. Томно, почему-то в нос, капризно простонала:

— Очень рада... я слышала о вас... Я очень желала с вами познакомиться...

Ручку ее я не поцеловал, а дотронулся до нее, как до мыльного пузыря. Она фыркнула и, изгибаясь, затанцевала среди гостей. Кто она здесь — жена? сестра? иждивенка?

Гостей было немного: наиболее преданные ему сотрудники газеты. Была тут и Оврагина — сидела немая, подавленная, чужая, застенчивая. Сидели еще две девчухи: одна нелюдимо дулась, а другая, с золотыми волосами, с задорным личиком, все пробовала петь, но у нее ничего не выходило, и она звонко хохотала. Двое парней одеты были немного неряшливо, один был похож на цыгана, другой — рыжий, забрызганный веснушками. Рыжий играл на гитаре и мечтательно смотрел в потолок. Два щеголя, чисто выбритые, пахучие, приглаженные, болтали с кокетливыми дамочками и Валентиной.

Встретили меня очень почтительно, подтянуто, и как будто было похоже на то, что им лестно общение со мною. Неожиданно я увидел в уголке за цветами Васю Трягина. Он сидел на низенькой маленькой скамеечке, опираясь спиною о стену, и перелистывал какую-то толстую книгу с картинками, но ею, очевидно, не интересовался. Валентина несколько раз пыталась подойти к нему, но не решалась и гримасничала в переглядке с молодежью. Будаш перехватил эту гримаску и ответные улыбки гостей и крикнул:

— Васюк очень изнурен. Пусть отдохнет. Не беспокойтесь: он всколыхнется и воскреснет. Я знаю его: он парень с изюминкой.

Вася кивнул мне, как чужой, и сделал вид, что не слышал слов Будаша. Но я чувствовал, что эта его застенчивая нейтральность была очень подозрительна: она отличилась, я бы сказал, гигроскопическими свойствами, — он молчал и незаметно впитывал в себя все до мелочи и перерабатывал внутри старательно и

замкнуто. Он не стеснял никого — был неощутим, легок и кроток, как пушинка. О нем даже к концу совсем забыли.

На мгновение я встретился глазами с Оврагиной. Жалкая, растерянная, неуместная здесь, она боязливо оглядывалась и будто кричала, что ее обманули, что она попала в западню. Она жадно ловила взгляды Будаша и мои, и где-то близко в ее зрачках трепетала надежда. Но Будаш не обращал на нее внимания — как будто намеренно не замечал ее, — и когда нечаянно встречался с ней глазами, смотрел как-то сквозь нее.

— Кстати, Григорий Иваныч, ваш взгляд на решение нашей хлопковой проблемы удивительно прост, как проста всякая замечательная мысль. Никто еще так четко и кратко не формулировал этого важнейшего вопроса в нашем хозяйстве. Я хочу дать большую статью, в основу которой положу ваше интервью. Замолкни, земляк, со своей гитарой! — осадил он конопатого парня. — И вот что, друг, спустись-ка вниз и купи бутылку коньяку.

Парень молча положил гитару и послушно встал. Будаш небрежно поелозил пальцами в кошельке и сунул ему бумажку.

Валентина извивалась, сучила серебристыми ножками перед щеголями и ныла наигранным детским голоском:

— Гельцер же сейчас невозможна... Мне было обидно смотреть на нее, когда я была в Москве. Она, бедняжка, изнемогает от непосильной тяжести нового мастерства... у ней же не ноги, а сэсиськи... — Она так и пропела: «сэсиськи».

— Вы злословите, Валентина Николаевна... — ворковал щеголь с глянцево-приглаженными волосами. У него был огромный нос и маленький женский рот. Остренькие глазки влажно щекотали ее. — Вы злословите и завидуете ей. Она все-таки танцует замечательно, восхитительно...

— Ну, а я?

— Плохо.

— Ах, так? Вы противный, и я с вами не разговариваю... я ненавижу вас...

— Да, плохо... потому что вы отвергаете поклонников вашего таланта: вы ни разу не пригласили нас на ваши выступления, хотя бы на первые места партера...

Валентина капризно хохотала.

Парень, похожий на цыгана, оскалил зубы и пробасил:

— Балет — танец не пролетарский.

Будаш назидательно вытянул к нему шею, и мне назойливо померещилось, что она у него длинная и по-змеиному гибкая.

— Осел — элемент не пролетарский, а это вовсе не значит, что пролетарий вроде тебя не может быть ослом.

— Ах, я очень хотела бы поступить в балет!.. — крикнула задорно одна из дамочек. — Научи меня, Валентина. Слышишь, Будаш, устрой так, чтобы передо мной открылись двери этого рая.

— Устрою, отвяжись. И вообще не треплись под ногами и не ори, как кошка, которой наступили на хвост.

Цыган раззадорился и стал вызывающе покрикивать.

— Пускай мне лучше скажет Мухин, почему он не с молодежью, а против молодежи...

— Ну, вы, кажется, не в шутку хотите меня бодать...

— Нет, почему такое чванство? На каком основании ты решил травить Будаша? Кто против Будаша, тот против нас. Руки обломаем.

Конопатый парень опять бренчал на гитаре и подвывал:

Бюрократы, краты, краты
Туповаты, ваты, ваты...

Без сомнения, они хулиганили во имя какой-то высокой цели. Я не мог удержаться от смеха.

Щеголи держались особнячком, остроумничали и самодовольно жонглировали разными «измами». Валентина щебетала и показывала какие-то па. Одна из девиц с комсомольским значком, которая сидела за

фикусом нелюдимо и сердито, встала и низким голосом крикнула:

— Ну вас к черту. Что я здесь буду дурака валять! Зазвал Будаш, а я здесь глазами хлопай, как идиотка какая.

Цыган подхватил ее под мышки и усадил на место. Она дернула плечами, озлилась, но с дивана не встала.

Этот вечер был для меня очень поучителен. Я издевался над собою, считал себя дураком за свое благородное негодование, с которым я когда-то попробовал вступить в драку с Будашом. Тут нужна была тонкая дипломатия и уменье владеть собой, как в шахматной игре. Гусь — птица крупная, властная и чуткая. У нее гордый и самоуверенный голос, — голос трубный и всегда по-гусиному идеологически выдержанный до оглушительного великолепия. Он держался со мной, как задушевный друг, и даже заискивал, сохраняя гордую осанку. Цель его для меня была ясна: нужно было во что бы то ни стало или окрутить меня, приручить, выдрессировать лестью, рекламой в печати или нейтрализовать. Как? Это пока для меня была тайна.

Все изрядно выпили. Пели песни. Цыган лез ко мне целоваться и слюнявил мне губы и щеки.

— Мухин! Чертова ты перечница! Дурило! Где у тебя мозги-то? А еще умный человек называется! Иди в одну ногу с молодежью — горы своротим и самого черта поставим на рога. А ежели противником будешь, сытый идол, — разобьем, раздавим... всеми подлостями начиним... в грязи утопим...

А Будаш, уже охмелевший, властно, с энтузиазмом, провозглашал:

— Мы в области искусства проводим свое влияние и в театре. В наших руках будет и эта командная высота.

«Да, — думал я, — эта шелконогая уж подлинно надежный проводник идеологического влияния в искусстве».

Потом Валентина затосковала и потребовала настоящего искусства: она заставила конопатого парня

аккомпанировать на гитаре и неожиданным контральто стала томно петь цыганские романсы. Это сразу увлекло публику, и все быстро забыли обо мне. Вася Трягин молчал и застенчиво улыбался. Он сидел в конце стола, и грудь его упиралась в угол. Потом он опять незаметно ускользнул на свое старое место — за цветами.

Один из щеголей схватил подвернувшуюся дамочку и закружил ее по комнате. Она хохотала и обнималась с ним. Надутая девчонка размахнулась и ударила в лоб цыгана.

— Дурак, хулиган, пошел от меня к черту!

Она вдруг ошалела, опрокинула стул и, оскорбленная, бледная, дрожала от гнева.

— Я не позволю себя тревожить... Я не хочу этого безобразия... Болван!

Девица она была мускулистая, по выправке — физкультурница, и я не сомневался, что цыган получил бы от нее увесистую затрещину.

— Ну-ну, не кирпичись, пожалуйста! Ишь недотрога какая!.. кислое молоко!..

Парень смущенно улыбался.

— Не хочу я этого — и баста. И не лезь ко мне!.. Не желаю я здесь оставаться... Товарищи называются, а лапаются с пьяных глаз...

И она тяжелыми шагами вышла в прихожую.

Тут-то совсем незаметно подошла ко мне Оврагина. Она вся как-то ссохлась и нервно дергала до треска свои пальцы.

— Григорий Иваныч... Я не знаю... У меня все мутится... Зачем вы здесь?.. Зачем я, и зачем вы?..

— Что с вами, голубчик? Вы нездоровы?

— Да, я... больна... Если можно, пойдемте... Проводите меня. Я вас очень прошу... Не откажите мне в этом... пожалуйста! Иначе я... кажется, умру...

— Вы выйдите, голубчик, незаметно, а я сейчас же за вами.

Но в эту секунду подошел к ней Будаш и уткнул в нее холодные глаза. Он поиграл пальцами перед ее лицом и с ласковой издевкой потянул ее за ухо к столу.

— Ну иди, иди, девочка!.. Выпьем коньячку за здоровье твоего рыцаря.

Она вскрикнула и зарыдала. Вася грубо оттолкнул от нее Будаша и осадил его:

— Убери руки, Будаш! Так ведут себя только прохвосты.

В первое мгновение я был ошарашен. Инстинктивно я встал со стула и хотел оттолкнуть Будаша и едва сдержался, чтобы не ударить его. Но в то же мгновение догадался, что Оврагина близка ему, что так может поступить с ней только развратник. Но ее шепот — паническая мольба... Я не знал, как вести себя: устроить скандал или сидеть и ждать, что будет дальше?

Мне стало мучительно больно, обидно, будто меня смертельно оскорбили и опозорили. «Свинья, — ругал я себя, — тебе делают вызов, провоцируют... Немедленно уходи». Я был захвачен врасплох и парализован. Будаш хлопнул меня по плечу и прямо ко рту поднес мне рюмку.

— Мухин! Вот тебе рюмка коньяку. Дерябнем, друг, ради единения и дружбы. Тут — любовь и высшая политика. Твой роман от этого не изменит ни своего сюжета, ни напряжения.

И, как бы ожидая, что я могу ударить его, он отскочил к письменному столу, схватил трубку телефона и назвал номер очень авторитетного партийного работника.

В прихожей Оврагина судорожно вцепилась в мое плечо и крикнула надрывно, захлебываясь от рыданий:

— Я не могу... Я не хочу... Григорий Иваныч!.. Пожалуйста, уведите меня! Сейчас же!

Вася стоял в дверях комнаты, опираясь руками в косяки, словно закрывал нас от вторжения Будаша и его опричников.

Под руку с Оврагиной я быстро вышел в коридор. Признаюсь, я тащил ее чуть ли не на руках — так она ослабела от потрясения. Дрожащими пальцами я нажал кнопку звонка, вызвал лифт. И только когда

втолкнул ее в кабину, вдруг увидел, что у нее на груди надорвана блузка.

Оврагина молчала, точно была в столбняке или обмороке. Она сидела тихая, как будто спокойная, апатичная, с тяжелыми веками. Невидящими глазами поглядывала то на меня, то в стекла кабинки.

Вдруг она в ужасе сжала мне руку.

— Посмотрите... лампочка гаснет...

Но лампочка не гасла: она горела во весь накал.

Я взял такси и, вместо того чтобы спросить, где она живет, привез ее к себе на квартиру.

Провозился я с нею долго, пока она не забылась нервным сном. Утром я ушел в учреждение, а она осталась в моей комнате.

После этого я не видел ее дня три. Я забеспокоился, едва добился в личном столе ее адреса и поехал к ней. Ее не оказалось дома, дверь была заперта. Только вечером она пришла ко мне сама и, боязливо оглядываясь, села, разбитая, обреченная.

— Вы, Григорий Иваныч, не придавайте значения... Ежели что случится, пожалуйста, не тревожьтесь.

— Что же может случиться, Оврагина! Почему вы мне не скажете, что с вами происходит? Вы совсем не та, что были раньше. На вас жалко смотреть. Голубчик, я знаю, что вы переживаете какую-то драму. Скажите мне.

Она совсем растерялась.

— Нет, нет, Григорий Иваныч... право же, ничего... Только зачем так?.. Зачем так обесценивают человека?.. Зачем над ним издеваются... и не уважают?.. Мне только кажется, что я уже не живу... нет меня... я умерла и больше не воскресну...

Она заплакала, и я долго не мог ее успокоить.

— Милая девушка, если вы меня хоть немного цените и знаете, прошу вас — доверьтесь мне. Ведь вы только начинаете жить, и для вас очень много чудесных возможностей.

Она встала и совсем спокойно и рассудительно сказала:

— Нет, Григорий Иваныч... Вы — живой человек,

и я вам очень верю и очень люблю. Простите меня. Я виновата перед вами. Но... теперь уж все равно...

— Но скажите же, в чем дело? Если я догадываюсь, то ведь все это — только мутная волна. Волна схлынула — и все опять по-прежнему...

— Нет... волна не схлынула... Пусть схлынула, но она проглотила меня и унесла с собой. Не надо больше об этом. Одно скажу, Григорий Иваныч. Если у вас есть возможность борьбы — не пожалейте себя, боритесь. Я очень ошиблась, и вот... Я расскажу вам когда-нибудь потом...

Потрясенный, я взял ее голову в руки и нежно прижал к груди. Она отпрянула от меня и побежала к двери.

Девушка была больна — это ясно, но помочь ей я не мог: не знал, как подступиться, как подойти к ней. Я решил все-таки внимательно следить за ней и, если нужно, отправить куда-нибудь в санаторий, что ли. К стыду моему, я даже не знал до сих пор ее имени, и мне было как-то неловко называть ее по фамилии. Звали ее, оказывается, Милицей, и это имя показалось мне приятным и желанным.

Несмолкаев, как обычно, вошел с бумагами и газетами в руках, но необычно щерил рыжие зубы.

— Вы вот, Григорий Иваныч, говорили насчет призраков. Все-таки вы отступили от своей основной линии. Теперь глядите: бешено мотается... Ежели будете продолжать в таком плане, то перемотаете, как пить дать!

— Вы бешено заблуждаетесь, товарищ Несмолкаев, — пошутил я, — никаких призраков я не вызываю, в оккультизм не верю. А от «мотать» рождаются скверные слова — «мот» и «мотовство»... Имейте в виду: я имею дело с фактами — и только с фактами.

— Ну вот это самое, Григорий Иваныч... Газетки-то у вас на столе. Обратите внимание на статью в сегодняшнем номере... очень эффектно.

Действительно, статья была восторженная. Ясно было, что организована кампания, и ясно: эта кампания рассчитана на то, чтобы совсем обезоружить меня и лишить языка.

— Вы правы, товарищ Несмолкаев: клубки мотаются. Но, право же, мой клубок они сами помогают наматывать.

— Ну, Григорий Иваныч, это не важно, — важно, что вас вынуждают мотать. Бешено движется...

И он ушел от меня с обычной деловой сутулостью, но довольный и бодрый, точно вышел на свет из потемок.

Весь этот учрежденческий день был для меня триумфом. Брызгин с разбегу жал мне руку и восхищался:

— Я же давно всех зудил: вы с Мухиным, товарищи, не шутите. Это один из тех людей старой гвардии, у которых простота и товарищеская скромность соединены с административным гением.

Это уж было слишком. Брызгин целомудренно забыл о своем памятном разговоре со мной и о тех мерзостях, которые он когда-то выплевывал мне в лицо.

— Ты очень переменчив, мой друг Брызгин... — съехидничал я. — Несомненно, это от живости характера.

— Мухин, милый человек, не притворяйся: ты отлично знаешь, что мое постоянство и твердая последовательность вошли в поговорку у товарищей.

Пришли Дубков и Вася Трягин. Вася молча пожал мне руку с особой теплотой и затаенной улыбкой.

Дубков был настроен юмористически.

— Мы тебя поздравить пришли, товарищ Мухин. Видишь, как легко заслужить популярность.

— Именно, товарищ Дубков. А знаешь, как мы пировали у Будаша? Вася, должно быть, уж расписал тебе, какая была идеологически выдержанная вечеринка у этого льва. Поучительно. А положение Оврагиной вам обоим хорошо знакомо? Полный надрыв. Мы еще не знаем, что собой представляет Будаш в своем редакторском кабинете, как он обрабатывает молодежь. Любопытно изучить и эту важную сторону его деятельности.

Вася спокойно, умненько заметил кстати:

— Это ты напрасно, товарищ Мухин. Там есть и

принципиальные ребята. Я немножко слежу за их работой. Будаш держит их в ежовых рукавицах.

— Не сомневаюсь. Думаю, что похлеще: инакомыслящих, протестантов он глушит дубиной.

Дубков весело и бодро посматривал на меня из-под взлетающих бровей хитренькими искорками зрачков.

— Ну, так как же, Мухин?

— Что — как же? Буду бить открыто и наверняка.

И мы втроем начали обсуждать дальнейшие шаги в борьбе за укрепление коллектива.

С Будашом мы встречались, как приятели: пожимали друг другу руки, шутили, говорили о событиях дня. Как всегда, он был необычайно пылок, самоуверен, настроен на самый высокий тон, крикливо сыпал четкими, безапелляционными фразами. Что бы я ни сказал, я находил в нем горячего единомышленника. Глаза его, очень холодные, лицемерные, в сущности всегда откровенно лгали. Как-то разговор зашел о правом оппортунизме. Сначала шло как по маслу: мы оба почти одними словами клеймили кулацкие уклоны правой оппозиции. Я уже хорошо его знал: он силен и непогрешим готовыми формулами, а мне хотелось заставить его заговорить своим языком. Он был беспринципен, и его огонь по существу был чужим факелом, которым он махал изо всех сил. Если так можно выразиться, он был самый отъявленный плагиатор — и в мыслях, и в чувствах, и в поступках. Не хвостист — о нет! У него был один особенно уязвимый недостаток: он был очень склонен к левой фразе. Впрочем, вы сами это увидели из описанных событий. Вот тут-то я и хотел еще раз накрыть его.

— Оппортунизм — это симптом, товарищ Будаш. Оппортунизм — это не случайность. Это — попятное движение, реакция. Это — тоска по утраченному болоту. Вражеское окружение, кулацкая и торгашеская, то есть мещанская, зараза со всеми низменными пережитками дают себя знать и в наших рядах. Отсюда — подпольная подрывная работа, маскировка, лицемерие, обман, игра хлесткой левой фразой и демагогия.

Будаш сверкнул глазами, вытянул шею, как будто

хотел клюнуть меня, и авторитетно, в тон мне, закончил обычной своей скороговоркой:

— В особенности это относится к перерожденцам, засидевшимся в мягких креслах и ожиревшим на руководящих постах... на готовых хлебах. Вот почему проблема кадров сейчас выдвигается как одна из основных проблем. Только молодежь по своей чуткости и непосредственности может стать идейным проводником генеральной линии партии.

— Кем выдвигается? — перебил я его.

— Конечно, политической необходимостью.

— Это пахнет троцкизмом, товарищ Будаш.

— Нет-с, это вопрос о смене и оздоровлении кадров.

— Это — загиб, товарищ Будаш. Ценят работников не по возрасту, а по опыту и политической мудрости.

— А почему именно перезревшие и отяжелевшие сановники присвоили себе это преимущество? Чувство нового и революционное беспокойство у молодежи острее и глубже. В портфеле редакции есть статья на эту тему.

— Монолита, конечно?

— В редакцию поступают статьи на этот счет не только от Монолита.

— А вдруг выступлю я, товарищ Будаш, против Монолита?

— Что же, чудесно. Вашу статью я напечатаю, но — берегитесь: разнесем вдрызг.

— Не хвалитесь на рать идучи, товарищ Будаш. На вызов я привык отвечать нападением. Вы рискуете головой.

— Не беспокойтесь, товарищ Мухин. Я знаю цену своей голове. А вот и от вас все-таки сильно попахивает этаким застаревшим жирком. От этого вам — увы! — уже пришлось немножко пострадать.

— Пострадал я не от жирка, которого нет у старых бойцов, а от авантюристов, которых не раздавил своевременно. А так как вы не прочь обыгрывать сплетни и извращать факты, чтобы дискредитировать опасных противников, вы тоже будете раздавлены.

— Как авантюрист? — засмеялся он.

— Да, как авантюрист.

Он с ненавистью вонзил в меня прищуренные глаза, порывисто отвернулся и пошагал по коридору. И я впервые увидел удивительное свойство его походки: он уверенно и твердо ступал на пятки, влюбленный в себя, и шевелюра его встряхивалась при каждом его шаге.

Я прошел к Васе Трягину. В дверях столкнулся с Оврагиной. Она с ужасом в глазах отпрянула от меня, а потом ринулась мимо — в коридор. Я даже не успел перехватить ее.

— Я догадываюсь, Вася, что Оврагина — жертва Будаша. Она все рассказала тебе?

— Да, тут у нее действительно... Запуталась девчонка.

— Не запуталась, Вася, — будь справедлив, — а подлым образом этот трибун использовал ее доверчивость. Ты сам видел это на его вечеринке.

— Да, зловещая работа. Надо поскорее раздавить эту шайку.

— Правильно. Но не торопись. Он готовит к печати скандальную статью. На летучке он после разговора со мной распояшется вовсю. Поэтому пойдем-ка к нему с тобой в гости.

— Куда в гости? — всполошился Вася. — Спасибо, я уже был у него в гостях.

— В редакцию к нему пойдем, чудак. Надо. Ты же обязан знать, что делает молодежь на этом участке.

В комнате Будаша было несколько человек сотрудников, больше молодежи. Они толпились около его стола и слушали его гусиные выкрики. Он вещал, изрекал громовые истины с обычным подъемом, с авторитетной непогрешимостью.

Мы вошли незаметно и стали в дверях сзади всех.

Будаш внушал с артистическим великолепием:

— Вы должны не только знать, товарищи, что печать — самое острое орудие борьбы, но и превратить

эту мысль в инстинкт. Печать — это целеустремление, это — наша воля, это — победа и господство. Она чудесным образом может ничтожество превратить в героя, а великана — в мокрицу. Все средства в критике хороши, если они бьют в цель без промаха, если они в конечном счете служат нашим целям, целям гегемонии. Всех недовольных в партийной среде, все талантливые силы мобилизуй, сплачивай около себя, как боевой авангард. Таланты это, или грибы, которые нужно собирать в кошелку, или щенки хорошей породы, которых надо выращивать и дрессировать, — все, что стоит на пути, жестоко и безжалостно отметать. Пресловутые старые кадры очень кичатся своей мудростью и вечной большевистской молодостью. Они поражены склерозом, они несут в себе гнилое наследие прошлого. В них наша предыстория, в них консерватизм, обывательское брюшко, перерождение. Мы ставим вопрос о поколениях. Знайте, что ни одного шага, ни одной строчки, ни одного суждения на совещаниях не делать без моего ведома и согласия. Я должен все видеть и знать. Если же неумело зарветесь и укажете на меня, я энергично откажусь и первый крикну: бей его!

Сразу же я оглушен был криками и полной неразберихой спора. Были ребята, которые рвались к Будашу и друг к другу, задыхались, махали руками. Вся эта группа разделилась на два крыла: одно теснилось около Будаша, а другое наступало на эту кучку и на стол редактора. В глазах Будаша я видел тревогу и бешенство.

— Это — непартийная точка зрения... Это, товарищ Будаш, не пройдет даром... Мы протестуем... Мы будем апеллировать... Загиб... уклон... оппортунизм... троцкизм...

Люди не слушали друг друга. Атмосфера была накалена до невозможности: должно быть, здесь было пожарче, чем в нашем учреждении.

— Нет, это вы — оппортунисты. Вы — лакировщики. Бюрократы и старые сидни оседлали вас и сделали своими лакеями... У товарища Будаша правильная точка зрения.

Отдельные выкрики другой группы особенно били по ушам:

— Мы протестуем. Тут нужно вмешательство обкома... Вы стараетесь окопаться здесь...

Тут Будаш заметил нас с Васей и поднял обе руки, чтобы оборвать прения.

— Товарищи, довольно! Прошу очистить комнату. Григорий Иваныч! Прошу!.. Вася! Очень рад, что зашли... очень рад... Вы видите? Это — сила, которая воспламеняет миллионы мозгов. Хорошие ребята. Дерутся великолепно за свои позиции.

Он оглядел свою группу с лукавой игрой в глазах. И как только закрылась дверь, он в упор, сверху вниз, нагло посмотрел на меня.

— Ну-с? В этой нервной взвинченности есть и ваша вина, товарищ Мухин.

— Право, Будаш, совсем не поймешь, когда вы бываете искренни и когда лжете.

— Искренность — свойство дураков и поэтов. Я очень хорошо помню ваше определение: вдохновенный гусь. Это забавно, и в вас есть некоторая доля прозорливости и остроумия, но борец вы бездарный. Ведь я знаю, зачем вы пришли.

Он властно поднял руку и с ненавистью прищурил глаза.

— Поймите, товарищ Мухин, что я щажу вас... Я утверждаю ваш авторитет. Но вы сами губите себя.

— Какой вы наглец, Будаш!

Почему-то все время подо мною дергался стул и полз куда-то вбок. И почему-то я не мог оторвать глаз от радиомачты на крыше соседнего дома. Антенна согнула ее стержень, и мне казалось, что вот-вот древко переломится.

— Вы лучше скажите, Будаш, что вы сделали с Оврагиной?

— То есть вы хотите сказать, что совершаете вы с Оврагиной?

Я до того был изумлен, что вскочил со стула. Освобожденный от моей тяжести, он неожиданно кувырнулся на пол.

— Что такое, Будаш?

— Александр Македонский — великий человек, но зачем же стулья опрокидывать?

Вася поднял руку и с напряженным спокойствием приказал:

— А ну-ка, Будаш, к порядочку!

Но Будаш уже не владел собою.

— Мы эту мещаночку не возили по ночам на свою квартиру, как вы, пользуясь своим служебным положением. У меня в достаточной степени есть материалец против вашей уважаемой личности. Я долго валандался с вами, а теперь — баста!

— Ну, Будаш, вы все-таки играли со мной плохо.

Я совсем успокоился: он трусил, слова вылетали у него с дрожью, и лицо его осунулось и посинело.

Я почти добродушно сказал ему:

— Вы путали и творили призраки, а я изучал факты. Довольно играть комедию.

Вася, не глядя на Будаша, официальным тоном объявил:

— Приготовься, товарищ Будаш, к докладу о газете на завтрашнем экстренном заседании бюро комсомола.

Не знаю, что было на этом заседании, но прошло оно очень бурно. Будаш явился в сопровождении своих приверженцев, которые в перепалке с другими работниками редакции мешали вести заседание и старались сорвать его. На другой день стало известно, что Будаш уволил наиболее активных своих противников и заменил их своими людьми.

Через день появилось в газете и мое интервью в искаженном виде. А вслед за этим — загибистая статья о перерожденцах. Надо отдать справедливость автору: он был опытный провокатор. Чтобы не быть голословным, он привел ряд фактов бытового разложения некоторых работников из других учреждений, о чем оповещалось в других газетах раньше, но тут обещал опубликовать после проверки ряд других красноречивых данных.

Я позвонил Макару.

— Ну, как ты расцениваешь, друг, статью нашего вдохновенного гуся?

— Мятежник! Тореадор! Не нравится, что ли? — пошутил Макар и засмеялся.

— Не тореадор, Макар, а провокатор. Мы хорошо знаем, чем пахнет эта трескотня.

Голос Макара, хоть и спокойный по обыкновению, прозвучал в трубке жестко и сурово:

— Есть указание — снять его.

— Нет, Макар, этого мало: надо разоблачить его как вражеского агента.

— Ну, уж и вражеского... Соберите сегодня экстренное заседание партбюро. Я приеду.

И он положил трубку.

Дубков, как обычно, с открытым добродушным лицом и с умной усмешкой в глазах, вошел ко мне уверенно и размашисто.

Вслед за ним влетел необычно возбужденный Вася. Белокурые волосы его были всклокочены, а глаза лихорадочно блестели от волнения.

— Можно сказать, не встреча, а столкновение, — шутливо ответил я. — Устремился я к тебе, товарищ Дубков, а вы оба опрокинули меня.

— Это читал? — не угашая усмешки в глазах и потрясая газетой, грозно крикнул Дубков. — Приговор окончательный и обжалованью не подлежит.

— Что ж, — отшутился я, — мы же перерожденцы, самодуры, ожиревшие воеводы... Вот и Вася, как видно, потрясен этой филиппикой провокатора. Макар предлагает сегодня собрать партбюро.

— Знаю. Да вот Трягин просит отложить до завтра.

Мы сели в кресла перед моим столом, закурили и молча переглянулись.

Вася озабоченно сказал:

— Видите ли, товарищи. Я узнал, что у Будаша есть какие-то документы. Он указывает на Несмолкаева — как на главный рычаг против тебя, товарищ Мухин.

— Какая чушь! Несмолкаев? Главный рычаг? Ничего не понимаю.

— Я тоже ничего не понимаю. Вот и хочется этот последний узелок распутать.

Я на мгновение смутился. Несмолкаева я, кажется, постиг достаточно, чтобы не допустить и мысли о его предательстве. Никаких документов, касающихся лично меня, конечно, нет в природе, и Будаш тут или занимался подделкой, или провоцировал Несмолкаева.

Дубков рассмеялся.

— Вот и разберись в этой чертовой канители.

— Ну, раз надо распутывать узел, будем распутывать с помощью самого Несмолкаева.

Как раз в этот момент Несмолкаев отворил дверь и просунул сначала свое красное лицо, а потом втолкнул объемистый портфель.

— Можно, Григорий Иваныч? Дело чрезвычайной важности. И как раз авторитетное присутствие товарищей Дубкова и Трягина весьма кстати.

— Ну, ну, товарищ Несмолкаев... Входите! — И пошутил навстречу ему: — Выходит, что мы с вами мотали-мотали, товарищ Несмолкаев, и петлю намылили? Вот они какие, бешеные призраки!

Он, не здороваясь, почтительно доложил с обычной, присущей ему витиеватостью:

— Я должен, Григорий Иванович, констатировать факт касательно призраков. Мотание же имело закономерное свое направление.

Несмолкаев был очень серьезен и глубок, как философ.

— Вот вы, Григорий Иваныч, насчет человека помышляли и об его идеологии. Вы смешали два понятия — идеологию и идеологистику. Вы упор держали на идеологию и поведение, а вас старались провоцировать идеологистикой и оборотной стороной факта. Аппарат же выполнял свои функции, минуя вас. Между аппаратом и вами были ножницы.

— Так, значит, вы все-таки мотали и гоняли призраки?

— Я, Григорий Иваныч, обязан был точно выполнять функции аппарата. Вы и аппарат для меня — одно и то же. Я должен был отражать, охранять иммунитет, а потом опрокинуть.

Этой изумительной философией Несмолкаева я был

повергнут на обе лопатки. Спорить с ним и не время было и бесполезно.

— Да, товарищ Несмолкаев, вы действительно неотразимы: против вас не выдвинешь никакого противомнения. Но вот что вы мне скажите: почему опирается на вас Будаш?

И Дубков и Вася слушали Несмолкаева и следили за ним с любопытством и изумлением.

Несмолкаев со свойственной ему деловитостью и пунктуальностью докладывал:

— Вы глядели, Григорий Иваныч, через принципы, а дело шло вокруг вас по спирали: кто кого перемотает. Притом обратите внимание на слова, написанные моей рукой: оно будто совпадает с моей подписью, но и отличается от нее. Не фамилия значится, а слова: «Не согласен».

Действительно слово «не согласен» очень похоже было на автограф Несмолкаева.

Он рассказывал тягуче, скучно, точно читал протокол. И ни волнения, ни подавленности я не видел в его глазах. Это был идол, на склеротическом лице которого застыла маска чудовищного бездушья и непреложной правоты. А все дело оказалось до смешного простым и глупым: все дело было только в этой «спирали» и «призраках».

Будаш не раз «интервьюировал» Несмолкаева о моем отношении к нему, Будашу, к Оврагиной, к служащим, о делах отдела, о «недостатках механизма». И Несмолкаев всегда с готовностью и почтительностью мотал свои спирали и создавал целые вереницы «призраков». Все дело сводилось к тому, что Несмолкаев держал курс на «конкретную точку», из которой мотались всякие запутанные узоры. Эту «конкретную точку» должен был поставить Будаш путем «запросиков» и «формулировочек», а Несмолкаев должен был «крутить и путать». Будаш был убежден, что Несмолкаев трепещет перед ним и в слепом страхе выдает меня с головой — создает вокруг меня множество криминалов, которые хоть и трудно доказать, но которые дискредитируют меня несомненно. Будаш был очень осторожен: свои записочки и формулировочки он тре-

бовал только переписывать и подписывать каждую бумажку. Несмолкаев вежливо просил подумать, уходил в свою комнату, снимал с них копии, заверяя их по всем правилам канцелярского искусства. Это были краткие доносы на Мухина. Например, что Мухин, пользуясь своим положением, соблазняет подчиненных девиц, что он презирает молодежь, что он считает рабочих и крестьян способными только на физический труд, а партию диктатором над пролетариатом, ему же, мол, социализм не нужен. И Будаш мутил воду в учреждении, а его подручные распускали сплетни и слухи о Мухине.

Несмолкаев выгрузил из портфеля несколько бумаг и торжественно передал мне, как священную реликвию. Мы долго сидели и разбирали этот драгоценный архив. Потом он так же почтительно и официально вышел, с достоинством человека, который с честью выполнил свой долг.

Дубков затрясся от смеха, не отрывая глаз от двери.

— Ну и фрукт! А говорят, что бюрократы — народ вредный. Смотри, какой фокус отколол!

Но Вася даже не улыбнулся. Он встал, прошелся взад и вперед перед нами, вороша свои всклокоченные волосы.

— Теперь мне все ясно. Это не склока, а политический шантаж. У этого авантюриста была одна цель — пробраться к руководству как можно выше. Несомненно он действовал по заданию...

Но скверно то, что из-за этого мерзавца, кажется, погибла Оврагина.

— Подожди, родной, я не пойму... что значит «погибла»?

— Мы прохлопали, товарищ Мухин: Оврагина исчезла.

— То есть как «исчезла»? Утопилась, застрелилась, сбежала, что ли?

Вася взволнованно остановился.

— Оврагина не являлась на службу несколько дней. Дома ее тоже не оказалось. Соседки взбудоражены: говорят, что она как безумная убежала с чемо-

данчиком в руке и дверь в комнату оставила открытой.

Решили подождать еще несколько дней и, если она не появится, приняться за ее розыски.

Вы спрашиваете, что за история была у Оврагиной, какая с девкой случилась катастрофа? Оврагину Будаш победил своей вдохновенностью и красотой вождя и оратора. Он подавил ее, подчинил себе, ослепил. Она утратила волю и обожала его, как человека исключительного дарования. Каждое его слово, каждое его приказание было для нее законом. И в тех, кто окружал его, она видела его лицо, они были его отражением. И вот дело дошло до того, что он стал захаживать к ней домой. Достаточно было одного его слова, как она безропотно подчинилась ему. Он исковеркал ее и растоптал.

На том памятном вечере она уже была близка к безумию. И я уверен, что и приглашена она была с целью. Будаш хотел поиздеваться надо мною и поймать меня...

Заседание расширенного бюро партколлектива было многолюдное. Атмосфера с самого начала была напряжена до того, что каждый испытывал что-то похожее на электрические разряды в сердце. Я тоже чувствовал себя очень нервно, хотя и старался сохранить равнодушие и холодную невозмутимость.

Дубков делал вид, что чрезвычайно занят разборкой бумаг на столе, и будто торопился подготовить что-то к началу заседания, строча карандашом по блокноту.

Будаш вошел, по обыкновению, развязно, уверенно и внушительно. Он сел около стола, бросил портфель на бумаги Дубкова и очень громко, оглушая всех (было тихо, люди переговаривались шепотом и вполголоса), спросил секретаря:

— Какая будет повестка дня, Дубков? Кроме моего доклада, будут еще вопросы? Я предупреждаю, что я должен срочно ехать в обком.

И его звякающий голос был как-то некстати вы-

зывающ, но уже не производил впечатления властности и безапелляционности. В нем чувствовалась явная бравада. Будаш еще не сдавался, он еще держался героем, но видно было, что он замирал от стремительного падения. Этот его независимый голос все встретили отчужденным молчанием, даже его сторонники ежились от неловкости.

Дубков взглянул на него с угрюмым недоумением, молча переложил его портфель на край стола и буркнул:

— Никакого твоего доклада не будет.

— То есть как это «не будет»?

— Так и не будет. Макар будет.

Кое-где около меня засмеялись, приняв слова Дубкова за остроту.

— Я протестую. Я требую доклада, в котором я намерен осветить некоторые весьма существенные вопросы в работе печати. Иначе я не понимаю цели этого заседания.

— Ну, ты не понимаешь — зато понимает бюро. Предоставь бюро решать вопрос о порядке заседания.

Приехал Макар и скромненько сел с краю стола, напротив меня.

Дубков открыл заседание и объявил, что на повестке дня стоит один вопрос: о статье Будаша, напечатанной сегодня в газете. Статья явно направлена против политики партии в отношении кадров, на разжигание вражды между поколениями, на дискредитацию старых большевиков, как перерожденцев. Чтобы подкрепить свои наветы, Будаш, не называя конкретных лиц, намеренно приписал безыменным воображаемым перерожденцам всякие пороки и гнусности. Мы должны потребовать от Будаша объяснений, имел ли он в виду определенных товарищей, или считает перерожденцами вообще старые кадры, которые несли на себе все трудности Октябрьской революции и гражданской войны.

Будаш все-таки был не робкого десятка и, как опытный авантюрист, выступил в боевой позе. С привычной ораторской развязностью и самоуверенностью

он начал с насмешки: мы, мол, недостаточно грамотны — очевидно, не умеем читать газеты. Он, мол, далек от обобщения, что все старые кадры — перерожденцы. Он только против некритического утверждения, что старые кадры не подвержены перерождению. Но находится много так называемых «стариков», которым закон не писан: они на руководящих постах забыли о боевой молодости, привыкли к самовластию и вообразили себя новой аристократией. Он привел два-три примера действительно разложившихся людей. Да и в нашем учреждении есть такие перерожденцы, которые уже имеют достаточно красноречивую биографию. Взять хотя бы товарища Мухина. И Будаш начал без остановки перечислять мои пороки, неэтичные, антипартийные поступки: рукоприкладство, разгон неугодных служащих, пьянки, развратец, который дал себя знать и здесь. За все эти художества Мухина сняли с насиженного места. Но так как он заслуженный «старик», его направили сюда ради сохранения авторитета старых большевиков. И когда активные молодые силы начинают громко критиковать поведение и дела таких ветеранов революции, им затыкают рот и клеймят демагогами. Для них закрыты все пути к ответственной работе, и недовольство их вполне понятно.

Кто-то крикнул из группы:

— Верно! Это нетерпимо!

Но тут же подсек его другой молодой голос:

— Нет, неверно! Это сам Будаш и спит и видит теплое командное кресло. Мы тоже работаем в газете и не слепые.

Вспыхнула перепалка, но Дубков внушительно осадил крикунов. Будаш улыбнулся своим подчиненным и продолжал с прежним азартом.

— Моя газета, как смелый принципиальный орган...

— Какая это твоя газета?.. — перебил его Дубков.

Но Будаш не смутился и продолжал трещать, как барабан.

— Наш орган печати считает своим долгом подвергать критике всякие извращения в хозяйственной по-

литике и, невзирая на лица, разоблачать преступное поведение людей, порочащих честь советского гражданина и коммуниста. Благодаря боевой линии газетой были разоблачены и сняты с ответственных постов двое перерожденцев, а сейчас перед нами — третий.

И он отважным жестом протянул Дубкову пачку бумажек.

— Это документы Несмолкаева, секретаря Мухина, ближайшего свидетеля примерного поведения своего начальника.

Все присутствующие застыли, пораженные таким неожиданным ударом Будаша, а он победоносно оглядел собрание и сел, уверенный в неотразимости эффектного конца своей речи.

Вася встал и взял со стола бумаги, которые положил Будаш.

— Это подлинная подпись Несмолкаева?

— Ну разумеется. Он же может лично засвидетельствовать, да и Мухин не будет отрицать, что это рука Несмолкаева.

Я взял у Васи бумаги и подтвердил, что бумаги написаны действительно рукой Несмолкаева.

Некоторые вскочили с мест, закричали все вместе и даже попытались подойти к столу и взглянуть на опасные документы.

Особенно бушевал парень, похожий на цыгана:

— Товарищ Будаш — друг молодежи и сам молодой. Он расчищает путь для молодежи... Надо корчевать старые пни...

Макар сидел невозмутимо и даже не поинтересовался обличительными бумажками. А Дубков вдруг спросил, ни к кому не обращаясь:

— Если бы предложили товарищу Будашу возглавить сектор, которым руководит Мухин, справился бы он с работой?

Будаш вспыхнул, радостно сверкнул глазами, но гордо отбарабанил:

— Долг коммуниста — не отказываться от любой трудной работы.

— Это правильно, — подтвердил Макар. — Но

ведь люди подбираются по опыту работы и по знанию дела.

И он опять замкнулся в беспристрастной неподвижности.

Вася встал и спросил Будаша:

— Каким образом этот донос очутился в твоих руках? Он должен быть в другом месте.

Будаш нахально усмехнулся.

— А я увидел это на столе Несмолкаева, прочел и положил в карман. Документы интересные и важные. А кто доставил их секретарю партбюро — Несмолкаев или я, — это дела не меняет. Несмолкаев мог и уничтожить их по своей трусости.

Будаш лукаво улыбнулся.

— А действительно ли это подпись Несмолкаева?

Будаш решительно и убедительно отрезал:

— Несомненно. Да это подтвердил и Мухин.

— Ты ошибаешься: Мухин подтвердил, что все написано рукой Несмолкаева.

— А разве этого недостаточно? Что ты хочешь опровергнуть, Трягин?

Вася пристально уставился на Будаша и сказал тихо, с негодованием:

— Эти документы состряпал ты сам — состряпал грубо и самонадеянно. Подписи Несмолкаева тут нет, а вместо его фамилии стоит слово: «Не согласен», очень похоже на подпись. Эти бумажки мы получили от самого Несмолкаева. Ты угрозами и обещаниями принудил Несмолкаева переписать то, что написано твоей рукой. А вот и оттиск с твоего сочинения.

И Вася взял со стола другой такой же лист и поднес его к лицу Будаша.

— Удостоверился? А вот и подпись на копии: «Не согласен». Ты хотел сыграть наверняка — свалить Мухина и взобраться на его место. Сколько же ты провокаторски оклеветал людей, чтобы пробраться выше и выше? Ты и в газету попал обманом, и у нас съел двух работников, и посеял смуту и тревогу своими оглушительными статьями. Так делали когда-то Троцкий и Зиновьев, и ты их последыш. И, как последыш, действуешь грубо и нагло.

Это был такой удар по Будашу, что он ошалел и, задыхаясь, панически вытягивал к столу шею и, как оглушенный, хрипел:

— Позвольте, позвольте! Я протестую...

Как ни ошеломительны были эти минуты, но многие из присутствующих не могли удержаться от хохота. И верно, эта сцена похожа была на водевиль.

Выступил и я и заявил, что говорить по этому вопросу не считаю нужным, — и так все ясно; но не могу, мол, отказать себе в удовольствии отметить лишний раз факт большого общественного значения. «Вдохновенный гусь» — кличка, брошенная мною когда-то на первом выступлении, как нельзя больше подходит к этому отродью. Эти люди умеют чудесно перевоплощаться во что угодно, они действуют оглушительно и бьют наверняка. Чем они орудуют? Клеветой, травлей, дезорганизацией сил, оглушением, обманом, демагогией и барабанной фразеологией. Их настоящая природа — сплошная фальшь и политиканство. Они не болеют, не мучаются от наших неудач, затруднений, ошибок, которые приводят нас в дрожь, в бешенство. Они стараются выхватить из наших рук красное знамя. А это знамя полито нашей кровью, оно — история нашей борьбы, наших великих революционных завоеваний! Это знамя мы никогда не выпустим из своих рук и не дадим, чтобы знамя Ленина хватали наглые руки политических проходимцев.

Макар не сказал ни слова — он сидел все время скромненько и замкнуто, хотя слушал очень внимательно.

Вы интересуетесь, что же случилось с Оврагиной и чем кончилось моя борьба с Будашом. Она уехала к отцу, в Брянск. Я ездил к ней, и это мое общение с ней воскресило ее. Она сейчас на доквалификации.

Ну-с, а что с Будашом? Его сняли с работы в газете и исключили из партии.

1929

КРОВЬЮ СЕРДЦА

Рассказ

Было уже около двух часов ночи, когда я вышел после диспута о моей новой книге из многолюдного и душного зрительного зала в парк. Деревья были голые, и ветви их переплетались причудливо, как черные кружева. Над ними и сквозь них пылилось зарево большого города. Прохладный воздух, густо насыщенный запахами земли, набухших почек и молодой травы, опьянял меня. Я дышал с наслаждением всей грудью. Как хорошо! Какое счастье жить на земле, любоваться этими милыми, родными с детства, звездами и чувствовать эту небесную бесконечность, не отделимую от земли!

Навстречу мне медленно шагали люди, похожие на тени, я слышал их голоса, которые были так же невнятны, как голоса уличных пешеходов. Здесь, в глубине сада, было по-ночному пустынно, по-ночному таинственно, и черные силуэты деревьев застыли в задумчивой неподвижности. Но в этой ночной тишине и фосфорическом мраке, в этом улыбчивом мерцании звезд и в далеком туманном зареве, похожем на северное сияние, я чувствовал себя, как отдыхающий герой после боя или как актер после вдохновенно сыгранной роли.

Да, я был героем этого многолюдного и бурного ве-

чера. Мою книгу обсуждают на собраниях читателей по всей стране, о ней пишут в газетах, а в журналах печатают большие статьи. И вот здесь, в этом Дворце культуры, собралось до пятисот человек, и несколько часов я сидел за столом президиума и слушал выступления рабочих и инженеров, юношей и девушек. Они говорили, что книга моя не забудется, потому что в ней силою жгучих образов показаны пережитки и язвы проклятого прошлого, которые позорят и унижают нас, мешают воспитанию прекрасного человека и созиданию новой жизни и тем самым помогают врагу вести свою разрушительную работу.

Да, в этой книге я говорил о трудноизлечимой болезни пьянства, сквернословия, хулиганства, распущенности, карьеризма, стяжательства и всякой скверны в быту. Я изображал в ней наших советских людей, носителей этих пороков, — и рабочих и интеллигентов, — которые хоть и хорошие работники и исполнители, но в душе не имеют возвышающего и влекущего идеала. Для них привычное логово и удовлетворение низменных страстей приятнее и желаннее борьбы за овладение высотами культуры.

И я был счастлив, что эта моя книга встревожила людей и вызвала горячие споры. Большинство критиков обвиняло меня в клевете на наших людей, хотя и соглашалось, что в быту и в сознании многих есть пережитки, унижающие человеческое достоинство, что люди нередко склонны отдаваться низменным страстям. А вот на этом вечере рабочие и партийцы выступали с жестокой самокритикой. Они говорили о том, что у многих не развито уважение к товарищам и согражданам, что мы разучились ходить по улице, превращая ее в базарный толчок, что многие не умеют жить в коммунальных квартирах, устраивая склоки, постоянные ссоры, выживая друг друга, создавая невыносимые условия существования. Между тем мы, призванные строить социализм, обязаны и себя в корне переделывать и бороться за высокое благородство. Но кое-кто выступал с обидой и озлоблением: автор выдвигает, мол, и подчеркивает только отрицательную сторону нашего житья-бытья, но забывает о другой,

более важной стороне — о нашем напряженном труде, которому мы отдаем все свои силы; а в работе без ругани не обойдешься, а с устатку для трудового человека водка — живительная влага. На него обрушивались с негодованием, и опять начинал бушевать спор.

И мне было радостно, что люди хотят быть лучше, чище, благороднее, что они стремятся освободиться из плена этих пережитков, привычек, предрассудков и косности, оставшихся от рабского прошлого их отцов. Я говорил им, что изображал жизнь, как она есть. Я указал на врага, который живет в нас самих и которого мы привыкли не замечать. С этим врагом надо бороться, вытравлять его длительным самовоспитанием, потому что мерзости нашего быта, как гнусное наследие прошлого, несовместимы с нашей системой жизни, с великими задачами и свершениями. Я рисовал живого человека, я срывал маски с людей, выдающих себя за революционеров и строителей нового общества. Помню, какой-то молодой обличительный голос крикнул мне:

— А где у вас образ ведущего человека? Где то новое, жизнеутверждающее, ростки будущего?

Этот голос поразил меня своей гордой убежденностью в реальности этого жизнеутверждающего нового. Я ответил, что для ростков жизнеутверждающего нового надо расчищать почву от дикого бурьяна. Но тот же задорный голос перекрыл меня:

— Расчищайте, сделайте милость, но молодое, новое растет, — несмотря ни на какие сорняки.

И вот теперь я дышу освежающим воздухом парка, еще голого, еще по-зимнему слепого, но уже овеянного запахами лопнувших почек. Навстречу мне попадались люди без возраста и разговаривали о диспуте. Возраст узнавался только по голосам. Говорили о моей книге, о людях, изображенных в ней, о художественных ее достоинствах и об авторе.

Вот идут навстречу мне четверо и говорят горячо, не слушая друг друга и перебивая один другого.

— Он придает слишком большое значение пережиткам и косности... этим сорнякам и бурьяну в жизни... Но ведь не это же самое важное...

— Но, друзья, мы еще не совсем вникли в содержание культуры: мы понимаем ее однобоко...

— Нет, как хотите, но автор перегнул дугу! Неужели мы такие чумазые?

— При чем тут мы? Автор показывает, как пасуем мы нередко перед ловкими подлецами.

Голоса замерли, а впереди слышались другие голоса. Очевидно, это шли совсем молодые парни и девушки. Они смеялись, перекликались шутливыми словами и даже кто-то пытался запеть песню.

— Но почему так мало поэзии в нашей литературе? — обиженно вскрикнул девичий голос. — Почему она такая деловая и бестрепетная? Все о вещах, о продукции, о производительности труда, о соревновании, о процентах... А человек? а душа? а прекрасное и глубокое в жизни — любовь? Как это хорошо умели воспевать наши классики!

— Любви все возрасты покорны... — хмуро забасил кто-то из парней и фальцетом закончил: — Любовь — что такое? Что такое любовь? Это — чувство неземное...

— А верно, ребята. Скучно, деревянно пишут некие из наших писателей. А почему? Потому что у них нет в душе чего-то заветного, что не давало бы им покоя даже во сне. Равнодушны они к тому, о чем пишут, и пишут-то — словно с натугой выполняют норму. Верно, Анюта, я тоже за Пушкина, за Лермонтова и Некрасова. Нет, создавай нетленное, волнующее до хороших слез, чтоб сердце замирало и пела душа.

Прошли и эти. Они мне понравились, и я даже пошагал вслед за ними. Почему-то вдруг всплыли в памяти стихи, которые всегда потрясали меня своей глубиной и музыкальностью:

Неведомый и девственный родник,
Простых и чистых звуков полный...

Чтобы успокоиться и отдохнуть в тишине ночного сада, я пошел дальше и свернул в узкую боковую аллею. А голоса раздавались повсюду — и близко и далеко. Казалось, что весь парк наполнился людьми, и все они спорили, рассуждали, волновались, одни — ве-

село, другие — раздражительно, иные — обидчиво, а иные — сдержанно, — но тревожно продолжали обсуждать вопросы, которые как будто сами собою рождались во время диспута и требовали прямых и ясных ответов. И мне было приятно от сознания, что это моя книга всколыхнула всю эту массу людей и заставила их волноваться, глубоко вглядываться в себя.

Появились и прошли еще три человека. Один из них убеждал скороговоркой:

— Ругают автора бесподобно, но и восторгаются пламенно. Одно несомненно, что его произведение рассчитано на длительное воздействие, поскольку оправдывается известным положением, что ценность и долговечность произведения измеряется наличием вопросов, вызывающих споры. Одним словом, если писатель взял слишком смелую художественную задачу и поразил своими образами людей, он уже потерял свою обособленность, и судьба его — это трагическая судьба Лаокоона. Слишком талантливый художник далек от того, чтобы быть счастливым, а если счастлив, то лишен мудрости.

Очевидно, это были «мыслящие личности» из пишущей братии — может быть, критики, а может быть, газетчики или просто «окололитературная публика».

Кто-то из них оборвал красноречие первого негодующим смехом:

— А позвольте спросить, где это наш писатель выудил такого монстра? Проходимец, прохвост, с ловкостью наглеца пробирается на высокие должности, очаровывает наших простаков и крутит ими, как ему хочется. А тех, кто видит его насквозь и пытается вывести на чистую воду, травит, терроризует, провоцирует, создает на них клеветнические дела. Нет ли у самого автора склонности к клевете?

— О нет, мой дорогой! — пылко запротестовал первый. — Ведь показан в страшном своем обличье враг. Автор разоблачает и предупреждает: будьте бдительны!

— По-моему, автор перестарался, — хмуро и недовольно сказал третий. — Хватил через край. Уж очень

густо подчеркнул мерзавца, для которого все средства хороши. Конечно, есть негодяи, но не так страшен черт, как его малюют. Пугать и тревожить читателя не следует.

И голоса растаяли во мраке.

Я возвратился на широкую аллею к выходу. Заря широко разливалась над деревьями опаловым сиянием, но не гасила звезд. Юпитер царил на юго-западе — под Андромедой и Пегасом, а величавый Орион со своим Сириусом угнал Тельца уже на западный небосклон, в мутное зарево города. Почему эти легенды, созданные тысячелетия назад, и теперь так же юны и прекрасны? Почему мы в наше время высокой культуры и великой всенародной борьбы за новый мир не можем создать таких же чудесных и негасимых легенд, которые были бы священны для всего человечества? Не потому ли, что такие целомудренные и наивные легенды творились народами на заре культуры, в преддверии развития критического ума и смелого самоотверженного проникновения его в тайны вселенной?

Легенды и сказки рождаются только детской поэзией. Нет и не может быть теперь ни иллиад, ни мифов, ни былин. Диалектика истории беспощадна к фантазии: она — суровый исследователь и судья, орудующий только неотразимыми фактами и вещественными доказательствами. Но почему же все-таки мы, люди беспощадных лет, так неутомимо жаждем поэтических перевоплощений? Почему и для нас, людей трезвой действительности, желанное прекраснее данного? Вот и на диспуте и сейчас, в ночных аллеях парка, люди стремятся уйти от будней, подняться выше своего быта и мечтают о высоких радостях. Молодежь живет, нуждается в поэзии будущего и поет дерзновенные и жизнерадостные песни. Искусство — это человеческая мечта о рассветах и предвестие блаженства грядущего.

— Товарищ писатель! — вдруг раздался слева от меня дружески-приветливый и улыбающийся голос. — Разрешите пригласить вас присесть и побеседовать со мной. Как ваш читатель, я хочу поделиться с вами

своими заветными думами. На многолюдном собрании высказать это трудно.

Высокий, кряжистый, с сухощавым лицом человек, в шляпе, в пальто нараспашку, уверенно взял меня под локоть и подвел к скамье. Видно было, что он не сомневался в моем желании подчиниться ему и быть его собеседником.

— Ну? Слышали, как толкуют о вашем сочинении? — И он добродушно засмеялся. — Как видите, у каждого свой подход, своя точка зрения. Трудно угодить каждому. Да вы, надеюсь, и не помышляли об этом. Ведь художественное произведение создается из неутолимой потребности выразить свои мысли и чувства. Поэт, художник не может молчать, а слово дано ему как могучая чудотворная сила для слияния с людьми, для того, чтобы быть «властителем их дум». Верно я говорю?

— Видите ли, я устал... длительное нервное напряжение... — пытался я отговориться от беседы с внезапным незнакомцем. — Вышел в парк, чтобы отдышаться... отдохнуть...

— Что ж... такой отдых хорош для размышлений.

— Да, но странный способ знакомства и странный разговор... — раздраженно буркнул я.

— Что же тут странного? — строго возразил он. — Я один из тех многочисленных читателей и почитателей литературы, которые так горячо обсуждали вашу книгу. Если вы не погнушались прийти к ним, то в чем же странность моего желания откровенно поделиться с вами мыслями?

Он дружески положил руку на мое плечо, словно хотел обнять меня, но сразу же снял ее и даже отодвинулся немного. Я с любопытством посмотрел на него и встретился с его пристальным взглядом. Лицо его было простое, грубоватое, с крупными морщинами на лбу и щеках, — лицо старого рабочего, но его говор, его складная речь — речь много читавшего, постоянно размышляющего человека — была свойственна высококультурному человеку. И я терялся в догадках: кто он такой — квалифицированный рабочий? инженер? учитель? или просто книгочий из

работников неопределенной профессии? Несомненно было одно — человек он был умный, беспокойный в своих мыслях, обуреваемый «проклятыми вопросами». И по лицу его видно было, что он много пережил, перестрадал, передумал немало дум и глубоко знает жизнь и людей. Что-то в нем было старомодное, очень русское. По старинке он носил стриженую бородку и густые усы, которые покрывали губы и терялись в бороде.

— Итак, что же в моем поведении странного? — повторил он свой вопрос и вдруг оживился: — Кстати, давайте выясним, что это значит. Странное — это, с точки зрения обывателя, — необычное, что нарушает его покой и привычный распорядок жизни. Странное пугает его, выводит из застойного равновесия. А наша жизнь — жизнь советских людей — чрезвычайно беспокойна: она вся в борьбе, в наступательности, в преодолении преград и противодействий, в целеустремлении, в войне за будущее. В ней — все необычно, потому что все изменяется, творится новое, мчатся бесконечные волны, как в океане, и грохочет несмолкаемый прибой. Все это — общеизвестно, поэтому забудем это жалкое слово. Поговорим об искусстве — о нашем искусстве, которое обывателю тоже кажется странным, потому что оно — отражение нашей великой борьбы и творческой мятежности. Итак, вы с трогательной готовностью ответили на мой призыв и пожелали беседовать со мною. Это делает вам честь.

Я усмехнулся: он не прочь подтрунить над человеком и поиграть словами для затравки дискуссии. Очевидно, тяга к общению с людьми и дерзновенное желание производить опыты над ними, чтобы разведать их нутро и раздразнить их до откровенности, — должно быть, это неизбывная его страсть. Но он и сам заинтересовал меня своим прямодушием и какой-то притягательной внутренней силой, словно он шел за мной следом и сел на скамью, поджидая меня. В его приветливости и убежденности чувствовались твердая воля и властный ум. И в то же время в его голосе и в том, что он так просто и как будто

радостно преградил мне путь и подхватил меня под руку, было что-то сердечное, искреннее, задушевное. В первые минуты я порывался протестовать против его бесцеремонности, встать и уйти, но преодолеть своего внезапного влечения и любопытства к нему не мог. Сначала мне показалось, что он поймал меня с какой-то недоброй целью, и я пока держался с ним отчужденно. Он пытливо посматривал на меня и улыбался. Время от времени он проводил пальцами по своей бородке и обвислым усам, и этот его жест почему-то мне казался трогательным.

— Народ наш — великий трудолюбец, доблестный и бесстрашный боец за самые высокие и солнечные идеалы человечества. Он — надежда и мессия всех угнетенных и обиженных, еще изнывающих под игом капиталистических фараонов. Он смело и уверенно прокладывает новые пути в будущее и будущее могуче и грандиозно воплощает в настоящем. В этом непреоборимом движении вперед, в высоты, в этом созидательном творчестве нового, невиданного он гениальнее, величественнее всех гомеров и шекспиров. А мы, участники этих свершений, как будто и не чувствуем своего героизма и славы: это — наше ежечасное дело. А раз литература является художественным отражением народных деяний и преображения их в перл создания, то не должна ли она быть достойной своего народа, своей эпохи и равноценной той действительности, какую она старается воплотить в своих образах? И не тревожит ли вас вопрос об ответственности за свой творческий труд и за свою славу? Ведь поэт не только певец и игрец на лире, но и воин на фронте борьбы с врагами и природой и вдохновенный работник. Так вот, не тревожит ли вас сознание суровой ответственности за каждое ваше слово, за каждую вашу поэму и за славу, которой вас дарит народ?

Этот вопрос показался мне обидным по своей нелепости и бестактности. Я даже не счел нужным отвечать на него. Ведь я работаю над словом упорно, с огромным трудом, а не забавляюсь игрой воображения. Я часто дохожу до отчаяния от бессилия ов-

ладеть великим чудом пластики. Моя единственная потребность — добиться раскрытия прекрасной тайны творчества: создавать подлинную жизнь в сложном переплетении событий и человеческих судеб и тем самым пленить людей обаянием своих образов. Но суровая ответственность за эти успехи и неудачи... Этот вопрос был для меня действительно странным. Я полагал, что награда за удачные вещи — это заслуженное внимание нашего многомиллионного читателя, а за произведения неудачные, полные ошибок и заблуждений, я расплачиваюсь сам перед собой, потому что я сам прежде всего собственный себе беспощадный судья.

Но мой собеседник смотрел на меня уже с пристальной строгостью, словно обличительно проверял мои мысли и требовал нелицемерного ответа.

Я чувствовал, что он видит меня насквозь, и перед ним я казался себе голым и прозрачным, как стекло. Это был крепкий и цельный человек, который жил не потому, что нужно было существовать, а потому, что в жизни своей он видел большое предназначение и великую ответственность за каждый час своего бытия.

— А вот сегодня я решил лично побеседовать с тобой, как с родным мне по духу писателем и как с другом, войти в тебя кровью сердца моего и узнать, чем ты живешь и какие ты видишь горизонты. Я — человек занятой, и мне редко приходится бывать на таких вечерах, но я привык относиться к печатному слову с великим уважением и любовью: ведь это слово разносится по земле в миллионах книг и питает умы бесконечного множества людей. Каждое слово, каждый образ, закрепленный на бумаге, живет долгие годы и проходит огненным следом через всю человеческую жизнь. Ты пишешь рассказы, повести, написал вот и эту вещь, которая немного взволновала людей. И вот скажи мне, поделись со мною, с твоим читателем, который хочет понять тебя и гордиться тобою: какие откровения хочешь возвестить ты миру и на что стараешься открыть мне глаза.

Говорил он как будто раздумчиво, сосредоточенно, но я воспринял эти его слова как насмешку, как замаскированную издевку. Я обидчиво отодвинулся от него и неприязненно ответил:

— Ответом служат мои книги, товарищ. И нечего толкаться в открытую дверь.

Он подался ко мне всем телом, и глаза его остро уставились на меня, а брови поднялись от изумления. Пальцы его озадаченно затеребили усы и бородку.

— И это всё, что ты можешь сказать? Немудрая отговорка! Представь, что за этой открытой дверью я не вижу ничего, кроме мелькающих теней и пустоты. Где же манящий простор, озаренный утренним рассветом? Где же за далью небосклона та прекрасная страна — именно обетованная земля нашего идеала, к которой мы стремимся неудержимо? Ведь если ты обращаешься ко мне со своими созданиями, значит ты имеешь силу и смелость тревожить, волновать меня, вдохновлять на подвиги, потому что ты тем самым заявляешь мне, что ты знаешь больше меня, что ты по праву взял на себя дерзновенную задачу — зажечь во мне живоносный огонь дерзновения и веры в бессмертие гордого человека.

На эти его взволнованные слова я скромно возразил:

— Я не гений и не пророк. У меня простые задачи — изобразить жизнь и людей, как они есть. Я имею дело, как реалист, с будничным житьем-бытьем, с итогами прошлого дня, часто с хламом и ужасами быта. Этот хлам и ужас пережитков — те трудно проходимые тернии и волчцы, которые преграждают дорогу вперед. Разве этим я не открываю глаза людям и не зову их расчистить себе свободный путь и самим очиститься от всякой скверны?

— Ну что ж, это тоже нелегкая задача — очистить свой лагерь от навоза и грязи. Но разве в этом самое важное? Теперь, когда искусство становится не привилегией избранных, а потребностью миллионов, — теперь, как никогда, мы хотим жить и дышать им. Ведь искусство исходит только из человеческой души и, не отрываясь от нее, живет и расцветает

только в ней. Но надо признать, что мы далеки еще от такого искусства. Ты не прав, когда сводишь задачу своего искусства до роли санитарной службы и общественной гигиены. Дорогой друг, ведь искусство должно быть впереди жизни, выше жизни, выше действительности, чтобы видеть необъятность горизонтов, чтобы далекие цели сделать близкими и мечты об идеале будущего превратить в реальный факт настоящего. Оно, наше искусство, должно вести нас за собою силою нетленных образов и воспламенять энтузиазм и боевой дух в массах. Не давайте людям уставать и думать о покое, об уюте и безмятежности. Возбуждайте и поддерживайте в них постоянный революционный огонь и протест против застоя, колебаний и сомнений, поднимайте человека выше самого себя, как творца и мятежника. Не давайте людям ни на минуту забывать о их великом назначении быть героями и строителями новой земли.

Он замолчал на минуту, чтобы успокоиться от волнения, но волнение, очевидно, нахлынуло так сильно, что он встал, снял шляпу, пригладил волосы и поглядел на опаловый восток.

— Вот не справился с прибоем чувств, — смущенно засмеялся он. — Никак не могу говорить о нашей литературе хладнокровно. Да оно и понятно: как можно бесстрастно рассуждать об искусстве нашей жизни, когда оно — моя душа, мои страдания и радости, моя вера и мечты, моя борьба и искания? Разве ты не переживал таких волнений?

Он опять сел и более спокойно, но всё же горячо заговорил:

— Среди вас есть такие наивные философы, которые громко и много говорят о живом человеке. Что же это за «живой человек»? Казалось бы, что это праздный вопрос. Ведь без живого человека и художественного произведения не существует. Однако, вопреки художественным законам о типическом характере, указывают на данного конкретного человека — на родственника, знакомого, и тут же кричат: долой романтику! долой обобщение! Мы за срывание всех и всяческих масок. У нас — разные понятия

о реализме. Их изобразительство я считаю не реалистическим, а натуралистическим, то есть не типическим. Что я вижу в этом изображательстве? Не мятежника, не возмутителя спокойствия, не провозвестника высокой правды, у которого пылает сердце, не энтузиаста, не творца и деятеля, а маленького самодовольного обывателя, для которого настоящее — все, а будущее — ничто. Но, голубчик, надо же понять наконец, что человек — это неугасимая мечта, это — непрерывная борьба и подвиг. Мы совершали великие перевороты, мы потрясали земной шар бурями революций, мы опрокидывали и уничтожали черные полчища врагов, осаждавших нас со всех сторон, потому что над нами сияло незаходящее солнце коммунистического идеала. Впереди нас шли и идут бесстрашные вожди — гении, которые живут в сердцах людей как титаны мысли и действия. Баянам надо быть достойными своих вождей и своего народа. А наш народ никогда не мирился со своей крестной долей и в терпении своем был несгибаем, и в прошлом рабстве копил могучие силы любви к свободе, сохраняя в душе «святое недовольство», по прекрасному выражению Некрасова, священный гнев Прометея против самовластия царей тьмы. Бессмертные писатели как глашатаи народа никогда не забывали, чем был жив человек. Они глаголом своим жгли сердца людей и в пафосе своего творчества осуществляли свою «ганнибалову клятву» высокого служения народу во имя его счастья и благоденствия. Что же вы восприняли от них? В нашу эпоху активнейшей и глубоко человечной темой нашего искусства служит труд — свободный, творческий, вдохновляющий, возвышающий человека. Но о труде многие из вас пишут как о скучной обязанности, а орудия труда и механизмы в их сочинениях подавляют жутким нагромождением бряцающего металла, где человека не видно: он теряется в этом хаосе и корпит около механических гигантов, словно прикованный к нему пленник. И народ протестует, воспринимая ваши писания как клевету.

Я вскочил от негодования и набросился на него.

— Я этого никогда не писал. Я изображал жизнь, как она есть, без всяких красивых выдумок. Я не виноват, если действительность полна унизительных противоречий, если в жизни много позорных отстоев. Типичное — не в исключительности, а в буднях, в привычном существовании, в быту. И люди — не великаны, не плакатные витязи, а самые обыкновенные, скромные труженики, которым надо работать, отдыхать, пить, есть, ходить в баню. И задача литературы — эту правду воплотить в образах и показать людям: вот вы какие! В этом же и есть воспитательный смысл работы художника.

С добродушной снисходительностью, как власть имущий, он показал мне на скамью.

— Сядь и слушай. Ты говоришь пошлости, как хвостист. Правда в твоем толковании — не правда, во всяком случае не наша правда. А ежели так, то она и не типична. Не всякая правда — правдива. Осколок правды — уже не правда, а извращение правды. Верность натуры, фотографические отпечатки людей и фактов повседневной жизни в отстойных ее проявлениях — это ее внешняя, часто неприглядная сторона, но не внутренняя ее суть. Разве это определяет ее смысл и содержание? Разве это должно звучать ведущим мотивом ваших поэм? Нет! Лейтмотив их — новые рождения, гремучие родники свежей живой воды, которые выбиваются из глубин и сливаются в мощные потоки. Типично и художественно правдиво не столько то, что отстоялось, сколько то новое, которое создано в борьбе, в деяниях, которое движет нас к великой цели и обновляет нас каждый день, делая нас пожизненно молодыми. Да, мы не закрываем глаз на сорняки и бурьян, на волчцы и тернии, на темные стороны данного, но нам бесценно дорого желаемое. Творческий труд и неустанная борьба, мятущийся дух против устоев прошлого, покрытых плесенью, — вот источник подлинной жизни нашего живого человека. А у человека — избыток энергии, и энергию нельзя растрачивать бесцельно и бесплодно, потому что в ней развиваются ростки будущего. Дурно и напрасно растраченная энергия питает

только проклятые волчцы и пережитки, убивает волю, ведет к распаду жизненных сил и к свинскому покою. А что может быть опаснее этого врага? Бейте же в набат, волнуйте людей яркими образами героических дел, дерзновенных подвигов, потому что для человека нет ничего невозможного. Каждое ваше слово должно быть разящим ударом, сокрушающим старое, косное, отжившее. Оно должно нести огромный заряд энергии и возбуждать новые и новые волны энтузиазма для завоевания будущего, освещенного ярким светом искусства. Ведь творчество нашего художника — это предвидение, и сила этого творчества не только в отражении того, что есть, но и в изображении того, что неизбежно рождает каждый грядущий день. Искусство слова — это светильник в ваших руках, и он не должен меркнуть и гаснуть. Не внимай людям улицы, обывателям, которые не видят ничего за пределами будней и не понимают озаряющей мудрости, что свобода есть осознанная и глубоко прочувствованная необходимость, — не внимай этим заскорузлым людям, у которых в душе — беззвучная пустыня, а впереди — серая мгла и грязная могила, и которые создают себе иллюзию жизни в пивных, ресторанах под гнусные ревы джаза. Они говорят вам: пишите невинные и приятные вещи, не тревожьте нас. Нет, вы, писатели, обязаны потрясать их, потому что они защищены, как черепахи, мозольной кожей эгоистических привычек, предубеждений и предрассудков и не знают, не чувствуют, что живут они мерзко, пошло, вредно. И я требую от вас, писателей: не надо нам отбросов и отстоев жизни, а покажите нам плоды побед наших и свершений. Нельзя забывать, что пройденный нами путь усеян трупами погибших героев и подвижников. Это драгоценные жертвы. Осветите память о них, создавайте поэмы о их делах и подвигах: вы — их наследники. Вы всегда должны быть впереди. Делайте перлом искусства каждый наш шаг, который ведет нас в бессмертие. Слабым духом — не место в наших рядах. Сила и значение художника определяется остротой и смелостью его предчувствий. И вот я обращаюсь к тебе

открой перед людьми невиданные картины их битв за величие творческого труда, за счастье родины, создай образы героев этих битв и труда, чтобы они служили примером для юношества, чтобы юноши, девушки шли по их пути и подражали им. Рассказывай людям пленительные легенды о доблести, о самоотверженных борцах. Не бойся романтизации, ведь это только ярко озаренная правда, которую ты показываешь миру через линзу искусства. Вспомни, что сам народ, воспевая своих героев, только этой романтизацией создавал нетленные былины: в этих героях он гениально воплощал самые типические свои черты, свою историческую судьбу и свои исторические дела. Эта же линза не скроет ни грязи, ни пороков, ни всякого рода пережитков, которыми пользуются заклятые враги как средством и орудием для своих преступлений. Знай, что, выполняя это свое назначение, ты тоже совершаешь подвиг, что ты оправдываешь себя перед народом и радость творчества твоего высока и прекрасна. Вот что хотелось мне, пользуясь случаем, сказать тебе, нашему социалистическому писателю.

Он встал и опять посмотрел на разгоревшийся восток. Светало. Ночная мгла таяла, и густо перепутанные ветви деревьев были призрачны и тянулись к небу, а оно уже беззвездно голубело и таяло. Пахло свежестью весеннего утра — особым ароматом чернозема, молоденькой травы и древесного сока. Пролетали над парком галки, зачирикали воробьи.

Мой собеседник снял шляпу медленно и торжественно, словно хотел встретить солнце с обнаженной головой. И в этот момент он показался мне в своей человеческой простоте и пафосе своих речей необыкновенным и странно-таинственным человеком. Почему он действовал на меня так покоряюще властно и любовно? Я ощущал себя рядом с ним жалким и ничтожным в своем самообольщении, самоуверенности и тщеславии. И я думал: вот кого мне недоставало, вот человек, который, как моя совесть, нашел меня, обнял мою душу и слился со мною кровью своего сердца. Этот человек знает, что такое бессмертие, знает, что таят в себе рассветы в чело-

веческой судьбе, и сегодняшний день для него — только ничтожная часть бесконечной дороги, а идеал — не мерцающая звезда в недостижимой дали, но само движение в даль, претворение будущего в каждом дне настоящего.

Да, чтобы петь песни, волнующие людей, надо иметь громкий и проникновенный голос и надо быть в первых рядах этого великого движения. Этот человек был, может быть, жесток в своей правде, но слова его, как провозвестие, были жизнерадостны, дышали глубокой любовью к людям. Вот почему искусство — это его душа, его мысль, его действенная связь с миром, его отношение к человеку. И мне хотелось преклониться перед ним и сказать:

— Благодарю тебя, мой читатель и незнакомый друг, за высокие минуты, которые я провел в общении с тобой. Эту связь с тобою я буду чувствовать всегда, и мы никогда не разлучимся духовно.

Он повернулся ко мне и дружески улыбнулся. И в тот момент, когда он надел шляпу, стал простым и близким, как будто я знал его очень давно.

— Я вспоминаю свою молодость, — проговорил он, вздыхая. — Много в ней было безотрадного и обидного, как и у каждого трудового человека. Но с какой бы я радостью возвратился к этим моим далеким дням! Ведь молодость — это бурные порывы, пламенная вера, горячая кровь и пленительные мечты. Не таково ли искусство?

Он ласково взял меня за руку и поднял со скамьи.

— Пойдем, голубчик, — пора. Мы славно пройдем по утренним улицам. Скоро взойдет солнце, а я люблю встречать его весною. Ведь это, друг мой, наша непреходящая молодость. Таково и искусство. Это — я, это — человек в становлении прекрасного, в высоком преображении мятущихся сил. И лгут те из вас, которые утверждают, что они — только ремесленники, которые выполняют повседневные заказы. Это — не творцы, не поэты, не дарования, а кустари. Дарование, талант — это вдохновение, одержимость пожизненной идеей откровения, то есть высокое служение человечеству. Ремесленник равнодушен к тому, что

он выполняет заказчику: плотник с одинаковым усердием делает и колыбель для ребенка и виселицу. Это его заработок. А поэт, художник — создатель новых и самобытных творений.

Мы пошли по аллее к выходу на улицу. Вдали видна была стройная колоннада Дворца культуры, и лиловые кружева ветвей играли, плескаясь впереди и по сторонам. Высоко, в сиреневой дымке рассветного неба, сверкали золотом барашки облаков. Пели скворцы. Мой новый неведомый друг опять снял шляпу и вздохнул всей грудью.

— Как хорошо! Как прекрасна наша земля ранним утром, и как ненасытно хочется жить!

И он одним вздохом, с большой внутренней силой почти пропел:

И черная земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи.

Хорошие слова. Из наших усилий, трудной борьбы, требующих и жертв, и самоотверженности, и мук, вырастут новые силы. Идет на смену нам смелая, задорная, ликующая молодежь. Это в ней зреет великая энергия и благородство преображенного человека.

В тех же муках родила их мать,
Так же нежно кормила их грудью...

Мы шли по набережной Москвы-реки. Всюду было непривычно пустынно и по-утреннему прозрачно, как бывает в час рассвета, когда ночь еще не растаяла и на западе еще призрачно мерцают крупные звезды, а солнце уже близко под горизонтом и зажигает восток оранжевой зарей. В гранитных берегах, за железным парапетом, река текла тихо, зеркально, как масло, и казалась бездонной. Башни и стены Кремля отражались в ней отчетливо и зыбко колыхались в недостижимой глубине, где синело опрокинутое небо. Глухой, невнятный гул плыл из-за каменных громад зданий — плыл откуда-то издалека. Город не замирал ни на одно мгновение и трепетал бесчисленными

созвездиями огней. Вдали частыми лунами увенчивался горб моста, и эти огни пламенно змеились в реке. Налево, за рекой, громоздились строительные леса и лучистые россыпи огней, а за крышами домов, очень далеко, размахнул крылья высочайший подъемный кран.

— Огни... огни по всей нашей необъятной стране! — с гордостью проговорил мой спутник. — Огни социализма... огни свободного человечества. Вот строятся гидростанции с целыми городами комбинатов, вот — тракторострои, автозаводы... А там зальются миллионами огней и Волга, и Ангара, и Лена, а пустыни прорежутся каналами, и там зашумят леса, исчезнут пески под пышными коврами трав, хлопчатника и садов. Зальются светом села, и не будет уже там черных древних ночей.

Но ты не забывай, что в тех проклятых ночах не угасала мятежность и вера в торжество правды. И эта мятежность и вера в грядущее счастье были живоносной силой в исторических судьбах народа. А теперь мы дерзаем овладеть неисчерпаемой энергией атома, растопить полярные льды, изменить климат окоченевших тундр, осветить их неугасимыми огнями и превратить их в благодатный, цветущий край. Мы идем за солнцем, и дали наши ослепительны. А путь наш — это превращение солнечной энергии в творческую энергию масс.

Освещайте же и вы, художники, наше настоящее огнем будущего. Вы призваны воспламенять, вдохновлять нас, чтобы провалы, болота и скалы на нашем пути не убивали нас страхом и смятением. Пусть песни и повествования ваши не умолкая звучат в сердцах завоевателей будущего.

Мы расстались с ним тепло — дружески и сердечно. Он долго держал мою руку в своей руке и говорил на прощанье:

— Ты не сердись на меня: все мои слова выливались из глубины моего сердца, из любви к тебе, нашему художнику. Твоя рука должна всегда лежать на моей груди, чтобы чутко слышать биение моего сердца. Чтобы быть любимым поэтом, нужно уметь

слышать голос читателя и чувствовать его душу. Мы еше не раз встретимся с тобою.

Он пошел от меня твердой и быстрой походкой человека, который много ходил по земле. Голову он держал высоко, руками размахивал уверенно. Я слышал, как он напевал молодо и бодро:

Высота ль, высота ль поднебесная,
Глубина ль, глубина ль океан-море...

Он пел песню о Голубиной книге.

1927

МОЯ РАБОТА НАД «ЦЕМЕНТОМ»

(В порядке самокритики)

Я работаю как писатель уже много лет, но еще до последнего дня мне кажется, что я совершенно не умею писать. Говорю это с горестной беспощадностью к себе. Поэтому и рассказать о том, какова моя творческая лаборатория, мне чрезвычайно трудно. Мне неоднократно на собраниях читателей и в кружках начинающих писателей задавали вопросы, как написан, например, «Цемент», как он вылился в цельное полотно. И я, признаюсь, всегда смущался от этих вопросов. Процесс творческой работы, без сомнения, интересует не только молодых писателей. Я думаю, что между писателем и читателем разница только в интенсивности образного мышления: писатель не может пережить «безнаказанно» охватившего его «навязчивого образа». (Образ я понимаю как сложное «видение» — от метафоры до человеческой фигуры.) Он неизбежно должен эти образы воплотить на бумаге. Это волнение, «настройка» непременно превращается у писателя в моторный процесс. Это — его потребность, необходимость, которую он не может превозмочь. Он должен выявить себя именно *таким* путем для длительного и максимального воздействия на бесчисленные массы людей.

Так вот, я думаю, что писатель рождается каждый

раз заново вместе с рождением своих образов, причем рождается многократно в каждом произведении. Проследить, вспомнить эти «роды» почти невозможно. *Самое главное* в своем творчестве он рассказать не может. Конечно, многое можно передать, очень многое вспомнить, но это «многое» только сопутствует «главному» и сопрягается с ним. Это же «главное» — процесс психологический, который часто неуловим, смутен и схватывается по преимуществу в ассоциациях, а художественное их «рождение» и формирование — уже дело кропотливого, длительного труда. И чем мастер культурнее, образованнее, чем у него политическое мировоззрение стройнее, глубже, чем он сильнее как материалист-диалектик, тем, при наличии таланта и мастерства, художественное произведение его, как человека эпохи, содержательнее, жизненнее, ибо искусство — это ведь мышление картинное, ибо оно — художественное «опосредствование» целого потока впечатлений, восприятий и переживаний.

Я не помню сейчас, как возникла у меня потребность написать весь «Цемент» в целом. Знаю только, что я, уже будучи в Москве, живя зимою 1921 — 1922 года в подвале клуба «Госзнак» на Смоленском бульваре, голодая и замерзая, вспомнил о Новороссийске, о море, о моей партийной и ответственной работе в первые два года советской власти. Это уже была минувшая и законченная эпоха моей жизни, и я мог привести в порядок пережитые события, подвести им итоги. Картины были ярки, значительны, полны героической напряженности, хотя имели вполне будничный характер. Люди отливались в памяти скульптурно, события горячо трепетали в воображении. В этой обстановке голода и промороженных гранитных стен цоколя, в комнатенке, похожей на тюремную одиночку, я, охваченный этими воспоминаниями, под влиянием картин и событий, которые повторялись в воображении с особой болью и остротой, решил внезапно, по какому-то внутреннему толчку, написать маленький рассказ о море, о солнце, о приезде из Турции покаявшихся казаков, солдат и офицеров. Картина еще горела потухающим пламенем гражданской войны,

В литературе это еще не было изображено. Главное, что меня занимало в этой картине, — это живопись, пейзаж, лирика красок. Потом на фоне этого морского пейзажа — самоотверженная борьба, как в народных балладах и поэмах. Весь рассказ был написан очень быстро, импрессионистически, резкими мазками, напевно. Всё было пропитано огнем, резкими движениями персонажей, беспокойством, угрозой и кровью. Дело прошлое, но я думаю, что здесь больше сыграла роль моя постоянная потребность согреться. Повторяю, я замерзал и болел постоянно бронхитом и фурункулезом. По контрасту с лютой зимой 1922 года, с подвальным, нечеловеческим жильем море, солнце казались волшебными, яркими, гремящими оркестром красок и огня.

Так родилась будущая глава «Цемента» — «Встреча покаянных», — горячая, немного лихорадочная глава. Фигуры действующих лиц наметились как-то быстро — они затолпились передо мною, как живые, телесно осязаемые. «Встреча покаянных» — это действительное событие, которое произошло весною 1921 года. Английский транспорт доставил в Новороссийск большую толпу бывших белогвардейцев, главным образом солдат и рядовых казаков. Офицеров было мало. Я принимал участие, как редактор газеты, в их встрече на корабле. Все персонажи вымышлены, но характерные черты взяты от тех людей, с которыми пришлось работать и жить общей жизнью.

Уже в этом первоначальном очерке намечался общий абрис типов. Вполне отчетливо и реально жил в воображении Глеб — как *тип* рядового пролетария-активиста. беспокойного хозяина-массовика, борца-красноармейца, подпольного работника, беззаветного большевика, веселого, жизнерадостного, сурового, подчас страшного человека. Прототипом послужила целая галерея близких товарищей, рабочих-партийцев Новороссийска, Кубани и Москвы. Персонально фигура Глеба не связана ни с кем из тех живых людей, которых я знаю. Методом писания портретов с определенных лиц, знакомых, я не пользуюсь: этот метод стесняет меня, мешает мне в работе над типичным

обобщением, суживает свободу *распоряжаться материалом.* Впрочем, некоторые условные отступления есть: это фигуры Сергея, Лухавы. Говорю «условное отступление» в том смысле, что в этих персонажах нашли отражение характеры действительных лиц, называть которых я не вижу надобности.

Этот вполне законченный этюд, написанный без всякой мысли о большом полотне, уже после того, как он был сдан в печать, взволновал меня: вся «южная эпоха» моей революционной работы — картины, события, лица, пафос борьбы новороссийского пролетариата за восстановление хозяйства, за утверждение основ социалистического строительства, борьба за коммунистический труд, смятение от бурных шагов нэпа, чистка партии — все это с необычайной яркостью вспыхнуло в мозгу, потрясло меня и уже не давало покоя. Очень часто мне снились и люди, и большие и маленькие эпизоды этой эпопеи. Особенно назойливо преследовал меня жуткий сон, который повторялся почти каждую ночь. В разных положениях, при разных обстоятельствах меня или расстреливают, или вешают белые, и всё больше почему-то в лесу, в горах, в угрюмых ущельях. Как обычно бывает во сне, расправа не удается: приходится или бежать, или просыпаться в самый решительный момент. Все эти рефлексы пережитого воплощаются с течением времени в стройные реальные художественные образы, которые претерпевают в творческом процессе сложное развитие под воздействием личных воспоминаний и воспоминаний людей, переживших во время гражданской войны множество невероятных приключений. Захват Даши белобандитами в горах — событие вымышленное, рожденное из этого сна и связанное с одним случаем, имевшим место на «махновских полях».

Это знойное солнце, горящее море и горы в «медной окалине» склонов, ущелий и изломанных ребер вызвали в воображении целую симфонию ударного труда тысячных масс — «субботников» и «воскресников» — на горной территории цементного завода в двадцатом и двадцать первом годах. Эти картины незабываемы. Мне хотелось написать нечто вроде

поэмы об этом массовом труде. Этот труд новороссийских рабочих спас город от топливного бедствия. Так в первоначальной редакции вылилась глава «Бремсберг». Потом она уже в контексте романа многократно перерабатывалась, чтобы уложиться в общую структуру.

Вслед за этим, по сцеплению некоторых ассоциаций, написан был психологический этюд об инженере Клейсте. Под заглавием «Разорванная паутина» этюд был напечатан в «Молодой гвардии» в 1923 году. Образ Клейста возник по контрасту с Глебом. С одной стороны — Глеб, как победная сила, человек «бури и натиска», жизнерадостный, с могучими инстинктами жизни, с «нутряной» классовой мудростью. С другой — Клейст, как обломок великого крушения, который органически сросся с своими заводскими зданиями и дворцами, как живая их кариатида. Для настоящего он омертвел, так же как оледеневшая, созданная им архитектура завода. Он живет прошлым, без надежды на воскресение. Но это только некий анабиоз: слитый со своими творениями, он неизбежно должен очнуться вместе с воскресением завода. Всё зависит от того, во что выльется борьба с Глебом и как пролетарий-хозяин сумеет воспользоваться своей властью. Враги встретились, силы не равны; уничтожить инженера, который когда-то отдал Глеба на расправу белогвардейцам, не стоит никакого труда, но это бессмысленная месть. Тут главное — борьба с собой, со стихийным порывом к мести. Разум коммуниста берет верх. Нужен спец, без помощи которого не восстановишь разрушенного гиганта. Лучшей расплатой будет подавить в себе звериную месть и заставить Клейста почувствовать несокрушимую волю, смелость, энтузиазм новой жизни. Нужно *пригвоздить* инженера *к жизни*, потрясти его до нутра, заставить гордого спеца почувствовать мудрое великодушие простого рабочего и поверить в его способность к переустройству жизни.

Проблема специалиста — вопрос о максимальном использовании технической интеллигенции — в то время стояла особенно остро. Этот вопрос часто ди-

скутировался на собраниях и совещаниях, и слова Ленина по этому вопросу цитировались каждым докладчиком о новой экономической политике.

Когда были написаны эти три этюда, сюжет всего романа, главные герои и остальные персонажи, фабульный материал уже отчетливо отложились в мозгу. Нужно было основательно и терпеливо на долгое время приняться за работу. Была осень 1923 года. Я тогда был занят организацией рабфака печатников. Писать садился только с часа ночи. Обычно работал с карандашом в руках до трех-четырех часов утра. Роман писался с большим подъемом, хотя в это время я уже нервно болел от переутомления.

«Делался» роман вразбивку: не с первой главы, не поступательно, а «лепилось» то, что особенно ярко и законченно откладывалось внутри. Брался за ту или иную главу только тогда, когда и люди, и факты, и действия оживали до иллюзии. М. Горький так определил характеры людей в романе: «все они у вас светятся и играют». Вот эта «игра» характеров, выпуклость фигур, их телесность, «трепетание» и их типичность меня занимают больше всего; этому я придаю первостепенное значение. Важно, чтобы человек был живым, чтобы «выходил» из страницы, чтобы я слышал его голос, видел особенности игры его лица, жеста, походку, слышал оттенки смеха, индивидуальные особенности речи. Это давно уже вошло в привычку и очень помогает в моей художественной работе.

Труднее всего передать образы на бумагу. Я не могу давать детальных, подробных описаний фигур, не могу терпеливо, бесстрастно, долго, «по-боборыкински», как делают это «бытовики», описывать людей от макушки до пяток, передавать тягучие их диалоги. Мне важно «ущемить» самую характерную деталь, которая сразу же оживила бы фигуру. Нет надобности в длинном разговоре — достаточно двух-трех характерных фраз, ядреных словечек, свойственных данному характеру, в которые он мог бы вложить всю свою суть. Так делал А. П. Чехов, которого я ставлю выше всех по мастерству «лепки характеров»

и всего характерного. Non multa sed multum — «немного, но многое», то есть найти *одно* какое-то слово из массы слов, *одну* черту из множества черт, что составляло бы, так сказать, «душу» лица, предмета, действия. Надо не только «отжать» все лишнее, но взять, может быть, одну крупинку этих «отжимок», но крупинку не случайную, а с огромным зарядом. Метонимия и, пожалуй, синекдоха, по-моему, самое мощное и ударное оружие в создании художественного образа сложной конструкции.

Образ Даши сложился еще на юге. Он стал «дышать» и жить своей реальной индивидуальностью уже в Москве, по мере того как мои наблюдения над некоторыми работницами-активистками, непосредственное общение с ними в работе и в их личной жизни обогащали меня большим и разнообразным материалом из «живой натуры». Выбор типических черт для создания «сгущенного характера» был богатый. Нужно было только «организовать» наблюдение в лаборатории — произвести анализ и сделать надлежащие выводы.

Что такое наша работница-революционерка, большевичка? Основная их масса вышла из Октябрьской революции и гражданской войны. Наша женщина — работница женотдела, профсоюза, секретарь ячейки, директор фабрики и т. д. — рождена борьбой за диктатуру пролетариата, эпохой социалистического строительства. Сплошь и рядом эти женщины, сначала жены своих мужей, ничего не знавшие, кроме своего гнезда и детей, в огненные годы гражданской войны героически переносили все великие испытания, которые выпали на долю рабочего класса: они боролись и в окопах и в тылу. В местах, захваченных белыми, они испытали все мытарства жен и сестер тех, кто дрался на красных фронтах. Многие из них гибли, многие закалялись в опасной революционной работе в подполье. Из обыденных «мирных» семейных женщин они превращались в твердых, боевых, сильных людей. Менялся их характер, менялись взгляды на жизнь. Они становились независимыми и гордыми в своем человеческом достоинстве. Но некоторые из

них доходили до нелепых крайностей: «омужичивались», подражали во всем мужчинам — в поступках, в разговоре, в ругани, в грубости. Они обезличивались и надевали чужую маску. Это — самая фальшивая, самая неудачная женская разновидность; у таких женщин всё поддельно, как у «ряженых», — «паспорт» у них не настоящий. Чаще всего внутри они — жалкие, обиженные, обозленные истерички. В большинстве случаев мне приходилось встречать таких женщин из интеллигенток.

В образе Даши мне хотелось нарисовать именно настоящую, «нутряную» пролетарку — женщину, завоевавшую своей жизнью право быть в первых рядах рабочего класса. Сначала, в «мирные» дни, она, как мужняя жена, немножко упрямая, немножко своенравная, любит своего Глеба по-бабьи. Переворот начинается в ней с того момента, когда Глеб чудом спасается от смерти и уходит от нее ночью к красно-зеленым, уходит, может быть, навсегда. Это только смутный, еще не осознанный сдвиг в ее жизни. Полное осознание своего отношения к действительности определяется в дни, а может быть, и часы страшной трагедии, которую она пережила в подвале контрразведки, уже хорошо подготовленная подпольной работой Ефима Усатого. Сначала она не могла оторваться от мужа, потом не могла переступить через ребенка. Но борьба выпрямляет волю: Даша привыкла отвечать за себя, она уже ясно видит свою дорогу. И уже может ради великих целей пойти на любые жертвы. Тяжелый и сложный переворот.

И, конечно, Глеб, который оставил Дашу милой, привычной бабой, не узнал теперешнюю Дашу — Дашу-большевичку, активную боевую силу. Момент их встречи был для Глеба ошеломительным; Даша была потрясена неожиданным появлением Глеба. Она в его объятиях была близка даже к обмороку. Но прежняя слабость, опасность поддаться силе мужа, потерять свою независимость, ощущение в нем самца со всеми предрассудками и привычками сразу поставили ее на ноги. Обязанности члена партии, который сейчас едет по командировке парткома в самое

опасное место, может быть на смерть, отрывает ее от любимого человека. «Гостеприимничать» сейчас она не может — нет свободной минуты. Лечь с ним в любовном опьянении — это пока страшно: надо прощупать и его и себя. Она пытается бороться с ним и панически бежит от него.

Эта сцена выдержала наиболее жестокий обстрел со стороны многих критиков и читателей. Не зная боевой истории рабочего класса в годы гражданской войны и первых трудовых подвигов по восстановлению разрушенного хозяйства, критики обрушивались на автора за то, что он заставил Дашу бросить Глеба и принести в жертву свою маленькую дочку. Надо быть слепым, чтобы не видеть самого очевидного: ведь Даша-то спасла от гибели и свою дочку и многих детей. Она организовывала детские дома, детские сады и ясли в эти голодные, страшные годы. Да и от Глеба она не уходила: она на время перебралась к Поле, которая была близка к безумию, чтобы поддержать ее в беде. И ей и Глебу надо было, по ее мнению, отдохнуть, подумать о себе и понять друг друга.

Некоторые критики и начетчики упрекали автора в том, что он, вместо того чтобы нарисовать образцовую коммунистическую семью и решить проблемы коммунистической морали, изобразил драматическую коллизию в отношениях мужа и жены, активных большевиков. Но автор не склонен к утопическим вымыслам, для него дороже всего суровая правда жизни. Он рисовал жизнь такой, какой она была в те годы, в ее наступательном движении, в ее огромном боевом напряжении. И люди в самоотверженной и неусыпной трудовой борьбе за восстановление хозяйства, за утверждение социалистических его основ решали большие государственные задачи под огнем еще не добитого врага. Им некогда и трудно было ставить как проблему дня бытовые вопросы и строить теории коммунистической морали. Они решали эти вопросы на ходу. Такие критики и начетчики есть и сейчас. Но критик должен так же знать реальную действительность, как и художник, чтобы не строить пустых гипо-

тез, а понять пафос писателя, по завету Белинского, и быть на высоте своей эпохи.

Особенное стремление «вырезывать» типы четко, выпукло до осязательности и в то же время добиваться максимального «сгущения» общезначимых черт вызвало со стороны эпигонов «психокопательского объективизма» целую кампанию против «Цемента», доходившую до настоящей травли. Основной грех моего творчества определялся как «схематизм», то есть отсутствие в галерее моих персонажей «живых» людей, в которых бы хорошие и плохие стороны, положительные и отрицательные органически врастали друг в друга, как, скажем, химические ингредиенты в сложном теле. Иными словами: большевик, борющийся во имя коммунистического идеала, может быть одновременно порочным, а белогвардеец, черносотенец — прекраснейшим человеком. Формула: надо, чтобы наша революция, наша действительность воспринималась через нутро, психологически, внутренним оком. Произведения же Федора Гладкова лишены этого основного признака художественного творчества, его типы несут в себе какую-то *одну* черту — или порока или добродетели. Поэтому он заражен «романтизмом», преувеличениями. Автор «не срывает масок», а наоборот, напяливает маски на своих героев. Это буквальная передача того, что писалось определенной группой критиков, пытавшихся наметить «столбовую дорогу» пролетарской литературы.

Я считал и считаю, что искусство, в отличие от науки, имеет дело только с человеком. Сложное отношение человека к действительности, к внешнему миру и к самому себе — это психология. В те времена, когда я выступал в литературе, именно в 1922 году (не считая дореволюционного периода), я активно боролся своими произведениями против космизма, против «политической публицистики» и фактографии в художественном творчестве. Это обстоятельство тогда отмечалось некоторыми старыми критиками. А многие как раз обвиняли меня в «психологических излишествах». «Цемент» от начала до конца психологичен.

Но здесь я должен указать на один важный пункт насчет объективности. Для меня «объективность» имеет сугубо условный смысл: художественную объективность я понимаю как объективность *партийную*. С этой точки зрения «Цемент» и все остальные мои вещи (за единичными исключениями) — произведения объективные, реалистические. Кстати о «реализме». Реализм толковался в разные времена разными общественными классами различно. Буржуазная критика особенно рьяно настаивала на интерпретации этого понятия как «абсолютного объективизма»: искусство, мол, должно быть «нейтральным». Оно — беспристрастный свидетель жизни, который «добру и злу внимает равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева», и у которого «ни на челе высоком, ни во взорах нельзя прочесть его сокрытых дум». Такой реализм, как «вечное, неизменное» понятие, отрицает всякую революционную мечту в нашем партийном, ленинском понимании, отрицает всякое диалектическое «преодоление жизнью собственных пределов», всякую возможность создания таких «слов, которые бы вызывали волшебные образы будущего» (Гегель). Бесспорно, надо писать то, «что есть и как оно есть», но точку ставить после этого нельзя. Задача искусства — изображать не только то, *что есть,* но и то, *что* и *как должно* быть, — то есть искусство должно изображать *действительность в ее наступательном движении и развитии.* В этом и состоит партийность художественного творчества. Вообще все эти понятия — «реализм», «романтизм», «классицизм», «натурализм» и т. д. — должны быть решительно переосмыслены, раскрыты конкретно-исторически, иначе мы будем путаться в них, беспомощно топтаться и вязнуть в болоте схоластики. И «романтизм», и «натурализм», и «реализм» и т. п. — каждое направление и школа соответствовали определенным общественным отношениям, а следовательно, и определенному общественному сознанию.

В моих художественных установках не произошло в эти годы никаких изменений и переворотов. Я утверждаю, что высота и глубина художественных произведений нашей литературы определяются тем, на-

сколько диалектика нашей эпохи нашла свое подлинное выражение в художественных образах, то есть насколько широко, сильно и ярко выражены в образах основные и жгучие *проблемы* современности, борьба, направленная на «изменение мира» и, следовательно, на переделку природы человека. В связи с этим выдвигается задача типологии. Значительность героя художественного произведения, его «живучесть» для нашей истории определяется наибольшей его типичностью для эпохи, то есть силой синтеза наиболее характерных особенностей той социальной среды, которую представляет данный герой. Героизм — свойство, типическая особенность нашего человека. *Подчеркивая, выделяя положительные черты основного действующего лица произведения, не надо бояться романтизации.* В типизации героя нашего времени от романтизации — в революционном значении этого слова — уйти нельзя. Но надо уметь делать это без нажима, без надсады, чтобы читатель увидел и почувствовал свое отражение в образе, чтобы в этой романтизации полностью воплощена была правда жизни.

Типизируя своих героев, я старался «высказать» их. Мне хотелось, чтобы они «не таяли», чтобы контуры их не смывались, чтобы они надолго запечатлелись в воображении читателя, который бы мог почувствовать в них себя и взволноваться. Нужно было, чтобы герои обладали *длительной притягательной силой.* То же самое я имел в виду при постановке в этом романе общественных проблем: мне нужно было добиться такого художественного эффекта, чтобы язык образов был легко и энергично переведен на язык социологии. А. Франс где-то выразил мысль, что художественное произведение тем устойчивее, чем сильнее оно возбуждает вокруг себя споры. И «Цемент» в этом отношении сыграл, кажется, не малую роль. Проблемы, которые поставлены в нем, животрепещущи до сих пор, ибо это проблемы нашей эпохи. Дело не в том, что фабула романа — из времен первых шагов строительства социализма, а в том, что

те проблемы, которые стоят и сейчас в порядке дня, были поставлены уже тогда. Что это? Это проблема социалистического труда, это проблема семьи и нового быта, это проблема интеллигенции при диктатуре пролетариата, это проблема ударничества и коммунистического труда, проблема переделки человека и т. д. и т. п. Не этим ли объясняется популярность «Цемента» в народных массах не только нашей страны, но и других стран.

Горький очень чутко отметил это в своем письме ко мне по поводу «Цемента» еще в 1925 году: «Вам — на мой взгляд, опять-таки — весьма удались и характеры. Глеб вырезан четко, и хотя он романтизирован, но это так и надо. Современность *вполне законно* требует, чтоб автор, художник, не закрывая глаз на явления отрицательные, подчеркивал — и тем самым — «романтизировал» положительные явления. Вы умеете делать это, с чем искренно поздравляю Вас. Однако — поймите меня: я говорю не о том романтизме устрашенных действительностью и бегущих от нее в область фантазий, а о романтизме верующих, о романтизме людей, которые умеют встать выше действительности, смеют смотреть на нее как на сырой материал и создавать из плохого данного хорошее желаемое. Это — позиция истинного революционера и это его право».

Мне остается сказать о стилевых особенностях «Цемента». На этот счет тоже было много недоразумений и споров. Одни считали, что стиль романа нов, оригинален; другие — что он гиперболичен и что в нем очень много от декаданса, натурализма и символизма; третьи — что он прост, ударен, «народен», пафосен, как труд и борьба пролетариата; четвертые — что он сложен, вычурен, трудно воспринимаем, что он нарушает привычные представления о «классической» литературе... и т. д. Стиль, как определенное гармоническое единство содержания и формы, как некая адекватность между мыслью и образным ее выражением, как, наконец, определенная манера, характер, метод изображения мыслей и чувств, — стиль художественного произведения обусловливается, по-

моему, той «струной», которая напряжена и непрерывно звучит в душе художника. Содержание произведения определяет его форму, между содержанием и формой всегда должно существовать некое диалектическое единство. В процессе писания «Цемента» (да и всех моих вещей) я с особой требовательностью к себе искал этого единства. Энтузиазм труда, коммунистическая целеустремленность, напряженность и сила классовой борьбы диктовали мне необходимость создания соответствующего, адекватного образа.

Я много раз перестраивал, переделывал отдельные главы, конструкцию целых частей, снимал отдельные мазки и накладывал новые — искал нужные краски. Тропы и фигуры, этимология и синтаксис претерпели длительную эволюцию. Повторялось это почти при каждом новом издании книги вплоть до 1939 года. Мне хотелось, чтобы роман во всем своем целом звучал стройной энергичной симфонией. Мне было важно, чтобы каждый человек говорил *своим* языком, действовал и чувствовал так, как свойственно *его натуре,* чтобы картины природы были органически целым в психологии действующих лиц, чтобы каждое слово не было сказано впустую, а выражало максимум мыслей и переживаний и ложилось вместе с другим тесно, слитно, как паркет.

Я не спрашивал себя, как бы это словесно выразил, например, Л. Толстой, Тургенев или Горький. Этот вопрос мне и в голову не приходил; если бы и пришел, то я отбросил бы его, как ненужный и, пожалуй, даже вредный, потому что я неизбежно стал бы в зависимость от образца, я лишил бы себя творческой свободы. Преемственность в искусстве состоит не в механическом следовании традициям, а в творческом наследовании и развитии их, в преодолении предшествующих стилей, то есть в создании своего *стиля,* свойственного новой *эпохе*, идеологическому содержанию произведения и диалектике объективной действительности. Весь вопрос был в одном: как нужно выразить всю *нашу* жизнь *нашими* художественными средствами, которые суть накопленный опыт художественной культуры? Трудности не в том,

чтобы воспользоваться старым художественным методом (нет ничего хуже подражательства), а в том, чтобы создать свой художественный метод, который свидетельствовал бы *о новом эстетическом этапе* в истории художественной мысли.

Стиль связан с идеологией. Механически переносить творческие методы прошлых эпох в наше время социалистического строительства по меньшей мере «недиалектично».

И в «Цементе» была попытка дать новую конструкцию повести (это заметили, но указали, как на нарушение правил «классической стройности» и «целомудрия») в виде целого ряда ударных кадров, насыщенных действием и психологическим напряжением. Спокойное, размеренное, медленное течение повествования, обусловленное безмятежной устойчивостью жизни, было неприложимо к данному художественному заданию. В стилевом отношении отдельные главы и циклы глав не похожи на другие. Так, главы о Глебе, о массовом труде, о борьбе с белогвардейцами, о Даше написаны в иной настройке, иными образными средствами, чем главы о Клейсте, о Сергее, о Поле Меховой...

В зависимости от этого и язык романа требовал некоторого своеобразия.

Есть у меня «крестьянский» рассказ «Пучина». Я стремился писать его спокойным, углубленно элегическим языком. Моя цель была сделать язык вполне созвучным теме. Мог ли я таким языком орудовать в «Цементе»? Конечно, нет. Я очень хорошо знал историю художественного языка: я прошел и «школу классиков», и школы различных направлений в искусстве. История художественных направлений конца девятнадцатого и начала двадцатого века — это история моего воспитания и культуры. Надо было не эпигонствовать, а самостоятельно, по-своему, пользоваться этим художественным наследием. И работа над «Цементом» — это и есть работа над созданием нового стиля. Результат этой работы вызвал дискуссию. Это было для меня неплохо, но, к сожалению, эта дискуссия не пришла ни к чему. Для меня работа

над языком «Цемента» — целая эпоха. Одни критики указывали на «нарядность», на «трудность», на «романтическую гиперболичность», на «приподнятость» языка, а некоторые другие заявляли, что он «фальшив», «лакирует действительность» и «не срывает масок». Я не знаю, *как* и *с кого* «срывают маски» приверженцы «целомудрия», но я знаю, что язык «Цемента» ударен, напорист, пафосен, терпок и суров, часто неожиданно смел в метафорах и, может быть, излишне густ в словесной вязи. Это не игра, не баловство, не «маска», а напряженная, очень трудная работа. Но в диалогах потуга на стилизацию выражалась в обилии вульгаризмов, натуралистических вольностей, как результат дурного «поветрия» в литературе тех лет. С годами при подготовке последующих изданий я «отрабатывал» язык «Цемента», стремясь достичь предельной простоты, ясности и чистоты. Устранены все стилизаторские погрешности, в диалогах найден, на мой взгляд, тот верный тон, верная мелодика слова, которые заглушались в первых изданиях всякими диссонансами. Невольно я подчинялся тогда некоему «веянию времени». Это были «грехи молодости» — ничего не поделаешь.

Художник должен стоять на высоте культуры своей эпохи. Он должен быть не ремесленником, а мастером, а для этого надо учиться каждый день до гробовой доски. Малограмотных, невежественных писателей нет и быть не может. Неряшество, плохая «продукция», слабая литературность — это то же самое, что и скверная продукция завода, цеха, мастерской. Это — брак. Борьба за качество, за квалифицированные кадры — это одна из основных задач нашей эпохи, и эта задача как первоочередная стоит в порядке дня литературного движения наших дней. Нельзя торопиться печататься — это вредно, это задерживает рост начинающего писателя. В прошлом писатели работали над собою многие годы, пока наконец находили место своим произведениям на страницах журналов. Правда, кадры сейчас растут быстрее, чем раньше (благоприятные условия), но «набивать руку» и теперь надлежит пока в кружках

или под непосредственным руководством опытных художников слова. Кроме того, наша эпоха великой реконструкции всей системы народного хозяйства требует от писателя не только знания среды, но и общих и технических знаний. Мало знать человека, его быт, его работу, надо знать и структуру машины, технику построения плотины, пульта, турбогенератора, прокатного стана, надо быть знакомым с агрономией и биологией. К этому обязывает огромный рост производительных сил нашей страны. Это обусловливает степень приближения художественного творчества к темпам социалистического строительства.

Я думаю, что художественное произведение тем скорее пойдет в ногу с темпами нашей жизни, чем богаче его содержание, чем совершеннее оно отвечает задачам типологии, чем совершеннее и самобытнее его стиль. Надо достигать того, чтобы обобщение, синтез типических особенностей людей, быта и бытия нашей эпохи были доведены до предельной высоты, а это достигается не только знанием жизни и людей, не только дарованием, но и в огромной степени совершенством технического литературного мастерства. Надо достигать того, чтобы литературные типы обладали свойством длительной «живучести», устойчивости, чтобы они имели значение не только для настоящего, но и для будущего. Художественное произведение — это «жизнь сегодняшнего дня», которая, по словам Плеханова, «преодолевая свои пределы и выходя за пределы, создает основу для будущего».

1931

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман *«Цемент»* впервые опубликован в 1925 г. журналом «Красная новь» (№№ 1—6). В 1926 г. издательством «Земля и фабрика» осуществлено первое отдельное издание. Исключительный интерес, проявленный советским читателем, многочисленные читательские конференции вызвали необходимость переиздания книги: за 1926—1927 гг. она выдержала одиннадцать изданий.

Книга широко известна за рубежом. Вскоре после выхода в свет она была переведена почти на все иностранные языки. В послевоенные годы вышло несколько новых изданий романа: в Чехословакии, Румынии, Венгрии, ГДР, Болгарии, Китае и Японии.

Роман «Цемент» написан в Москве в 1922—1924 гг., но в основе его лежат впечатления и наблюдения от пребывания Ф. В. Гладкова в Новороссийске. Впервые он поселился там в 1910 г. по истечении срока ссылки в Сибири и вел подпольную революционную работу среди рабочих цементного завода. В 1914 г. Ф. В. Гладков покинул Новороссийск для учительской работы на Кубани. А в 1918 г. он принимает активное участие в установлении советской власти в Новороссийске, ведет затем ответственную работу в партийных и советских органах Черноморья, состоит членом партийной организации цементного завода и непосредственно участвует в его восстановлении. Переехав в 1921 г. при содействии Горького в Москву, Ф. В. Гладков устанавливает затем связь с рабочими столичных и подмосковных предприятий, занятых восстановлением народного хозяйства, что также имело свое значение при создании романа «Цемент».

Переезд в Москву — важнейшее событие в творческой биографии Ф. В. Гладкова. Начало двадцатых годов было периодом собирания сил советской литературы. В сложной литературной жизни столицы Ф. В. Гладков разобрался не сразу. Написанный еще в Новороссийске хороший реалистический рассказ о гражданской войне «Зеленя» был здесь осмеян писателями-модернистами. В 1922 г. Гладков пишет повесть «Огненный конь», в которой отходит от присущей ему реалистической манеры письма. Повесть получила одобрение в том же кругу писателей, но сам автор был глубоко неудовлетворен ею.

В то же время он знакомится с произведениями Вс. Иванова, Л. Сейфуллиной, А. Новикова-Прибоя, А. Малышкина, Н. Ляшко, В. Бахметьева и др., в которых горячо, с революционным пафосом описываются величайшие события современности, героизм и мужество советского народа.

Он присутствует в 1922 г. на первой читке «Железного потока» и вскоре становится ближайшим другом А. С. Серафимовича.

Ф. В. Гладков глубоко осознает неудачу с повестью о гражданской войне «Огненный конь» и пересматривает свои творческие планы.

Призыв партии к изображению героической современности, частые беседы с читателями убеждают Гладкова, что созидательный труд рабочих, творческие усилия коллектива в строительстве новой жизни, новые отношения в семье и в быту должны найти свое отражение в литературе.

Он берется за решение этой глубоко новаторской задачи и первым пишет большой роман о людях рабочего класса советской страны.

Но не сразу эта большая тема была воплощена писателем в многопроблемный роман.

Сначала были опубликованы отдельные рассказы — фрагменты будущего «Цемента». «Встреча покаянных» (журнал «Красная нива», № 39, 1923), «Разорванная паутина» (журнал «Молодая гвардия», № 7—8, 1923) и «Трудобой» («Рабочий журнал», № 1, 1924).

В 1924 г. печатались новые произведения, связанные с работой над «Цементом», — отрывок из повести с условным заглавием «Удары»[1] — «Потухший очаг» (журнал «Прожектор»,

[1] В журнале «Книга о книгах» повесть была названа «На переломе» (№ 4, 1924, стр. 63).

№ 5) и «Комсомольцы» с подзаголовком «Отрывок из романа» («Рабочий журнал», № 3—4).

Опубликованный первым рассказ-этюд «Встреча покаянных» не вошел в журнальную редакцию романа, но в качестве самостоятельной главы был введен в отдельное издание (ЗИФ, 1926). В этом же издании глава «Встреча покаянных» была разбита на пять подглав, которым были даны названия, оставшиеся без изменения во всех переизданиях книги.

Рассказ «Разорванная паутина» вошел в журнальную редакцию «Цемента» отдельной главой под названием «Подпольный эмигрант». Материал подвергся переработке — в частности, была снята подробная характеристика семейного быта Клейста, заслонявшая конфликт между ним и Глебом Чумаловым.

Рассказ «Трудобой» вошел отдельной главой в журнальную редакцию «Цемента» и получил название «Бремсберг». Автор многое здесь изменил и снял все, что могло создать представление о Глебе Чумалове как о «герое», стоящем над массой.

«Потухший очаг» вошел в журнальную редакцию «Цемента» с незначительными изменениями, под тем же названием.

Отрывок «Комсомольцы» в роман «Цемент» не вошел, несмотря на ряд созданных в нем интересных образов молодежи. Включение этого отрывка, по словам автора, требовало больших изменений в структуре произведения.

По свидетельству Ф. В. Гладкова, работа над «Цементом» как целостным произведением началась осенью 1923 г. и продолжалась весь 1924 г. Особенно трудно укладывался в контекст романа этюд «Бремсберг», — в качестве самостоятельной главы он многократно перерабатывался. Переделывались и другие главы.

От издания к изданию автор тщательно просматривал «Цемент», добиваясь полной идейной ясности образов революционеров-коммунистов, углубляя драматизм положения, изменяя многие сюжетные линии романа. Особенно значительной переработке произведение подверглось для переиздания в 1944 г. (Ф. Гладков, Избранное, Гослитиздат). Если расстановка действующих лиц и их характеристики, определившиеся в первой редакции, остались неизменными, то в частностях — в мотивировках отдельных поступков героев, в отдельных эпизодах и сценах — роман в редакции 1944 г. значительно отличается от журнального текста. В главе «Встреча покаянных» (подглава «Красное знамя») снята большая сцена

на корабле — беседа большевиков, в том числе и Глеба Чумалова, с английскими моряками, привезшими группу эмигрантов-возвращенцев. В подглаве «Женщина в кудрях» (из главы «Окружком») опущены встреча Глеба Чумалова с Лухавой и напутствие председателя Совета профессиональных союзов Глебу как секретарю партийной заводской ячейки. В подглаве «Ячейка РКП» (глава «Рабочий клуб», в редакции 1944 г. — «Рабочий клуб «Коминтерн») сокращена заключительная часть заводского партийного собрания — снято обсуждение предложения Даши об открытии детских яслей.

Переработка «Цемента» в редакции 1944 г. выразилась не только в снятии отдельных сцен и эпизодов, но и в дополнении романа некоторыми новыми сценами. Во многих случаях были также расширены диалоги. Так было введено продолжение разговора Глеба Чумалова с Чибисом, введенное в подглаву «Глаза, которые видят по ночам» (глава «Преды»). После вопроса Глеба председателю Чека, видел ли он Ленина, в новой редакции следует такая реплика Чумалова:

«— Я вот не видел его, товарищ Чибис, и мне кажется, что я не пережил самого главного. Если бы я увидел и услышал его, я открыл бы себя заново. Выразить этого не могу — беден словами... Но тогда и слова у меня были бы иные...

— Это какие же иные? — строго и насмешливо спросил Чибис.

— Большие и глубокие, товарищ Чибис.

— А ты больше делай, чем говори... Борись, не щадя сил... организуй труд... боевые задачи решай, как велит партия... Слышишь? Тогда и Ленин будет перед тобой во всем облике...»

В подглаве «Ячейка РКП» после слов: «Все в ожидании глядели на Глеба. Он встал, откашлялся и некоторое время вглядывался в лица рабочих», — вставлено авторское размышление по поводу настроения собравшихся коммунистов: «...они не поверят ни одному красивому слову, ни одному красноречивому обещанию. Так они отнеслись сейчас к книжному докладу Сергея Ивагина: все пропустили мимо ушей. А стоит сказать только два слова: «Друзья, завтра — по цехам!» — и каждый из них бурно вскочит с места и крикнет, задыхаясь: «Товарищ Чумалов, давно этого ждем... хоть сейчас веди... Разруха заела». Автор тем самым подчеркнул значение партийного собрания в развитии событий романа.

Многие вставки-дополнения занимают всего несколько строк,

но, по-новому освещая то или иное событие, они имеют важное значение, усиливая идейное воздействие произведения. Например, в прежних редакциях встреча Глеба Чумалова с инженером Клейстом на площадке заводской вышки (подглава «Расплата» из главы «Рабочий клуб «Коминтерн») заканчивалась так: «Ошеломленный, он (Клейст. — *В. К.*) не мог постигнуть смысла этого потрясающего события — стоял странно пустой, обнаженный, с одним рвущимся сердцем». В редакции 1944 г.: «Ошеломленный, он не мог постигнуть смысла этого потрясающего события — стоял... весь в слезах от счастья». «Весь в слезах от счастья» — эти слова выразительнее раскрывают переворот в сознании Клейста.

Как известно, роман «Цемент» был закончен печатанием в июле 1925 г., а 23 августа того же года Алексей Максимович Горький, живший тогда в Сорренто, уже написал Федору Васильевичу Гладкову письмо с обстоятельным разбором как сильных, так и слабых сторон романа. Назвав его «очень значительной, очень хорошей книгой», Горький подчеркивал новаторский характер произведения: «...впервые за время революции крепко взята и ярко освещена наиболее значительная тема современности — труд. До Вас этой темы никто еще не коснулся с такой силой. И так умно»[1]. Здесь же А. М. Горький указал на серьезный недостаток произведения — «слишком форсистый, недостаточно скромный и серьезный язык». Он предостерегал Гладкова от пристрастия к «местным речениям» юга России и писал ему: «Ваш язык трудно будет понять псковичу, вятичу, жителям верхней и средней Волги. И здесь Вы, купно со многими современными авторами, искуственно сокращаете сферу влияния Вашей книги, Вашего творчества»[2].

Ф. В. Гладков уже для первого отдельного издания провел большую дополнительную работу над языком произведения. Такую работу он продолжал и с каждым новым изданием книги.

«Цемент» имеет три основные редакции: журнальную редакцию 1925 г., редакцию 1930 и 1944 гг.

Редакция 1930 г. и в особенности 1944 г. характеризуется стремлением к простоте и выразительности языка, к максимальной доходчивости его до читателя. С этой целью писатель осво-

---

[1] М. Горький, Собр. соч., т. 29, Гослитиздат, М. 1956, стр. 438.
[2] Там же, стр. 439.

бодил текст романа от излишних диалектизмов, снял многие сравнения и метафоры, затруднявшие читательское восприятие. Существенно изменены и идейно обогащены все речи Глеба, частично — диалоги Даши, Брынзы, Моти Савчук и ее мужа, Жука и других рабочих.

Роман «Цемент» вызвал широкие отклики в печати. Во всех крупных газетах и журналах Москвы, Ленинграда, а также периферии, были помещены статьи и рецензии. Газета «Правда» опубликовала 16 февраля 1926 г. статью А. С. Серафимовича, озаглавленную «Цемент» (роман Ф. Гладкова)». В ней была дана очень высокая оценка произведению, как «первому широкому полотну строящейся революционной страны, первому художественно-обобщенному воспроизведению революционного строительства зачинающегося быта». А. В. Луначарский в статье «Достижения нашего искусства» писал в газете «Правда» 1 мая 1926 г.: «В беллетристике пролетарский отряд дал несколько замечательных произведений, во главе которых приходится поставить массивный и энергичный роман Гладкова «Цемент». На этом цементном фундаменте можно строить дальше».

Роман «Цемент» был восторженно принят прогрессивной зарубежной печатью. Газета «Юманите», которая печатала роман «Цемент» и читательские отзывы о нем, писала в своей итоговой статье: «Железный поток» — образ войны и вооруженной революции, «Цемент» — образ экономической революции и революции живых существ. Красный отряд Кожуха победил так же, как побеждают теперь красные заводы Глеба». В газете «Дейли Уоркер» подчеркивалось значение романа для международного рабочего движения: «Эта книга укрепит рабочих всего мира в их решении довести классовую борьбу до конца».

Высокие оценки роману «Цемент» дали в послевоенные годы критики и литературоведы стран социалистического лагеря. В предисловии к немецкому изданию в Берлине в 1949 г. профессор Ганс Мейер писал: «Двадцать лет тому назад мы читали роман «Цемент» с удивлением, сегодня мы читаем его со взглядом на наши собственные задачи... Вот почему роман Гладкова находит в Германии все новых и новых читателей, которые не просто восторгаются этим произведением, но применяют его в жизни».

С большой статьей, посвященной Гладкову, «В первых рядах советской литературы» на страницах журнала «Иностранная

литература» (1956 г., № 11) выступил румынский литературовед Николае Морару:

«Я познакомился с Федором Гладковым почти тридцать лет назад... Тогда мне не было и семнадцати лет. «Цемент», только что появившийся в переводе на румынский язык, был в руках у каждого, несмотря на то, что часто этот роман был предлогом для ареста, истязаний, а иногда являлся уликой на суде. Сколько рабочих и интеллигентов, сколько молодежи вовлекли книги Горького и Гладкова в революционное движение».

«Маленькая трилогия», рассказы. В 1927 г. Ф. В. Гладков начал работать над циклом сатирических рассказов. Писатель поставил перед собой задачу: разоблачить «особый вид вредителей, которые еще имеют возможность проникнуть в среду рабочего класса и коммунистическую партию и «активно паразитировать» в нашей среде»[1]. Замысел писателя был обусловлен обострением классовой борьбы в стране, он был продиктован стремлением «вторгаться в действительность», помогать своим творчеством строительству социалистического общества, борьбе за нового человека.

В процессе работы над рассказами цикл определился как трилогия.

Были написаны рассказы: «Головоногий человек», «Непорочный черт» и «Вдохновенный гусь», связанные между собой единым образом рассказчика — старого большевика Мухина, являющегося и главным действующим лицом в трилогии. Рассказы представляют собою как бы этапы его партийной биографии.

Однако, связанные в единое целое образом Мухина, рассказы «Маленькой трилогии» одновременно являются законченными самостоятельными произведениями. Первое отдельное издание «Маленькой трилогии» было осуществлено издательством «Федерация» в 1933 г., второе издание — Гослитиздатом в 1936 г.

Рассказ «Головоногий человек» написан в 1927 г. и впервые опубликован в 1-й книжке альманаха «Земля и фабрика».

В 1936 г. при переиздании «Маленькой трилогии» Ф. В. Гладков несколько переработал текст рассказа.

---

[1] Предисловие автора к четвертому изданию повестей и рассказов «Пьяное солнце», Гослитиздат, 1932, стр. 6.

Рассказ «Непорочный черт» написан в 1928 г. и впервые опубликован в «Журнале для всех», № 1, 1929 г.

Пересматривая и перерабатывая рассказ «Непорочный черт» для переиздания «Маленькой трилогии» в 1936 г., Ф. В. Гладков уже не подчеркивал всеобщность и распространенность образа Соски — этого «лишая на здоровом теле». Если в журнальной редакции утверждалось: «...такие типы — повсюду: нет ни одной, даже маленькой, организации, где бы эти Соски не висели над нашими головами» и отсюда делался вывод о «неустранимости подобных евнухов и кастратов», то в редакции 1936 г. сказано уже по-другому: «такие типы встречались раньше нередко».

О степени вреда, причиняемого людьми типа Соски, в журнальной редакции рассказа Мухин говорил: «Всех этих людей... мы несем в себе; они идут с нами, как наши тени, от них никуда не скроешься». И дальше: «Они (т. е. Соски. — *В. К.*) жутки, как некие уродливые сатурны, пожирающие юность». В редакции 1936 г. Анюта сказала об этом гораздо более простыми и справедливыми словами: «Они жить бодро и работать весело мешают».

Рассказ «Вдохновенный гусь» написан в 1929 г. и впервые опубликован в журнале «Красная новь», № 7, 1930 г.

В предисловии к четвертому изданию сборника повестей и рассказов («Пьяное солнце», Гослитиздат, 1932 г.), в котором рассказы шли впервые под общим названием «Маленькая трилогия», Ф. В. Гладков писал: «Вдохновенный гусь» для настоящего издания переработан почти заново, и в новой своей редакции он существенно отличается от того варианта, который печатался в «Красной нови». Было снято большое вступление к рассказу, где образ Будаша по своей внутренней сущности уподоблялся мухомору. Ф. В. Гладков справедливо увидел, что для характеристики его достаточно одного сравнения с «вдохновенным гусем», оно имело бóльшую сатирическую силу.

При переработке журнальной редакции рассказа «Вдохновенный гусь» писатель усилил роль секретаря парторганизации Дубкова и секретаря комсомольской организации Трягина в разоблачении Будаша.

В редакции 1936 г. Мухин уже более конкретно определяет причины, которые дали возможность Будашу носить маску «ортодоксального марксиста». «Недостаток пролетарских квалифицированных сил, стремление мобилизовать на строительство со-

циализма все активные и культурные элементы создают, между прочим, в некоторых местах лазейки для жизнедеятельности особого вида приспособленцев, которым нельзя отказать в энергии, изворотливости, смелости и незаурядной силе языка. «Вдохновенный гусь» — кличка, брошенная мною когда-то на первом выступлении, как нельзя больше подходит к этому типу людей. Эти люди умеют чудесно перевоплощаться во что угодно, они действуют оглушительно и бьют наверняка. При слабых еще наших знаниях и развитии, мы, несмотря на политический и культурный рост масс, еще недостаточно бдительны». Четкое определение политической физиономии Будаша и среды, его породившей, позволило Гладкову изменить «предсказание» будущей судьбы «вдохновенного гуся». Если в журнальной редакции рассказ заканчивался фразой: «Он там подвизается где-то по культурной линии и, без сомнения, гремит и блещет», то в редакции 1936 г. выражено уверенное предсказание — «пока не свернет башки».

Рассказ *«Кровью сердца»* написан в 1927 г. и напечатан в 1-й книжке альманаха «Земля и фабрика». Входил в собрания сочинений Ф. В. Гладкова, издававшихся ЗИФом в конце двадцатых и начале тридцатых годов. В настоящем издании он дается в новой редакции, коренным образом отличающейся от опубликованного ранее текста.

Рассказ «Кровью сердца» был написан в связи с острыми спорами вокруг рассказа «Головоногий человек». Произведение было задумано как беллетризованное выступление по творческим вопросам, в частности о творческом методе советской литературы — вопросу, который являлся дискуссионным в те годы. Устами старого рабочего Чижова автор страстно полемизировал с теорией «живого человека», выдвигавшейся критиками из журнала «На литературном посту», и отстаивал горьковское положение о слиянии реализма с революционным романтизмом. Но в своей аргументации писатель допускал ряд неверных обобщений и оценок. Так в определении задач, которые выдвигались перед писателями рабочим читателем Чижовым, — «создавать пленительные легенды о людях, которых нет в быту» — критика справедливо увидела призыв к приукрашиванию действительности. С такой оценкой позднее автор согласился и начиная с четвертого издания сборника рассказов и повестей исключил

рассказ «Кровью сердца», «как художественно недостаточно ценный и как ошибочный в своей идеологической установке».

Для настоящего издания Ф. В. Гладков рассказ «Кровью сердца» переработал и композиционно. В редакции 1927 г. беседа печатника Чижова с писателем происходила в читальне клуба в присутствии большой группы читателей, некоторым из них автором давались индивидуальные характеристики (рабкор, девушка Малаша, предфабкома, заведующая библиотекой и др.). Они все принимали участие в общей беседе. В новом варианте рассказа беседа происходит в парке один на один с читателем, который остается во многом неизвестным.

СОДЕРЖАНИЕ

Федор Васильевич

ГЛАДКОВ

Собрание сочинений, том 2

Редактор *А. Ноткина*
Художественный редактор
Ю. Боярский
Технический редактор
Т. Гончарова
Корректор *А. Юрьева*

Сдано в набор 13/II 1958 г. Подписано к печати 8/VIII 1958 г. Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$. 13,75 печ. л. = 22,55 усл. печ. л. 20,82 уч.-изд. л. Зак. 2895. Тираж 75 000. Цена 6 р. 50 к. А 07263.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза,
Ленинград, Измайловский пр., 29

3 р. 50 к.